ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ



1-я ТИПОГРАФИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА АКАДЕМИИ НАУК СССР
Ленинград, 34, В. О., 9-я линия, 12

КОНТРОЛЕР № 2

При обнаружении недостатков в книге просим возвратить книгу вместе с этим ярлыком для обмена

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1956

Составители:

В. И. Абаев, Б. В. Горнунг, М. М. Гухман и П. С. Кузнецов

Ответственные редакторы:

А. В. Десницкая и Б. А. Серебренников

ПРЕДИСЛОВИЕ

Более четверти века сравнительно-историческое изучение групп и семей языков в Советском Союзе почти не развивалось. Господство антиисторических теорий Н. Я. Марра привело к тяжелым последствиям, которые не ликвидированы еще полностью и сейчас: в частности, подготовка молодых научных кадров все еще затрудняется отсутствием пособий повышенного типа.

Наша книга ни в какой степени не претендует на восполнение этого пробела целиком. Авторы стремились оказать посильную помощь аспирантам и молодым преподавателям в ознакомлении с наиболее бесспорными достижениями компаративистики, при этом только в применении к индоевропейской языковой семье. Это первая после дискуссии 1950 г. попытка дать общедоступное систематическое изложение:

а) итогов теоретического обсуждения проблемы сравнительно-исторического метода в советской научной печати за последние годы;

б) сущности приемов сравнительно-исторического анализа в области фонетики, словоизменения, морфологической структуры слова и этимологических изысканий на материале индоевропейских языков.

Авторы воздержались от попытки дать такое же систематическое изложение итогов в области сравнительно-исторического синтаксиса и сравнительно-исторической лексикологии. Принципы исследований в этих областях еще слишком шатки, чтобы можно было сделать какие-либо бесспорные выводы.

Здесь еще нужно продолжать дискуссионную разработку основных положений.

* * *

Авторская работа распределена следующим образом: М. М. Гухман написаны главы I, II и V (с участием Б. В. Горнунга в §§ 1—6 I главы, Р. И. Аванесова в § 6 и Б. А. Серебренникова в § 3 II главы), Б. В. Горнунгом написано приложение к III главе и глава IV (с участием О. С. Ахмановой в § 1 этой главы), П. С. Кузнецовым — глава III и В. И. Абаевым — глава VI.

В список литературы в конце книги включены лишь работы общего характера, сохранившие свое научное значение до настоящего времени. Специальные работы, а также работы до 80-х годов XIX века, имеющие сейчас лишь историческое значение, указываются в необходимых случаях только в тексте и в сносках. Исключение составляет литература, касающаяся мало известной у нас „ларингальной гипотезы“, данная в особом списке.

Глава I

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

§ 1. Элементы структуры любого существующего языка, его грамматического строя и основной наиболее устойчивой части его лексики сложились в своих специфических чертах в те далекие эпохи, когда письменности еще не существовало. Следовательно, памятников языка тех эпох у нас нет, и отдельные языковые черты могут нами только реконструироваться (с известным приближением) при помощи системы исследовательских приемов, получившей в языкознании название „сравнительно-исторического метода".

Этот метод применим только к изучению родственных языков, т. е. тех языков, которые имеют общее происхождение и, образуя замкнутую языковую группу (семью), восходят в конечном счете к одному и тому же языку, существовавшему, как все бесписьменные языки, в многообразии своих диалектов и говоров[1].

Сравнительно-сопоставительное изучение неродственных языков имеет известное значение для общего языкознания, а также успешно применяется при практическом преподавании языка (сопоставление черт изучаемого

[1] Привлечение данных неродственных языков, например заимствованных слов, бывает полезно, но имеет характер вспомогательного приема, используемого в отдельных случаях.

языка с чертами родного языка изучающего). Однако такое изучение не имеет ничего общего со сравнительно-историческими исследованиями, в которых изучается историческое развитие только родственных языков. В этих исследованиях реконструируются с известным приближением языковые факты дописьменных периодов истории родственных языков, включая эпоху существования языка-основы, устанавливается относительная хронология этих фактов и предположительные этапы распадения языка-основы, изучаются закономерности развития общих для этих языков категорий, определяются те общие тенденции развития, которые были заложены еще в эпоху существования языковой общности и продолжали действовать известное время в истории отдельных обособившихся родственных языков.

Предпосылкой применения сравнительно-исторического метода к определенной группе языков является доказанность генетической общности этих языков.

Представления о характере языка той эпохи, которая предшествовала выделению и обособлению отдельных родственных языков, могут меняться по мере развития исторической науки (см. § 4), однако самое положение о происхождении языков данной семьи или группы из одного источника остается незыблемой основой сравнительно-исторического изучения этих языков.

Многолетняя борьба сторонников так называемого „нового учения о языке" против применения сравнительно-исторического метода в языкознании и почти полное изгнание сравнительно-исторического языкознания из преподавания в высшей школе привели к тому, что содержание и задачи этого важнейшего раздела науки о языке иногда понимаются неправильно и часто смешиваются с тем сравнительно-сопоставительным изучением как родственных, так и неродственных языков, на которое было указано выше. По той же причине и при разрешении вопроса об установлении родства малоизученных языков допускаются серьезные ошибки в результате смешения так называемого „материального родства", обусловленного общностью происхождения языков, с типологическим сходством, которое может возникать в отдельных язы-

ках и целых языковых группах самостоятельно, независимо от их генетических отношений друг к другу.

§ 2. Родство языков может быть более близким и более отдаленным. Так, например, к индоевропейской семье языков относится множество языков, в том числе русский, украинский, белорусский, чешский, польский, болгарский, немецкий, английский, голландский, исландский, шведский, норвежский, французский, испанский, итальянский, португальский, персидский и т. д. Все эти языки родственны, так как они принадлежат к одной языковой семье и в конечном счете происходят от одного и того же языка-основы. Однако близость их друг к другу, степень общности их грамматического строя, фонетической системы и словарного состава неодинаковы.

Внутри индоевропейской семьи выделяются группы: славянская, германская, романская, индо-иранская и т. д. Языки, входящие в каждую из этих групп, имеют значительно больше общих элементов в своей структуре, чем языки, относящиеся к разным группам. Так, русский, украинский, белорусский, польский языки обнаруживают более близкое родство, чем русский и норвежский или русский и французский. В свою очередь, немецкий, норвежский, шведский более близки по своей структуре, чем немецкий и испанский или норвежский и португальский и т. д. Внутри названных групп славянских, германских, романских языков, в свою очередь, выделяются подгруппы: так, например, внутри славянских языков мы выделяем восточную, южную и западную подгруппы, внутри германских языков — западную и северную и т. д. Языки, входящие в подгруппу восточнославянских языков: русский, украинский, белорусский, также имеют больше общих черт, чем, например, русский и чешский языки, поскольку чешский относится к западнославянской подгруппе, и т. д.

Следовательно, родство языков может быть более близким и более далеким. Существует специальный термин „близкородственные языки", подразумевающий языки, входящие в более мелкие группы внутри одной семьи языков.

§ 3. Представление о языке, являющемся основой образования родственных языков, и понимание самых процессов

образования групп родственных языков менялись в различные периоды истории лингвистической науки.

К началу XIX века, в результате сопоставительного анализа ряда языков, было неоспоримо доказано существование групп языков, объединенных признаком „материального родства“. Установленное наукой совпадение или сходство отдельных существенных черт грамматического строя и лексики было объяснено общностью происхождения этих языков из одного источника. Этот древний язык получил наименование „праязыка“.

А. Шлейхер[1], как известно, впервые попытался восстановить этот „индоевропейский праязык“ и установить процессы его распадения на ряд групп или ветвей[2]. Им была создана та прямолинейная и упрощенная схема образования и развития групп родственных языков, которая получила наименование „родословного древа языков“.

Процесс образования семьи родственных языков, как это показали последующие исследования, был весьма сложен. Поэтому представлять себе этот процесс в виде такого „родословного древа“ было бы крайним упрощением.

Несмотря на свою упрощенность, шлейхеровская схема оказалась довольно устойчивой. Ее принимали полностью младограмматическая школа 70 и 80-х годов и близкие к этой школе лингвистические направления. Однако еще в конце XIX века наметилось и другое, значительно более сложное понимание процессов образования группы родственных языков, а также взаимоотношений между ними. И. Шмидт, один из учеников Шлейхера, сопоставив факты различных языковых групп индоевропейской семьи, показал, что распространение отдельных структурных особенностей дает сложную сеть изоглосс, иногда противоречащих схеме „родословного древа“; так называемая „волновая теория“ И. Шмидта представляла собой, таким образом, первый протест против прямолинейности схемы Шлейхера.

---

[1] A. Schleicher. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. . . , 2-te Aufl., 1861.

[2] Структурным образцом для представлений об индоевропейском „праязыке“ служил до конца 70-х годов древнеиндийский язык.

Исследование И. Шмидта оказало позднее значительное влияние на оформление представлений о характере диалектного членения индоевропейского праязыка, а его методика сопоставления лингвистических фактов получила дальнейшее развитие в работах итальянской школы компаративистов (М. Бартоли, В. Пизани, Дж. Бонфанте).

Вместе с тем еще в 80-х годах прошлого столетия в исследованиях отдельных языковедов наметилось и более сложное понимание самого „праязыка“.

Наибольший скептицизм в отношении монолитности „праязыка“ можно отметить в высказываниях И. А. Бодуэна-де-Куртене, который, повидимому, первый выдвинул положение о наличии в самом „праязыковом состоянии“ (im ursprachlichen Zustande) диалектного дробления (dialektische Ansätze zu den weiteren grösseren Differenzen) и первый стал возражать против представления о распадении „праязыка“ как о процессе непрерывной дифференциации (eine fortwährende, immer weiter fortschreitende Differenzierung).

Впоследствии понимание „праязыка“ как совокупности близкородственных диалектов получило свое развитие в работах компаративистов XX века и прочно вошло в науку[1]. Разработка гипотез о диалектах „праязыка“ и их смешении (А. Мейе, З. Фейст, Х. Педерсен, В. Пизани) уводила все дальше от шлейхеровских схем. Весьма плодотворным в этом направлении явилось применение методов лингвистической географии, давшее ценные результаты еще в первой половине XX века[2]. Различные формы „теории субстрата“ (Г. Асколи, З. Фейст, Ю. Покорный и др.)[3] также способствовали

[1] Ср. А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. 1938, стр. 82 и сл.; ср. также A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens. Paris, 1908.

[2] Среди последних работ, посвященных проблеме диалектного членения индоевропейского праязыка, выделяется монография В. Порцига „Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets“. Heidelberg, 1954 (см. рецензию на эту книгу В. В. Иванова „Вопросы языкознания“, 1956 г., № 2, стр. 111). Ср. также книгу Г. Краэ „Sprache und Vorzeit“. Heidelberg, 1954.

[3] См. статьи В. Н. Ярцевой и М. Я. Немировского, напечатанные в „Докладах и сообщениях Института языкознания АН СССР“, вып. IX, М. 1956.

пониманию чрезвычайной сложности и многообразия процессов оформления группы родственных языков, все более убедительно показывая непригодность схемы „родословного древа".

Развитие сравнительного языкознания оказало значительное влияние и на понимание структуры общеиндоевропейского языка. Все интенсивнее намечалась тенденция внести известный историзм в ее рассмотрение, особенно характерная для работ последних десятилетий.

Постановка проблемы „относительной хронологии" в применении к восстанавливаемым формам общеиндоевропейского языка (О. Бремер, В. А. Богородицкий, Х. Педерсен и др.) противостояла статическим представлениям о „праязыковой" структуре, свойственным не только Шлейхеру, но и младограмматикам (ср. „Grundriss" К. Бругмана и Б. Дельбрюка). Открытие ранее не известных языков, особенно хеттского и близких ему малоазийских языков, привело к пересмотру прежних „праязыковых" схем, поскольку реконструкция системы „праязыка" в классической компаративистике второй половины XIX века и в начале XX века осуществлялась по преимуществу на основе материалов древнеиндийского и древнегреческого языков[1].

Так называемая „ларингальная гипотеза" (А. Кюни, Ю. Курилович, Э. Стертевант, В. Леман) и связанная с ней фонетическая теория корня не только оказали значительное влияние на современные представления об общеиндоевропейском языке, но внесли новые элементы в методику реконструкции праязыковых форм (см. приложение к гл. III).

Во всех этих направлениях новейшей компаративистики, наряду с ценными наблюдениями, правильными частными обобщениями и мыслями, пролагающими новые пути для научного исследования, содержались ошибки, иногда связанные с необоснованным скептическим отношением к самой идее происхождения родственных языков из единого источника, с допущением возможности образования языковой семьи из гетеро-

---

[1] См. обзор исследований последних десятилетий по отдельным вопросам сравнительной грамматики индоевропейских языков в работе В. Пизани „Indogermanische Sprachwissenschaft" (1953).

генных элементов на началах „скрещения“, дающего новый по структуре язык без решающей победы одного типа языковой структуры над другим[1]. Имели место и открытые выступления против тезиса о происхождении родственных языков из единого источника, частично сближающиеся с положениями „нового учения о языке“ Н. Я. Марра, или сомнения в правильности этого тезиса[2]. В советском языкознании после лингвистической дискуссии 1950 г. такого рода выступления также имели место, хотя и не встречали никакой поддержки[3].

Между тем допущение возможности образования семьи языков путем одной только интеграции (схождения) гетерогенных языковых групп должно быть отвергнуто (см. § 5).

Сдвиги в понимании языка-источника и процессов оформления семьи родственных языков вели к качественно новой, по сравнению с концепцией Шлейхера, системе взглядов, более точно отражающей объективные закономерности становления и развития языковых семей. Однако элементы этой новой системы взглядов были разбросаны в исследованиях различных авторов в виде отдельных принципов и положений, нередко перемежаясь с антиисторическими схемами, унаследованными еще от Шлейхера. В этом сказывалось характерное

---

[1] Такова, например, гипотеза Э. Форрера об образовании индоевропейского языка-основы из скрещения „североевразийского“ и „средиземноморского“ языка. Ср. также статью Н. С. Трубецкого „Gedanken über das Indogermanenproblem“. Acta Linguistica, 1939, v. I.

[2] Г. Шумардт, Ж. Жильерон, Ж. Вандриес и др. Об этом см. в статье Б. В. Горнунга в журн. „Вопросы языкознания“, 1952, № 4.

[3] Мы имеем в виду „теорию первобытной лингвистической непрерывности“ С. П. Толстова (см. о ней в статье Б. В. Горнунга, В. Д. Левина и В. Н. Сидорова в журн. „Вопросы языкознания“, 1952, № 1, стр. 62—64) и некоторые положения в работах Г. А. Капанцяна (см. статьи: А. А. Асмангулян. Против гипотезы о „двуприродности“ армянского языка. „Вопросы языкознания“, 1953, № 6, стр. 21—36; Б. В. Горнунг. О так называемых „азианических языках“. „Известия АН Армянской ССР“, 1954, № 6). Что касается „теории первобытной лингвистической непрерывности“, то ее основатель проф. С. П. Толстов впоследствии заявил, что критика ее „во многом явилась результатом непонимания“ и что его гипотеза якобы „не противоречит гипотезе языка-основы, если не отождествлять ее с „теорией праязыка“ („Сов. этнография“, 1953, № 3, стр. 195).

для многих представителей современной зарубежной компаративистики непонимание объективных законов развития общества, в частности закономерностей процессов, характеризующих первобытное общество, т. е. ту историческую эпоху, когда складывалась индоевропейская семья языков. В этом сказывался и присущий идеалистическому языкознанию отрыв языка и его истории от истории народа, от конкретных исторических условий. Если же отдельные языковеды и стремились высказать суждение о характере общественных отношений той отдаленной эпохи, как это делал, например, А. Мейе, то выдвигаемые ими положения поражали своим антиисторизмом, примитивным перенесением отдельных черт, характеризующих развитое классовое общество, в эпоху первобытно-общинных отношений, а нередко обнаруживали и лишь слегка прикрытый расизм.

Марксистское языкознание принимает и широко использует многие ценные положения современной зарубежной компаративистики; вместе с тем оно должно избегать применения прямолинейных схем процессов распадения языка-основы. Необходимо привлекать более полно всю совокупность объективных фактов самих языков, стремясь к восстановлению исторически реальной картины распадения языка-основы с учетом всей сложности этого процесса и переплетения в нем явлений дифференциации и интеграции.

Наиболее типичным процессом образования языковой семьи можно считать постепенное и разновременное выделение будущих самостоятельных языков из первоначальной языковой общности. В конспекте книги Моргана „Древнее общество" К. Маркс подчеркивал: „*Постоянная тенденция к разделению* коренилась в элементах родовой организации; *она усиливалась тенденцией к образованию различия в языке*, неизбежной при их {т. е. диких и варварских племен} общественном состоянии и *обширности занимаемой ими территории*. Хотя *устная речь* замечательно *устойчива по своему лексическому составу* и еще устойчивее *по своим грамматическим формам, но она не может оставаться неизменной. Локальное разобщение* — в пространстве — вело с течением времени к появлению *различий*

в языке“ [1]. Все это не исключает возможности слияния диалектов языка-основы, а, кроме того, требует уточнения как понимания самой языковой общности, так и процесса постепенного и разновременного выделения будущих самостоятельных языков. Оба эти вопроса тесно связаны между собой.

Советские языковеды за последние годы отказались от термина „праязык“ в применении к понятию первоначальной языковой общности; многие (в том числе и авторы настоящей работы) пользуются термином „язык-основа“ [2]. Употребляется и термин „общеиндоевропейский язык“. Для отказа от термина „праязык“ были основания.

Прежде всего термин „праязык“ был связан с теми антинаучными расистскими построениями, которые характеризовали „теорию праязыка“, созданную идеологами германского фашизма. С другой стороны, этот термин в истории лингвистической науки был связан с упрощенными, антиисторическими схемами образования и развития семьи родственных языков. При построении объективно более правильной системы взглядов на проблемы языкового родства представлялось целесообразным отбросить этот старый термин. Термин „язык-основа“ является более нейтральным, не связанным с теми или иными в корне неприемлемыми концепциями.

§ 4. При уточнении понятия языковой общности в эпоху существования языка-основы необходимо прежде всего учитывать все особенности существования и развития первобытного общества (слабую оседлость племен, крайнюю экстенсивность любых форм хозяйства, неустойчивость племени как этнической категории, сложность переплетения экзогамнородовых и фратриальных отношений и т. д.). Следует учитывать и специфические отличия той стадии развития родо-племенного общества, на которой язык-основа данной языковой

---

[1] Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. IX. Госполитиздат, 1941, стр. 79.

[2] Термин „язык-основа“ представляет собой перевод немецкого термина „Grundsprache“, широко применяющегося в зарубежном языкознании. У нас этот термин был введен в употреблеиие тбилисской школой языковедов.

семьи мог, если не образоваться, то во всяком случае существовать в границах еще не распавшейся языковой общности.

Распадение языковой общности ведет к обособлению хотя бы двух отдельных языков, которые могут в дальнейшем стать языками-основами новых языковых групп. Казалось бы, что представление о процессе этого обособления как о прямой дифференциации было бы самым естественным и правильным. Но это не так. Конечно, случаи такой прямой дифференциации иногда имели место и, возможно, мало отличались от аналогичных случаев, происходивших в исторический период, как, например, выселение части древненорвежской народности в Исландию, которое привело с течением времени к обособлению древнеисландского языка. Но не эти случаи определяли основные пути развития языковых семей. В целом процесс обособления группы родственных диалектов (говоров) от языка-основы был сложным, прерывистым и качественно не единообразным.

Постепенное обособление и выделение будущих самостоятельных языковых групп и языков были обусловлены историей племен, позже — народностей, говоривших на диалектах языка-основы.

Образование отдельных языков, ставших, в свою очередь, языками-основами отдельных групп родственных языков, происходило постепенно. Так, некоторые факты указывают на то, что от индоевропейской языковой общности раньше всего обособилась хетто-лувийская группа; другие факты (особенно лексический материал) позволяют высказать предположение, что таковою была индо-иранская группа. Вопрос этот до сих пор нельзя считать решенным[1].

---

[1] Существует и мнение (Вандриес, Бонфанте), основанное тоже на характере некоторых слоев лексики, что наиболее ранним было выделение латинского и индо-иранских языков на западной и восточной окраинах территории индоевропейской языковой общности (см. J. Vendryes, „Mémoires de la Soc. de linguistique de Paris“, t. 20, 1918, p. 267; G. Bonfante. Sobre el vocabolario céltico y latino. „Emerita“, t. 2, 1934, p. 263 и сл.; его же. Civilisation indoeuropéenne et civilisation hittite, „Archiv orientalni“, t. XI, 1, 1939, pp. 84—90, где автор пытается доказать более позднее обособление хетто-лувийской группы, относившейся, по мнению Бонфанте, к тому же „центральному ареалу“, что и

Совершенно естественно, что и после отпадения от языка-основы известной группы диалектов самый язык-основа продолжал развиваться и в нем происходили существенные изменения.

При этом как распадающийся язык-основа, так и обособляющиеся в результате этого распадения новые языки были, в условиях существования и развития бесписьменной речи, чаще всего лишь совокупностью диалектов (говоров), хотя, конечно, нельзя отрицать возможность таких случаев, когда в языках, занимающих небольшую и географически однородную территорию, диалектное дробление было незначительным.

Исходя из всего сказанного выше, мы понимаем под языком-основой какой-либо языковой семьи (и прежде всего наиболее изученной индоевропейской семьи языков) *совокупность переживавших общие изменения и взаимодействовавших между собою и с неродственными языками племенных диалектов, представляющую наиболее типичную форму существования языка-основы.* Эта совокупность племенных диалектов являлась звеном языкового развития между более ранними языковыми общностями, от которых она (в своем целом) унаследовала значительные уже достижения грамматической и лексической абстракции, и более поздними общностями, которые стали языками-основами отдельных обособившихся групп той же семьи. Эта совокупность диалектов, переживавших общие изменения, должна была существовать очень долго (по всей вероятности, не одно тысячелетие) и на протяжении этого периода непрерывно изменяла как свою грамматическую, фонетическую и лексическую систему, так и конфигурацию своего диалектного членения. Могли исчезнуть „ларингальные“ или какие-либо другие звуки, это могло привести к изменению акцентно-интонационной системы,

---

греческий язык). Ср. также новейшую точку зрения болгарского ученого Вл. Георгнева об очень раннем распадении нидоевропейской языковой общиости на три диалектные зоиы — южную, среднюю н северную (см. статью В. И. Георгнева „Проблема возникиовения индоевропейских языков“. „Вопросы языкознання“, 1956, № 4, стр. 43—67).

вызвать к жизни так называемый „аблаут“, изменить структуру корня, изменить качественно весь фонетический состав; мог развиться флективный строй (который тоже не мог быть изначальным), могли появиться новые средства словообразования, новые средства оформления предложения и исчезнуть старые, могли развиться грамматические категории, которых не было в более ранних языковых общностях, и т. д. Но в каждый данный момент язык-основа представлял собою единую систему, по отношению к которой диалекты были только „ответвлениями“.

С другой стороны, еще до обособления первой превратившейся в самостоятельный язык диалектной группы соотношение между диалектами языка-основы должно было непрерывно меняться: диалекты дробились, сливались (не „скрещивались“, т. е. не обязательно „побеждали“ друг друга), части раздробившихся диалектов сливались с частями других диалектов или вновь одна с другой и т. д. (Ср., например, сложные отношения различных групп италийских языков, с одной стороны, к языкам германским, а с другой стороны — к кельтским).

Не все изменения, которые здесь имеются в виду, представляли собою что-то окончательно оформленное, и темпы изменений в разных диалектных группах могли быть неодинаковыми. Такие не окончательно оформившиеся изменения могли остаться к моменту обособления тех или иных диалектных групп лишь тенденциями и окончательно оформлялись в них по-разному. Такова была, например, тенденция к совпадению гласных *о* и *а* в одном звуке, давшая разные результаты в германских, балтийских, славянских и индо-иранских языках.

Реконструкция указанного процесса обособления новых языковых общностей внутри существовавшей в течение длительного периода более широкой языковой общности едва ли возможна без привлечения данных истории, т. е. для доисторических эпох — данных истории материальной культуры, к которым подавляющая часть лингвистов-компаративистов (как у нас, так и за рубежом) относится более чем скептически и которые иногда используются лингвистами

неумело и примитивно[1]. Вопрос этот трудный и сложный, и наука еще не может похвастаться большими удачами на этом пути даже в изучении истории индоевропейских языков. Еще возможны здесь взаимоисключающие гипотезы, касающиеся как исходной территории образования индоевропейской языковой общности, так и этапов и путей распространения индоевропейского типа речи. Это объясняется прежде всего тем, что у нас еще нет достаточных оснований для хотя бы предположительного соотнесения какой-либо группы археологических „культур" с территорией и временем первоначального расселения носителей индоевропейской речи. Вторая причина состоит в том, что до сих пор не удалось еще прочно установить какие-либо генетические связи между индоевропейскими языками и другими языковыми семьями и что к самой постановке такой проблемы значительная часть лингвистов продолжает относиться очень скептически. А между тем индоевропейский язык-основа, как и язык-основа любой другой семьи, не мог ни свалиться с неба, ни существовать в уже обособившемся виде чуть ли не с ледникового периода (как это готовы допустить некоторые расистски настроенные зарубежные ученые).

Язык-основа любой существующей в настоящее время языковой семьи мог обособиться только как продукт распадения более ранних языковых общностей.

§ 5. Ведущую роль в процессе образования семьи родственных языков играло расхождение, языковая дифференциация, обусловленная обособлением части племен, говоривших некогда на едином языке. Но вместе с тем в процессе образования семьи родственных языков могли возникать на основе взаимодействия уже выделившихся, но еще близких по своей

[1] Ср. неудачные попытки Ф. Шпехта связать отношения определенных слоев развития индоевропейского словообразования с отношениями мегалитических культур к культурам так называемой „шнуровой керамики". Эти попытки исходили к тому же из археологически необоснованной и разоблаченной советскими археологами „нордической" теории „прародины" индоевропейцев, рассматривавшей нынешнюю Германию как исходный пункт расселения носителей индоевропейской речи.

языковой структуре групп вторичные схождения, интеграция, образование вторичной, более ограниченной общности. Так, некоторые языковеды рассматривают ряд общих черт в балтийской и славянской группе языков не как результат того, что эти группы образовались из одного и того же диалекта языка-основы, а как общие новообразования двух сблизившихся, но ранее обособленных диалектов. В то же время следует иметь в виду, что интеграция языков не является процессом, не имеющим никаких ограничений. Существует предел или „порог“ интеграции, когда состояние диалектов меняется настолько, что не допускает возможности интеграции; так, например, в настоящее время невозможна интеграция диалектов польского и русского языков.

С другой стороны, процесс взаимодействия двух родственных, но уже достаточно далеко разошедшихся языков мог привести и к скрещиванию, в результате которого один язык выходил победителем, другой же язык исчезал, оставляя некоторые следы в фонетике и лексике языка-победителя. Так, уже в относительно позднее время (первые века нашей эры) исчез на территории современной Франции принадлежавший к кельтской группе галльский язык, побежденный латинским языком, языком италийской группы, в прошлом настолько близкой к кельтским языкам, что некоторые языковеды (например, А. Мейе) допускают существование единого итало-кельтского языка-основы. Однако к началу нашей эры латинский и галльский языки настолько уже разошлись между собой, что взаимодействие между ними могло принять только форму скрещивания с победой одного языка над другим. В результате галльский язык передал французскому языку, непосредственно продолжающему развитие победившей при скрещении „народной латыни“ (отличной от литературного латинского языка), лишь около 300 слов и произношение некоторых звуков (например, *й* вместо *и*)[1].

---

[1] Было бы ошибкой полагать, что все звуковые особенности, отличающие французский от других романских языков, объясняются влиянием галльского языка. Наоборот, большинство из них — результат спонтанного развития самого французского языка.

В результате подобных процессов многие древние индоевропейские языки и целые группы их исчезли почти бесследно. Это относится к таким языкам, как фригийский, венетский, и к таким обширным языковым группам, занимавшим огромные территории, как фракийские и так называемые „иллирийские" языки.

Следы влияния этих языков языковеды ищут в сохранившихся индоевропейских языках: например, „иллиризмы" пытаются найти в древнегреческом и кельтском языках; как фракийскую или иллирийскую основу пытаются истолковать древнейшие элементы в албанском языке. Исчезновение этих языков создало разрывы в истории семьи индоевропейских языков и сильно затруднило сравнительно-исторические исследования.

Следы воздействия побежденного языка на язык-победитель обычно называют субстратом или суперстратом. Так, говорят о кельтском (галльском) субстрате во французском языке, об иллирийском суперстрате в древнегреческом и т. д.[1].

В древней истории индоевропейской языковой семьи происходило и соприкосновение с языками не родственными, не принадлежащими к этой семье. В таких случаях, помимо отдельных лексических заимствований (как, например, заимствования названий растений, вина, тканей и т. д. индоевропейскими языками из доиндоевропейских языков Средиземноморья и Передней Азии или многочисленные германские, балтийские и иранские заимствования в финских языках), могли происходить и различные языковые скрещивания. Если в результате этого скрещивания победителем выходил неиндоевропейский язык, а какой-то индоевропейский язык оказывался побежденным, последний, естественно, исчезал, выпадал из индоевропейской семьи, хотя и оставляя свои следы

---

[1] О „субстрате" говорят тогда, когда побежденным является язык коренного населения данной территории (галльский язык во Франции, побежденный латынью). „Суперстратом" в последнее время называют то „наслоение" языка пришельцев, которое не затронуло основы грамматического и фонетического строя языка коренного населения, например „иллиризмы" в древнегреческом языке, объясняемые тем, что в последней волне „индоевропейских" вторжений в Грецию (XIII—XI вв. до н. э.) наряду с греками (дорийцами и эолийцами) были и „иллирийские" племена.

(„индоевропеизмы“) в победившем языке. Для развития индоевропейской семьи бо́льшее значение имела другая форма скрещивания, когда победившим оказывался индоевропейский язык, а побежденным языком, субстратом, — язык, генетически чуждый, но повлиявший, однако, на победивший язык.

Повидимому, подобные процессы обусловили специфические особенности таких индоевропейских языков, как клинописный хеттский (неситский) или армянский. Некоторые языковеды ищут следы неиндоевропейского субстрата и в германских языках.

Все эти сложные и многообразные формы взаимодействия как между различными обособляющимися индоевропейскими языками, так и между индоевропейскими языками и языками других семей переплетались с процессом постепенного, но неуклонного распадения языка-основы, а позже и с процессами распадения языков-основ отдельных языковых групп.

Говоря о роли скрещивания в процессе образования и развития индоевропейской семьи, необходимо прежде всего иметь в виду, что в целом роль скрещиваний никогда не была значительной. Основной слой отличительных признаков отдельных языковых групп вырабатывался в спонтанном развитии самих индоевропейских диалектов. Важнейшую роль в процессе дифференциации играл прежде всего самый факт территориального обособления племен, бывших некогда носителями языка-основы. Это обособление нередко происходило в форме медленного территориального расселения, но иногда могло принимать и форму миграций на далекие расстояния.

Влияние субстрата не касалось непосредственно системы словоизменения языка-победителя. Оно могло осуществляться через лексику, специально через словообразовательные формативы. Субстрат мог оказывать влияние и на синтаксический строй языка и на его фонетику[1].

На закономерности соотношения между победившим языком и языком побежденным влияли различные причины. Прежде всего можно предполагать, что влияние побежденного языка

---

[1] См. доклады и выступления на проведенной в феврале 1955 г. в Ленинграде дискуссии о теории субстрата („Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР“, вып. IX, М., 1956).

было более значительным, если скрещивались два близкородственных языка. Однако и здесь определяющим фактором были конкретные исторические условия, соотношение культур обеих групп населения и т. п. Очевидно, что закономерности соотношения языка-победителя и побежденного языка были неодинаковы в условиях первобытно-общинного строя, в условиях разложения этого строя и зарождения классов и, наконец, в развитом классовом обществе. Многое зависело от характера миграций и завоеваний, приносивших новый язык на данную территорию, от соотношения численности разноязычного населения, от разницы в культурном уровне, от существования или отсутствия письменности и т. д.

Показательны, например, такие факты: латинский язык вытеснил все языки в западной части Империи, но не мог вытеснить греческого языка в восточной ее части; славяне быстро славянизировали коренное фракийское население Болгарии, но растворились в греческом населении Средней Греции и Пелопоннеса. Болгары-тюрки быстро ассимилировались в славянской среде, однако венгры „мадьяризовали" паннонских славян; франки, бургунды в Галлии, вестготы в Испании романизовались, но германцы рано ассимилировали бóльшую часть полабских и поморских славян и т. д.

§ 6. В марксистском языкознании **родство языков является понятием чисто лингвистическим**. Оно далеко не всегда предполагает этническую общность народов, говорящих в настоящее время на данных языках.

Следовательно, родство языков не соотнесено с понятием не только расовой, но и этнической общности.

Антропологическая смешанность народов — носителей индоевропейской речи — даже в древнейшие эпохи является столь очевидным фактом, что ее признает и подавляющее большинство буржуазных ученых. Только небольшая группа немецких языковедов конца XIX и начала XX века, связанная с расистско-шовинистической антинаучной немецкой антропологией, вопреки всем антропологическим, историческим и лингвистическим данным пыталась связать носителей индоевропейского языка-основы с пресловутой „нордической" расой.

Более рафинированной формой того же расизма являлась попытка некоторых языковедов (например, Гюнтерта[1]) обнаружить расовую общность в категориях мышления, обусловивших якобы структурные особенности индоевропейских языков[2].

§ 7. В языкознании XIX и отчасти XX веков сравнительно-исторические исследования родственных языков имели весьма ограниченное содержание и ставили перед собой довольно узкие задачи.

Еще В. А. Богородицкий в предисловии к „Сравнительной грамматике арио-европейских языков" отмечал, что обычный план изложения, например, сравнительной грамматики индоевропейских языков состоял в „сопоставлении родственных грамматических явлений в древнейших представителях этого семейства языков и в построении гипотез относительно того, что соответствовало этим явлениям в праязыке"[3]. Самого Богородицкого такое содержание сравнительно-исторических исследований отнюдь не удовлетворяло, но он считал его типичным для своего времени. И действительно, преобладающее большинство сравнительных грамматик индоевропейских языков, включая не только известный труд Бругмана и Дельбрюка, работы Ф. Фортунатова, но и более поздние исследования, например „Введение в сравнительно-историческое изучение родственных языков" А. Мейе или „Индоевропейская грамматика" Г. Хирта, построено по такому шаблону. Теми же принципами руководствовались и авторы многочисленных этимологических исследований.

Сравнительно-историческое изучение родственных языков в огромном большинстве случаев сводилось в прошлом к осуществлению следующих задач.

1. Установление генетического тождества[4] отдельных звуков, словоизменительных и словообразовательных морфем, а так-

[1] H. Güntert. Der Ursprung der Germanen. Heidelberg, 1934.

[2] Некоторое влияние эти порочные взгляды оказали и на Ф. Шпехта (см. его работу „Der Ursprung der indogermanischen Deklination", 1943).

[3] В. А. Богородицкий. Сравнительная грамматика арио-европейских языков, вып. I, 1914, стр. 5.

[4] Термин „генетическое тождество" был впервые употреблен А. И. Смирницким в статье „К вопросу о сравнительно-историческом методе

же корневых морфем и более сложных производных основ путем сравнительного сопоставления материалов родственных языков.

Без выявления генетического тождества отдельных элементов в нескольких языках невозможно установить или доказать их родство. Так, Ф. Бопп доказал существование индоевропейской семьи языков на основе установления генетического тождества элементов глагольных парадигм в древнеиндийском, древнеперсидском, древнегреческом, латинском и готском языках.

2. Реконструкция исходных для сопоставляемых языков звуков, словоизменительных и словообразовательных морфем, а также форм отдельных корней или более сложных производных основ, т. е. реконструкция элементов структуры „праязыка“ с последующим сопоставлением реконструируемых элементов с формами родственных языков; без этой реконструкции не может быть доказано и генетическое тождество сопоставляемых элементов родственных языков, иными словами, не может быть доказано и самое их родство.

При таком содержании сравнительно-исторических исследований реконструкция „праязыковых“ форм выдвигалась на первый план и составляла с середины XIX века основное содержание и конечную цель сравнительно-исторических исследований. Действительно, начиная с А. Шлейхера (1821—1868), многие лингвисты видели важнейшую задачу сравнительно-исторических исследований в восстановлении „праязыков“ отдельных языковых семей, т. е. в том, что немецкий языковед Г. Хирт называл „Erschliessung der Ursprache“. С этим

в языкознании“ (см. журн. „Вопросы языкознания“, 1952 г., № 4, стр. 3 и сл.). Ср. также брошюру того же автора „Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства“, М., изд. МГУ, 1955, стр. 13—15. Под генетическим тождеством понимается, например, общность происхождения корней. Так, в др.-инд. nábhaḥ „облако“, хеттск. nepiš „небо“, греческом νέφος „облако“, ст.-слав. и др.-русск. *небо*, лат. nebula „туман“, немецком Nebel „туман“ корни генетически тождественны. Восстановленная форма корня — **nebh-*. Генетически тождественны словоизменительные морфемы — показатели 3-го лица ед. числа в др.-инд. bhárati, лат. fert, готск. bairiþ, — восстанавливаемая форма показателя *-*ti*; наконец, генетически тождественные согласные в др.-инд. -*ti*, лат. -*t*, готск. -þ, — реконструируемая фонема -*t*.

было связано и специфическое наименование многих сравнительных грамматик отдельных языковых групп индоевропейской семьи: ср., например, „Urgermanisch“ как название сравнительной грамматики германских языков[1].

Если же некоторые языковеды и не выдвигали так прямолинейно реконструкцию праязыка в качестве конечной цели сравнительно-исторических исследований, то все же и они в общем шли по тому же пути.

В отличие от немецких компаративистов, А. Мейе в предисловии к „Введению в сравнительное изучение индоевропейских языков“ (1-е изд. 1903) специально указал, что „сравнительная грамматика не задается целью воссоздать индоевропейский праязык, а имеет в виду, определяя указываемые соответствиями общие элементы, выяснить, что̀ в каждом исторически засвидетельствованном наречии является продолжением древней формы языка и что̀ представляет результат собственного самостоятельного развития“[2].

Однако, хотя Мейе и указывал неоднократно, что восстановить реальный индоевропейский „праязык“, на котором говорили несколько тысячелетий тому назад, мы не можем, поскольку языковед имеет дело лишь с определенной системой соответствий между исторически засвидетельствованными языками, практически данная его работа по построению и охвату проблем мало чем отличается от сравнительной грамматики индоевропейских языков Бругмана и Дельбрюка. Все описываемые факты систематически и постоянно располагаются в двух плоскостях: одну плоскость образует ряд соответствий древнейших генетически тождественных элементов индоевропейских языков, другую — гипотетически реконструированные на основании этих соответствий „праязыковые“ формы.

Методика установления генетического тождества отдельных элементов в системе родственных языков с течением времени менялась и совершенствовалась, приемы реконструкции становились более гибкими, сложными, но это до 20-х годов поч-

---

[1] W. Streitberg. Urgermanische Grammatik. 1893. F. Kluge. Urgermanisch. 1913. H. Hirt. Handbuch des Urgermanishen. 1921.

[2] А. Мейе. Введение в сравнительное изучеиие индоевропейских языков. Русский перевод. М.—Л., 1938, стр. 32.

ти не меняло общего содержания и направления большинства сравнительно-исторических исследований. В известной степени это относится и к некоторым новейшим работам (например, к работам Г. Краэ, П. Тиме и др.).

Результатом сравнительно-исторического изучения индоевропейской языковой семьи в целом или отдельных групп языков обычно являлось описание характерных особенностей, общих для данной группы или семьи, постулируемых как присущие им исконные черты, и сопоставление этих общих черт с фактами древней письменности одного языка или более мелкой языковой группы. Так, например, на основе сравнения древних индоевропейских языков был реконструирован состав общеиндоевропейского вокализма с различием *ă*, *ŏ*; сравнение же этого вокализма с системой гласных древних славянских или германских языков позволило установить факт совпадения этих старых индоевропейских гласных в указанных языках, причем в славянских языках победило о, в германских *a*; ср. лат. hostis, русск. *гость*, немецкое Gast, общеиндоевропейская реконструируемая форма **ghost-*; лат. axis, др. греч. ἄξων, русск. *ось*, нем. Achse, реконструируемая форма корня **aks-*.

Точно так же на основе сопоставления морфемы показателя первого лица настоящего времени действительного залога в различных индоевропейских языках (ср. древнеиндийское bhárāmi „несу“, греческое φέρω, латинское ferō, готское baíra, ст.-слав. берѫ) восстанавливается исконная форма этого показателя *ō*, причем отличающиеся в звуковом отношении от этой исконной формы показатели отдельных языков [1] получают свое объяснение.

Не касаясь пока вопроса о том, насколько совершенны были приемы разрешения указанных выше задач, насколько удовлетворительна была самая методика сравнительно-исторических исследований (этому вопросу посвящается II глава), отметим, что названные выше задачи были весьма существенны и важны: без установления генетического тождества отдельных элементов родственных языков, без реконструкции исходных форм вообще

---

[1] Так, например, древнеиндийский показатель 1-го лица *-mi* в данном классе глаголов (тематические глаголы) является, повидимому, новообразованием; то же следует сказать и о ст.-слав. ѫ < **om*.

невозможно сравнительно-историческое изучение родственных языков. Это необходимая основа любого сравнительно-исторического исследования. Пренебрежительное отношение к этим задачам последователей Н. Я. Марра, поход против „форм под звездочкой" вели к огульному отрицанию любых сравнительно-исторических исследований родственных языков, т. е. фактически к ликвидации изучения языкового родства.

Но вместе с тем сводить всё содержание изучения языкового родства к реконструкции исходных звуков, словоизменительных форм, лексических единиц, т. е. превращать сравнительно-исторические исследования в статическое описание „праязыка" было бы не только неправомерным сужением задач изучения языкового родства, но и неверным направлением сравнительно-исторических исследований. Наиболее прогрессивные компаративисты прошлого, как, например, русский языковед В. А. Богородицкий, не только видели эту узость и ограниченность прежних сравнительно-исторических исследований, но и намечали пути преодоления критикуемых ими недостатков этих работ.

§ 8. Существенным недостатком прежних сравнительно-исторических исследований было то, что изучение закономерностей развития языков одной семьи или группы отодвигалось на второй план. Если в процессе реконструкции „праязыковых" элементов, при сопоставлении генетически тождественных единиц родственных языков, исследователи иногда оперировали понятием „законов языка", то под этим подразумевалось лишь два типа закономерностей:

1) „Фонетические законы", первоначальное понимание которых младограмматиками вызвало длительную и ожесточенную полемику (Г. Шухардт, Ж. Жильерон и др.)[1]; 2) „принцип аналогии", используемый при объяснении некоторых явлений в развитии грамматического строя, а также некоторых исключений из фонетических закономерностей[2]. Под

[1] См. E. Wechsler. Gab es Lautgesetze? 1900.

[2] См. E. Hermann. Lautgesetze und Analogie. Berlin, 1931; В. М. Жирмунский. Внутренние законы развития языка и проблемы грамматической аналогии. („Труды Института языкознания АН СССР", т. 4, 1954 г.).

понятие „фонетического закона“ подводились, например, такие факты, как переход реконструируемого звука $*bh > b$ в германских и славянских языках (ср. др.-инд. bhrā́ta, др.-русск. *братъ*, готское brōþar).

Действием „закона аналогии“ объяснялось проникновение, например, падежных форм из одного типа склонения в другой (см. гл. V). Этим, по существу, и исчерпывались те закономерности, которые учитывались в сравнительно-исторических исследованиях родственных языков.

Чрезвычайно показательно в этом отношении содержание раздела „О закономерностях развития языков“ из книги А. Мейе „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков“[1]. Мейе излагает сущность того, что он называет фонетическими и морфологическими „законами“. Под „фонетическими законами“ он понимает „изменения, затрагивающие артикуляцию звуков безотносительно к смыслу“, как, например, переход индоевропейских *p*, *t*, *k* в германских языках в *f*, þ, χ (так называемое „первое передвижение“ согласных в германских языках). „Морфологический закон“ сводится к изменениям по аналогии. В качестве примера Мейе приводит следующее явление из истории французского языка, когда под влиянием форм 2-го и 3-го лица: tu aimes „ты любишь“, il aime(t) „он любит“, *-e* проникло и в форму 1-го лица, которая вместо j'aim начала произноситься j'aime; это *e* в дальнейшем проникает в 1-е лицо всех глаголов данного спряжения.

Ясно, что столь ограниченное и узкое понимание закономерностей развития языка влияло на характер и направление прежних сравнительно-исторических исследований. Исследования эти не давали достаточного освещения таких вопросов, которые могли способствовать подлинному глубокому раскрытию закономерностей развития родственных языков, как, например, следующие: 1) характер и форма влияния исконной структуры индоевропейских языков на закономерности развития отдельных языковых групп этой семьи; 2) соотношение общих тенденций развития языков одной семьи или группы с закономерностями, возникающими в дальнейшем развитии отдельного языка этой

[1] А. Мейе. Указ. соч., стр. 60.

семьи; 3) характер и форма влияния истории народов, говоривших на родственных языках, на процесс развития языка, в частности на расхождения в структуре родственных языков; 4) установление причин устойчивости одних общих структурных элементов и чрезвычайной изменчивости других (например, относительной устойчивости системы настоящего времени и неустойчивости старого перфекта и аориста); 5) установление факторов неравномерности сохранения древних элементов в отдельных индоевропейских языках (ср. в группе славянских языков различия между болгарским и русским языками, в германской группе — между норвежским и исландским языками и т. д.).

Вследствие недостаточного внимания к изучению закономерностей развития языка значительная часть специальных сравнительно-исторических исследований, а в особенности сводные работы по сравнительной грамматике индоевропейских языков носили описательный эмпирический характер и были далеки от подлинного историзма. Еще в 1935 г. известный французский компаративист Э. Бенвенист справедливо отмечал, что в сравнительно-исторических исследованиях авторы их „не выходили за пределы констатации фактов. Большой и заслуживающий уважения труд, затраченный на описание форм, не сопровождался ни одной серьезной попыткой их истолкования“[1].

Очевидно, что „истолкование“ фактов невозможно без познания закономерностей процессов, обусловивших самое появление этих фактов. Но именно здесь и скрывалась наиболее слабая сторона большинства сравнительно-исторических исследований XIX и начала XX вв.

Идеалистическая основа господствующих языковедческих направлений XIX и первой половины XX в. предопределяла отрыв рассмотрения языковых процессов от истории народов, говоривших на этих языках. Формально-описательный характер подобных исследований мешал пониманию внутренних противоречий в структуре языка, существующих между старыми сложившимися категориями и новыми тенденциями,

---

[1] Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. Русск. перев. М., 1955, стр. 25.

которые возникали в связи с развитием мышления, с осложнением потребностей общения. Игнорировалось, что именно появление таких противоречий между старым и новым в структуре языка было основой развития родственных языков в каждый период их истории.

Открытие хеттского и других малоазийских языков, создание новой теории корня мало повлияли на общую направленность сравнительно-исторических исследований. Такие блестящие компаративисты, как Готьо или Бенвенист, хотя они и стремились в своих исследованиях к принципиально новой постановке основных вопросов сравнительно-исторического языкознания, все же достигали лишь совершенствования частной методики сравнительно-исторических исследований. Поэтому появление отдельных новаторских исследований не оказывало решающего влияния на общий ход развития компаративистики.

§ 9. С этим основным недостатком сравнительно-исторических исследований XIX—XX веков, с принципиально ограниченными целями, которые они себе ставили, была связана и недооценка с р а в н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я и с т о р и и р о д с т в е н н ы х я з ы к о в. А именно такое сравнительное изучение могло бы помочь выявлению определенных закономерностей развития этих языков. В результате во многих сравнительно-исторических исследованиях было фактически очень мало подлинной истории. Особенно это относится к большим сводным работам по сравнительной грамматике индоевропейских языков. Хотя сравнительная грамматика своими данными и помогала изучению истории отдельных языков, но в ней самой было слишком мало исторического рассмотрения языковых фактов.

Нередко языковеды ограничивались сопоставлением данных, относящихся к периоду создания первых памятников на изучаемых языках. Ни в сравнительных грамматиках индоевропейских языков К. Бругмана, А. Мейе или Г. Хирта, ни в большинстве сравнительных грамматик отдельных языковых групп исследование почти не выходит за рамки древнейшего состояния изучаемых памятников, оставляя за пределами сравнительного анализа историческое развитие родственных языков. Показательно, что как фонетические разделы этих

компендиумов не содержат сравнительного анализа развития фонологической системы родственных языков, так и морфологические главы не дают сравнительного анализа развития отдельных структурных элементов. Тщетно мы стали бы здесь искать исчерпывающего сравнительного изучения развития старой системы именного склонения, сложившейся еще в эпоху индоевропейской общности и унаследованной (в различной степени) всеми древними индоевропейскими языками, или сравнительного анализа развития древнейшей системы именных словообразовательных формативов по отдельным группам и языкам.

То же самое относится к соответствующим разделам сравнительных грамматик отдельных языковых групп. Работ, уделявших известное внимание этим вопросам, таких, как „Основные особенности германской группы языков“ А. Мейе, „Сравнительная грамматика романских языков“ В. Мейер-Любке или сравнительные грамматики славянских языков В. Вондрака и Р. Ф. Брандта, было не много. Но даже и в этих сравнительных грамматиках основной упор делается на д р е в н е й ш и е специфические явления данной языковой группы, которые сопоставляются с исходным ее состоянием.

Весьма типично построение работы А. Мейе „Общеславянский язык“, где, например, изложение системы смычных и аффрикат дается по следующему плану: 1) общеиндоевропейская система, 2) славянская система, 3) частичное сопоставление с древнейшими системами других индоевропейских языков. Многие работы по исторической фонетике отдельных индоевропейских языков прослеживали в изучаемом языке судьбу реконструированных звуков „праязыка“ так, что собственная фонетическая система каждого отдельного языка совершенно растворялась в них. Отказ Э. Швицера от этого принципа в его переработке „Греческой грамматики“ Бругмана — Тумба (1939 г.) остается единичным явлением.

Авторы сравнительных грамматик отдельных языковых групп обычно ограничивались только рассмотрением тех фактов, которые безусловно относятся к эпохе первоначальной общности данной языковой группы, и совсем не касались явлений новых, возникающих во всех языках данной группы в процессе их

исторического развития. Так, например, ни в одной сравнительной грамматике славянских языков не рассматриваются развитие аналитических временных форм, их судьбы в отдельных славянских языках и процесс переоформления всей временной системы, несмотря на то, что этот процесс несомненно обнаруживает наличие общих тенденций развития во всех славянских языках.

В сравнительных грамматиках германских языков такие важнейшие и присущие всем этим языкам категории, как описательные времена, залоговые формы, артикль, даже не упоминаются. Объясняется это тем, что все данные категории оформлялись лишь в процессе развития отдельных германских языков, в то время как авторы сравнительно-грамматических исследований упорно ограничивались описанием древнейшей системы германской фонетики и морфологии; все, что выходило за эти пределы, выпадало из сравнительно-исторического рассмотрения.

Последнее обстоятельство особенно ограничивало проблематику многих сравнительно-исторических исследований, приводя нередко к преобладанию простого сопоставления строя родственных языков древнейшего периода над сравнительно-историческим изучением их р а з в и т и я, начиная от эпохи языковой общности до современного состояния. Лишь в редких случаях, например в книге А. Мейе „Основные особенности германской группы языков“ и в литографированном курсе истории русского языка А. А. Шахматова, сделана попытка сравнительно-исторического изучения развития группы родственных языков.

§ 10. Указанный в предыдущем параграфе серьезный пробел в содержании преобладающего большинства сравнительно-исторических исследований также отмечал в свое время В. А. Богородицкий. Он писал, что привлечение в сравнительной грамматике индоевропейских языков только фактов древнейшей письменности и пренебрежение ко всему последующему развитию этих языков дает одностороннюю картину развития языка. В. А. Богородицкий подчеркивал, что тем самым для сравнения как бы выхватывается один из моментов истории

этих языков, характер же языка определяется не одним какимлибо моментом, а всей его историей. Поэтому Богородицкий приходит к выводу, что „в сравнительной грамматике нельзя ограничиваться только древнейшими представителями данного языкового семейства, взятыми в известный момент своей истории, но *необходимо вместе с тем следить за всем ходом их развития до настоящего времени*“[1].

Однако в своем „Кратком очерке сравнительной грамматики арио-европейских языков“, вышедшем двумя годами позднее, В. А. Богородицкий не осуществил выдвинутого им самим принципа, и этот курс его принципиально почти ничем не отличается от тех сравнительных грамматик индоевропейских языков, построение которых он сам критиковал в предыдущей книге.

Между тем сравнительно-историческое изучение истории родственных языков, начиная от эпохи языковой общности до настоящего времени, имеет двоякое значение.

Во-первых, познание закономерностей развития родственных языков невозможно без сравнительно-исторического изучения их истории. Общие закономерности, например, развития глагольной системы индоевропейских языков и специфические особенности каждого из родственных языков можно установить только в результате сравнительно-исторического изучения всей истории родственных языков. Общие закономерности развития системы грамматических времен в славянских языках в ее соотношении с категорией глагольного вида, в свою очередь, выявляются лишь на основе сравнительного изучения всей истории языков, относящихся к славянской группе. Иными словами, изучение общих тенденций развития родственных языков, являющееся, как указывалось выше (см. § 1), одной из задач сравнительно-исторических исследований, возможно лишь на основе сравнительного анализа их истории.

С другой стороны, и такая проблема, как установление характера и формы влияния структуры языка-основы на зако-

---

[1] В. А. Богородицкий. Сравнительная грамматика арио-европейских языков, вып. 1, Казань, 1914, стр. 5—6.

номерности развития отдельных индоевропейских языков, не может быть разрешена без сравнительного анализа истории этих языков. Так, например, сравнительно-историческое изучение развития склонения в истории языков различных групп индоевропейской семьи обнаруживает, как известно, общие тенденции перестройки старой системы, построенной на дифференциации по основообразующим суффиксам. Эта общность выражается в ряде структурных моментов: а) в обособлении падежных формативов от старых классов склонения, следствием чего являлось проникновение этих формативов из одного класса склонения в другой, сближение и смешение парадигм склонения разных классов, например согласных основ и основ на *-i-* в латыни, основ на *-o-* и *-u-* в славянских и германских языках, основ на согласные и *-o-* в германских языках; б) в сокращении классов или типов склонения путем слияния нескольких типов или поглощения более продуктивными классами склонения менее продуктивных; так, например, во всех германских языках относительно рано исчезли основы на *-u-* типа готского sunus в результате перехода имен существительных этого класса склонения в другие классы. Неустойчивым был этот класс и в славянских языках; в латыни еще в дописьменную эпоху на основе смешения разных классов оформилось так называемое 3-е склонение; в) во всех этих языках наблюдается влияние грамматического рода при слиянии различных классов склонения, которое выражалось в том, что, например, имена существительные мужского рода с основами на *-u-* смешивались с именами других типов склонения только мужского рода и т. д.

Со всей очевидностью эта общность тенденций развития именного склонения в различных индоевропейских языках обнаруживается лишь в результате сравнительно-исторического анализа развития склонения в этих языках. Возникают вместе с тем вопросы: что обусловило эту общность тенденций развития склонения индоевропейских языков? В какой степени направление развития было обусловлено структурой именного склонения в эпоху обособления основных групп? Какие черты старой системы послужили основой развития склонения в отдельных индоевропейских языках? Только сравнительно-

историческое изучение развития родственных языков делает возможной постановку этих проблем.

Поскольку развитие языка осуществляется преимущественно путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка, постольку структура языка-основы в определенный исторический период должна была служить базой развития возникших из него языков. Но только сопоставление этой исконной структуры с р а з в и т и е м родственных языков может дать материал для определения характера и форм зависимости закономерностей развития родственных языков от исконной структуры. К тому же надо иметь в виду, что, например, общие тенденции развития склонения, обнаруживающиеся в различных индоевропейских языках, проявляются в них в индивидуальной форме, обусловленной конкретной историей отдельных языков. Результаты реализации этих тенденций в отдельных даже близко родственных языках глубоко различны: достаточно сравнить, например, склонение русского и болгарского языков, немецкого и английского и т. д.

Сравнительное изучение развития родственных языков в связи с историей народов, говоривших на данных языках, может дать материал и для ответа на вопрос, каковы были факторы языковой дифференциации, неравномерностей развития отдельных родственных языков и т. д.

Во-вторых, сравнительно-историческое изучение самостоятельного развития родственных языков позволяет вместе с тем лучше понять те или иные черты языка-основы. Так, возвращаясь к приведенному выше примеру с развитием склонения в отдельных индоевропейских языках, можно отметить, что закономерности этого развития помогают лучше понять процессы, характеризовавшие индоевропейскую систему склонения накануне распада индоевропейской общности и начального обособления больших языковых групп, поскольку истоки этих общих тенденций развития должны быть, повидимому, отнесены еще к той эпохе. Еще в большей степени реконструкция фонемного состава языка-основы невозможна без сравнительно-исторического изучения тенденций развития фонологической системы родственных языков.

§ 11. Результаты сравнительно-исторических исследований всегда использовались для более полного и точного воспроизведения истории отдельных языков, для объяснения конкретных процессов и отдельных явлений, неясных в истории отдельных языков. Как известно, письменные памятники на отдельных индоевропейских языках появляются в различные эпохи: так, например, памятники клинописного хеттского (неситского) языка относятся ко второму тысячелетию до н. э., первые памятники греческого языка — к IX—VIII векам до н. э.[1], первые памятники на германских языках (так называемые рунические надписи) — к III—IV векам н. э., а первые памятники на славянских языках датируются X—XI веками. С другой стороны, нередко поздние памятники дают более полное представление о какой-либо древней черте данной семьи, чем памятники, датированные несколькими столетиями раньше (например, памятники древнегреческого и латинского языков сравнительно с более древними хеттским и индо-иранскими в вопросе о вокализме *e/o*). Это может объясняться различными особенностями процессов обособления той или иной языковой группы, неравномерностью развития различных индоевропейских языков, разновременностью их выделения из языка-основы. В языках, обособившихся раньше, естественно раньше появляются и индивидуальные черты.

Необходимо учитывать и особенности графики, использованной при письменной фиксации дошедших до нас

[1] В последние годы расшифровка крито-микенского линеарного письма Б XV — XII веков до н. э. обнаружила без всяких сомнений тексты на одном из древнегреческих диалектов (точнее на южногреческом наречии, предшественнике ионийского и аркадско-кипрского диалектов). Однако скудость и однообразие текстов и неточность передачи звуковой системы слоговым письмом, в котором не различались глухие и звонкие, чистые и придыхательные согласные, а также неясность фонетической значимости некоторых знаков — все это приводит к тому, что для сравнительной грамматики новые тексты дают пока очень мало.

Ср. W. Porzig. Sprachgeographische Untersuchungen zu den altgriechischen Dialekten („Indogerm. Forsch." B. 61, 1954, S. 147—169); E. Frisch. Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer Sicht („Museum Helveticum", B. 12, 1955, S. 61—76).

С. Я. Лурье. Опыт чтения пилосских надписей („Вестник древней истории", 1955, № 3, стр. 8—36).

памятников. Последнее относится к отражению фонетических особенностей того или иного языка. Так, например, хеттское письмо не позволяет нам точно судить о системе смычных в этом языке (до сих пор остается неясным вопрос о наличии звонких и глухих, чистых и придыхательных и т. д.). Поэтому сравнение консонантизма других индоевропейских языков, хотя и обладавших более молодой письменностью, служит лучшим источником для восстановления индоевропейского консонантизма эпохи первоначальной языковой общности, чем очень древние данные письменных памятников хеттского языка.

Письменные памятники таких языков, как славянские или германские, отражают уже довольно поздний период истории этих языков. Важнейшим источником, позволяющим нам продолжить историю этих языков в глубь веков и восстановить историю фонетической системы этих языков, их грамматического строя в дописьменный период, является материал сравнительно-исторических исследований. Материал родственных языков позволил, например, установить дифтонгическое происхождение ѣ в древнерусских и старославянских памятниках или предисторию редуцированных ъ и ь; сравнительно-исторический анализ помог раскрыть характер противоречий системы склонения в первых памятниках на славянских языках: существование различных типов склонения получило свое объяснение в дифференциации имен по основообразующим суффиксам, которые хотя и были стерты в славянских языках, но легко восстанавливались при сопоставлении с материалом других индоевропейских языков.

В германских языках система чередования гласных, на которой построено образование времен сильных глаголов, разъясняется лишь в свете сравнения с фактами других индоевропейских языков, в первую очередь греческого и т. д.

Еще чаще при изучении истории того или иного языка используется материал близкородственных языков, например, старославянского языка при освещении тех или иных фактов из истории русского языка, или готского, древнеисландского при анализе фактов из истории немецкого или английского языков.

В то же время, как это ни парадоксально звучит, в самих сравнительно-исторических исследованиях до последних десятилетий было мало подлинной истории, в частности, и потому, что слишком мало использовались в них данные истории, археологии и этнографии. Изучение языкового родства обычно происходило в полном отрыве от истории народов — носителей родственных языков.

§ 12. Отсутствие подлинной истории в сравнительно-исторических исследованиях, особенно же в обобщающих работах по сравнительной грамматике, было обусловлено не только отсутствием анализа вопросов, связанных со сравнительно-историческим изучением развития родственных языков (о чем говорилось в § 9), но и самой трактовкой структуры языка-основы.

Историзм в сравнительной грамматике до сих пор обычно сводился лишь к установлению отношений и переходов от структуры „праязыка" к древнейшим структурам языков той или иной группы. Известное определение А. Мейе гласит, что сравнительная грамматика есть „разновидность исторической грамматики в отношении тех частей языкового развития, которые не могут быть прослежены на основе документов"[1].

Однако эта формулировка А. Мейе страдает явной неточностью, поскольку нередко собственно исторической грамматики реконструируемых периодов сравнительно-исторические исследования не давали: и в этой части изучение развития языковой структуры отсутствовало.

История, в полном смысле слова раскрывающая развитие языка, отсутствовала, следовательно, не только в области сравнительного изучения развития родственных языков эпох существования письменности, но даже и в самой реконструкции праязыка и в сопоставлении праязыковых форм с формами древнейших индоевропейских языков. Сравнительное языкознание имело в прошлом дело по преимуществу с сопоставлением лишь двух исторических плоскостей: состояния языка-основы накануне его окончательного распада и состо-

---

[1] А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. 1938, стр. 79.

яния отдельного языка в эпоху появления первых письменных памятников. Так, например, для германских языков на основании сравнительных данных реконструировалась в качестве исходной общая индоевропейская глагольная система в составе трех основных форм — презенса, аориста и перфекта, которой противопоставлялась исторически засвидетельствованная во всех германских языках система презенса-претерита как вторичная, более поздняя. При этом до работ Г. Хирта 10-х годов вопрос о путях развития более древней глагольной системы в систему, исторически засвидетельствованную для данной языковой группы, фактически не ставился.

Для италийских и кельтских языков в качестве одной из исходных залоговых форм восстанавливался еще в начале XX века индоевропейский медиум, но вопрос о том, каков был тот процесс, который привел к своеобразной контаминации этих медиальных форм с формами пассива на *-r*, оставался незатронутым.

Бенвенист в своей известной работе „Индоевропейское именное словообразование" на основании тщательного сравнительного анализа пришел к новой теории индоевропейского корня, что́ было связано и с принятием им гипотезы о дофлективном характере индоевропейского праязыка древнейшего периода. Однако Бенвенист оставил в тени восстановление самих процессов, которые вели от этого гипотетически восстанавливаемого дофлективного состояния индоевропейского праязыка к строю таких древних засвидетельствованных языков как древнегреческий, древнеиндийский, хеттский[1].

С другой стороны, и сами „праязыковые" факты выстраивались на одной плоскости, и система „праязыка" выступала таким образом в некоей идеальной статичности, вне исторических изменений и вне процесса развития. Лишь у немногих языковедов имелись уже с конца XIX века попытки преодоления того антиисторизма, который был естественным следствием „плоскостного" изучения реконструируемых фактов: здесь особенно следует отметить, наряду с высказываниями русских

[1] См. об этом ниже в главе IV.

компаративистов — И. В. Нетушила, В. А. Богородицкого и В. К. Поржезинского, исследования некоторых зарубежных языковедов: О. Бремера, Х. Педерсена, П. Кречмера, отчасти А. Мейе.

Таким образом, самый характер анализа соотношений структуры языка-основы со структурами отдельных родственных языков также являлся причиной того, что сравнительное языкознание не подготовило в достаточной степени почвы для изучения закономерностей развития родственных языков. Этот существенный пробел был следствием тех серьезных недостатков, которые характеризуют старое сравнительное языкознание, несмотря на его значительные достижения в деле изучения языкового родства, накопления и описания огромного количества фактов. В последнее десятилетие намечаются, однако, сдвиги в изучении языка-основы. Работы Хирта, Бенвениста, Куриловича, Сафаревича, Лемана по отдельным вопросам сравнительной грамматики индоевропейских языков внесли историзм в анализ структуры общеиндоевропейского языка. Несмотря на это, многие исследования (ср. работы Краэ, Тиме и др.) продолжают традиции „классической компаративистики“, которая в основном базировалась на принципах немецкой младограмматической школы, имеющих уже 75-летнюю давность и значительно расшатанных выводами узкоспециальных исследований по данной группе языков или данному комплексу частных вопросов.

§ 13. Узость и ограниченность содержания значительного большинства сравнительно-исторических исследований, в первую очередь сводных работ по сравнительной грамматике индоевропейских языков, выражаются и в неравномерном охвате сравнительно-историческим анализом различных сторон языка.

Фактически сравнительно-исторические грамматики содержали лишь исследование фонетики и морфологии родственных языков. Обособленное место занимали специальные этимологические исследования. Что касается сравнительно-исторической лексикологии в широком смысле этого слова, а особенно сравнительно-исторического синтаксиса, то эти проблемы почти не разрабатывались.

Разработка вопросов сравнительно-исторической фонетики и сравнительно-исторической морфологии несомненно является не только первой ступенью сравнительно-исторических исследований, но и основой изучения языкового родства. **Важнейшим звеном сравнительно-исторического изучения родственных языков**, простейшей клеточкой является **морфема**.

Сравнительно-историческое изучение словоизменения и словообразования невозможно без сопоставления морфем родственных языков и установления их генетического тождества. Изучение лексики родственных языков, в свою очередь, предполагает сравнительно-исторический анализ морфемной структуры сравниваемых слов: сравнение слов родственных языков невозможно без выделения и сопоставления корневых и аффиксальных морфем. Подобно тому как сравнительно-историческое изучение спряжения глагола индоевропейских языков предполагает выделение, например, морфемы показателя лица (ср. приведенные на стр. 25 формы 1-го лица ед. числа наст. времени), установление генетического тождества корней в др.-инд. nábhaḥ, ст.-слав. и др.-русск. *небо*, лат. nebula, нем. Nebel предполагает выделение корневой морфемы *nabh-*, *неб-*, *neb-*; выделение же этой морфемы, в свою очередь, опирается на морфемный анализ слова в каждом из родственных языков. Такой анализ позволяет определить *-ul* в латинском nebula и *-el* в немецком Nebel как суффиксальный словообразовательный элемент, позволяет понять, что в древнеиндийском nábhaḥ *-aḥ* является основообразующим суффиксом, что в древнерусском *небо* -о только падежное окончание (с точки зрения системы древнерусского языка), т. е. этот анализ помогает отбросить все те морфемы, которые не относятся к корню, выделив корень в сложной структуре слова.

Вместе с тем очевидно, что каждая морфема выступает в материально-звуковой оболочке и что поэтому сравнительно-исторический анализ словоизменительных и словообразовательных показателей, в равной степени как и корневых морфем, невозможен без учета фонетических закономерностей (подробнее см. главы III и V). Именно поэтому сравнительно-истори-

ческая фонетика и сравнительно-историческая морфология так тесно связаны между собой.

Однако содержание сравнительно-исторических исследований не может ограничиться только этими разделами. Необходимо также разрабатывать сравнительно-историческую лексикологию как отдельных языковых групп, так и всей индоевропейской семьи в целом, изменив и расширив содержание этимологических исследований. Выделение древнейшей общей части словарного фонда индоевропейских языков, изучение закономерностей его развития в отдельных языковых группах и языках, в частности изучение наиболее устойчивых и более подвижных элементов этого древнейшего словарного фонда, изучение закономерностей семантических процессов, связанных с развитием общего словарного фонда индоевропейских языков, — все это должно составить основу сравнительно-исторической лексикологии.

Проблемы сравнительно-исторической лексикологии, естественно, тесно связаны с вопросами сравнительно-исторической морфологии, особенно в той ее части, которая занимается вопросами структуры индоевропейского корня и историей словообразовательных формативов. Здесь используются те же приемы сравнительно-исторического исследования.

Сложность разрешения лексикологических проблем заключается в неизученности и новизне ряда вопросов и в первую очередь — сравнительно-исторической семасиологии, в неразработанности методики сравнительно-исторического исследования семантических закономерностей[1]. Трудности эти усугубляются тем, что семантические процессы и закономерности являются вообще мало изученными вопросами в языкознании.

Что касается сравнительно-исторического синтаксиса, то здесь положение несколько иное.

Прежде всего следует указать, что формально сравнительно-исторический синтаксис содержится в ряде сравнительных грамматик индоевропейских языков: в компендиуме Бругмана—Дельбрюка синтаксис, написанный Дельбрюком, состоит из

[1] Ср. E. Benveniste. Problèmes Sémantiques de la reconstruction „Word", v. 10, № 2-3, p. 131—144).

трех томов; в специальные два тома выделен синтаксис и в „Индоевропейской грамматике“ Г. Хирта; „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков“ А. Мейе содержит специальную главу, посвященную структуре простого предложения и сочетанию предложений.

Характерно, что уже беглый обзор содержания соответствующих разделов в указанных работах свидетельствует о различии понимания предмета синтаксиса: немецкие компаративисты относят к синтаксису как учение о предложении, так и учение о значении отдельных словоизменительных форм — времен, видов, наклонений, залогов, падежей и т. д. По этому типу был построен и раздел синтаксиса в сравнительной грамматике славянских языков Фр. Миклошича. В работе Мейе глава о синтаксисе содержит самые общие замечания о простом предложении в индоевропейских языках и о „соединении“ предложений.

Однако, несмотря на различия в охвате языковых явлений, общим для всех этих разделов является фактическое отсутствие сравнительно-исторического анализа синтаксических категорий, даже в самом узком понимании этого анализа.

Ни один из названных авторов не дает последовательного сопоставления каких-либо синтаксических конструкций на материале различных групп индоевропейской семьи. Нигде не проводится систематического установления генетического тождества рассматриваемых синтаксических явлений; тем более, не дается обоснованной и проверенной реконструкции этих явлений. Мейе в своих рассуждениях об индоевропейском строе предложения, о порядке слов, о согласовании, о сочетании нескольких предложений довольно беспорядочно приводит отдельные древнеиндийские, греческие, латинские примеры. Например, отмечается наличие в индоевропейских языках именного предложения, указывается, что в таком предложении связка могла наличествовать и могла отсутствовать, приводятся примеры типа Aulus bonus est „Авл добр“ или mirum „удивительно“. Но подобные случайные замечания и сведения не имеют отношения к задачам сравнительно-исторических исследований, понимаемых даже так узко, как это было свойственно

самому Мейе. Еще более ясно отсутствие подлинного сравнительно-исторического анализа в области синтаксиса выступает в трудах Дельбрюка и Хирта.

Дельбрюк, рассматривая именное сказуемое[1], в качестве иллюстрации возможных его типов в языке-основе без оговорок приводит материал современного немецкого языка. Все рассуждения о древнейшем „доисторическом“ типе именного сказуемого, о связке и т. п. носят чисто умозрительный характер и не опираются на систематическое и дифференцированное сопоставление материала различных групп индоевропейской семьи. Попытки „восстановить“ древнейшее состояние именного сказуемого абсолютно ничем не подкрепляются. Такой метод исследования характерен для трактовки всех синтаксических категорий. Поэтому неудивительно, что по такому, например, вопросу, как соотношение личной и безличной конструкции при глаголах, обозначающих явления природы, типа лат. pluit, Дельбрюк дважды менял свою точку зрения.

Сравнительно-исторический анализ звуков и морфем был у компаративистов конца XIX века основан на строгой, продуманной методике (с нашей точки зрения, тоже далеко не всегда безупречной), а сравнительно-исторический анализ синтаксических явлений подменялся в лучшем случае случайным сопоставлением материалов различных родственных языков, в худшем — чисто умозрительными рассуждениями. Поэтому ни о какой выработанной методике сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса до сих пор говорить не приходится, — ее просто не существует.

Некоторые языковеды высказывают даже сомнение, возможна ли такая последовательная методика, иными словами — сомневаются в реальной возможности сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса. Действительно, то, что давали нам до настоящего времени сравнительные грамматики в разделах синтаксиса, нельзя считать сравнительно-историческими исследованиями.

---

[1] B. Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Dritter Teil. Strassburg, 1900, S. 10—12.

Задачи сравнительно-исторического изучения синтаксиса родственных языков в основном могут быть сформулированы следующим образом: 1) сопоставление структуры словосочетаний и предложений родственных языков; 2) установление общих структурных типов; 3) установление соотношения внутри одинаковых по значению конструкций (например, именное сказуемое со связкой и без связки, соотношение личного и безличного оформления предложений, соотношение обособленных оборотов и придаточного предложения) в целях выделения более древних структур; 4) выделение тех синтаксических конструкций, которые относятся к эпохе языка-основы, и попытки восстановить, реконструировать их древнейшую форму.

При решении этих задач возникает ряд трудностей, которые обусловлены самим характером синтаксического строя. Синтаксис любого языка далеко не так непроницаем, как словоизменительная система; особенно это относится к письменной форме общенародного языка: до настоящего времени не определена степень влияния греческого языка на такие древнеписьменные языки, как старославянский или готский, так как не всегда ясно, что вытекает из общности синтаксического строя этих языков и какие явления надо объяснять влиянием древней письменности одного родственного языка на письменные памятники других родственных языков. Вместе с тем неясна самая система научно-исследовательских приемов, обеспечивающих сравнительно-историческое изучение синтаксиса родственных языков. Несомненно, что эта система приемов должна отличаться от тех приемов, которые используются при сравнительно-историческом изучении фонетики или морфологии (см. § 8 гл. II). При общей неразработанности этих вопросов, однако, представляется необходимым в настоящее время прежде всего максимально развивать сравнительно-историческое изучение синтаксиса близкородственных языков (например, славянских), вырабатывая на материале этих языков новые исследовательские приемы. Сравнительно-исторические исследования, посвященные изучению синтаксиса всей индоевропейской семьи, представляют, конечно, особенно большие трудности.

В области сравнительно-исторической фонетики и морфологии марксистское языкознание должно критически освоить

весь накопленный в течение многих десятилетий материал, постоянно совершенствуя методику анализа. В области сравнительно-исторической лексикологии частично могут быть использованы данные прежних этимологических исследований, частично могут служить те же приемы анализа, та же методика, что и при изучении явлений морфологического строя. В области же сравнительно-исторического синтаксиса и сравнительно-исторической семасиологии нет ни ценного накопленного материала, ни выработанной методики. Здесь приходится начинать с самого начала.

Именно поэтому и в данной монографии мы не могли дать специальную главу о методике сравнительно-исторических исследований в области синтаксиса, ограничившись некоторыми замечаниями по этому вопросу во второй главе, а в области лексикологии ограничились общим очерком методики этимологических исследований.

Ближайшей задачей сравнительно-исторических исследований является разработка теоретических и методических основ сравнительно-исторического синтаксиса и сравнительно-исторической лексикологии.

§ 14. В марксистском языкознании направление и содержание сравнительно-исторических исследований определяются общей методологией диалектического материализма. Изучение родственных языков подчиняется основной задаче марксистского языкознания — познанию законов развития языка. Такая постановка вопроса означает не простое расширение проблематики сравнительного языкознания, она вносит новый смысл в изучение родственных языков.

Значение исследования родственных языков для изучения законов развития языка обусловлено прежде всего самой спецификой материала, создающего особенно благоприятные условия для постановки вопросов изучения исторического развития языков.

Например, сравнительный анализ фактов языков такой семьи, как индоевропейская, позволяет проследить развитие и судьбу общих элементов языковой структуры, древнейших элементов лексики и грамматического строя на протяжении

десятков веков в различных исторических условиях. Последнее определяется тем, что поразительная устойчивость структурных элементов родственных языков дает возможность сравнивать и связывать языки, отстоящие друг от друга более чем на три тысячи лет: ср., например, хеттский, греческий, древнеиндийский с современными русским, немецким, исландским языками и т. д.

Именно поэтому всестороннее изучение этих древних общих элементов помогает познавать закономерности развития определенной группы языков на значительном отрезке времени и тем самым служит познанию общих законов развития языка.

В противоположность тем языковедам, которые (как например Ф. де Соссюр) считают, что языковые процессы должны изучаться в себе и для себя, советские языковеды полагают, что многие стороны языкового развития, в частности, процессы образования групп языков и диалектов, их распадения, смешения и взаимодействия обусловлены развитием общества. Без учета этого многое в развитии языка не может быть правильно понято.

Связь языка с другими сферами человеческой деятельности приводит к тому, что язык непосредственно отражает те нужды, которые возникают в связи с изменениями в различных сферах деятельности человека. Это обусловлено основной общественной функцией языка — служить важнейшим средством общения, орудием, при помощи которого люди обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Но если условия развития языка, причины, вызывающие постоянное обогащение его словарного состава, совершенствование и улучшение его грамматического строя находятся вне языка, то формы и характер развития отдельного языка определяются структурой самого языка. Изучение диалектических соотношений и взаимосвязей между внутренними законами развития отдельного языка, определяемыми его структурой, и зависимостью развития языка от истории народа, говорящего на данном языке, позволяет раскрыть законы развития языка во всей их сложности и многообразии. Непонимание неразрывной связи этих двух сторон в развитии языка неизбежно ведет либо к вульгарному материализму (как у Н. Я. Марра и его последователей), либо

к имманентному рассмотрению языка в идеалистическом языкознании.

Для правильного разрешения этих важнейших вопросов сравнительное изучение развития родственных языков может дать весьма ценный материал. Оно позволяет проследить развитие и судьбу общих элементов структуры языка-основы на протяжении десятков веков в различных исторических условиях с учетом разнообразных факторов. Оно помогает выявить устойчивость одних элементов и характер изменчивости других, проследить пути образования новых структурных черт родственных языков, а тем самым установить и закономерности всего процесса.

Для постановки проблемы о закономерностях развития родственных языков особое значение приобретает тот факт, что группа или семья родственных языков объединяется исторической общностью структурных черт, представлявших собой относительно целостную систему при всем разнообразии отдельных языков, входящих в эту семью. Черты этой древней языковой структуры, являющейся основой развития рассматриваемых родственных языков, выступают значительно определеннее, когда мы имеем дело с более ограниченной группой языков, например с языками славянскими, германскими или романскими, чем если речь идет о структуре языка-основы индоевропейской семьи в целом. Однако и здесь, пусть менее отчетливо и даже иногда весьма дискуссионно, может быть путем отбора восстановлена та система, которая явилась основой развития языков этой семьи.

Естественно поэтому, что одним из вопросов, связанных с изучением закономерностей развития языков одной группы или семьи, является вопрос о том, каким образом наличие общей исконной структуры родственных языков отражалось на развертывании и совершенствовании элементов структуры отдельного языка данной группы или семьи.

Вместе с тем, как бы далеко мы ни углублялись в прошлое индоевропейских языков, мы во многих случаях не находим абсолютного тождества ни лексического фонда, ни грамматического строя. Язык-основа предстает только как совокупность близкородственных, но не тождественных племенных

диалектов. Конечно, самый факт их близкого родства говорит о вероятности какого-то единства в более отдаленном прошлом, но эта эпоха, повидимому, навсегда останется за пределами возможности полной реконструкции.

Хотя между этими древними диалектными расхождениями и процессом последующего обособления отдельных групп и нет прямой связи, однако, очевидно, эти древние различия увеличивались в связи с постепенным распадом прежней исторической общности, образованием союзов племен и, позже, народностей; все это обусловило специфику развертывания и совершенствования каждого из родственных языков.

Каждый из родственных языков имеет свою неповторимую структуру: общие элементы в фонетике, грамматике и лексике сохраняются в нем в индивидуально оформленной системе. Поэтому возникает вопрос о закономерностях взаимодействия общих тенденций развития языков данной семьи или группы и специфических особенностей развития отдельного родственного языка.

Вопрос этот, включающий и ряд других, более частных, не только исключительно интересен для исследования закономерностей развития родственных языков, но имеет и немаловажное значение для изучения общих законов развития языка.

Сравнительно-историческое изучение родственных языков должно таким образом: 1) раскрыть закономерности развития общих категорий родственных языков, начиная от языка-основы; 2) выявить общие тенденции этого развития; 3) установить характер влияния исконной структуры языка-основы на дальнейшее развитие родственных языков; 4) выяснить условия, определяющие устойчивость одних элементов и подвижность других; 5) установить причины, вызывающие неравномерность изменений в различных даже близкородственных языках; 6) показать сложность отношения древнейших элементов общей языковой структуры и конкретно-исторической специфики каждого отдельного языка, обусловленной его историей.

§ 15. Основной задачей сравнительно-исторических исследований должно быть всестороннее изучение закономерностей развития родственных языков. Решение этой общей задачи

включает, как указывалось выше, целый комплекс весьма важных и сложных проблем.

Прежде всего для этого необходимо восстановить исходную структуру языка-основы, которая рассматривается как отправная точка развития отдельных языков. Только, опираясь на факты, характеризующие эту древнюю структуру, можно делать выводы о ее влиянии на развитие родственных языков, о формах ее изменения в отдельных родственных языках, о характере устойчивости этой древней структуры в различных языках, о своеобразии развития различных родственных языков и о причинах этого своеобразия.

Поэтому решение всех тех вопросов, которые связаны с реконструкцией фактов языка-основы, имеет первостепенное значение для сравнительно-исторических исследований.

Вместе с тем, однако, самый язык-основа представляет собой историческое явление, менявшееся с течением времени. Те общие языковые явления, которые были еще продуктивны в древнейших письменных памятниках индоевропейских языков, например реконструируемые падежные формативы в системе склонения, личные показатели в системе спряжения, в преобладающем своем большинстве характеризовали язык-основу накануне выделения и обособления отдельных языковых групп. Однако надо учитывать, что, например, система индоевропейского вокализма, и в частности закономерности чередования гласных, так ясно выступающие в словоизменении и словообразовании огромного большинства индоевропейских языков, для истории языка-основы были, в свою очередь, относительно поздним явлением. Здесь имеются в виду образование временны́х основ: в греч. λείπω „оставляю“, ἔλιπον „оставил“ (аорист), λέλοιπα (перфект); др.-нем. stīgan „подыматься“, steig „он поднялся“, stigum „мы поднялись“ и склонение имен: греч. πατήρ „отец“, πατρί „отцу“, πατέρα (вин. пад.) „отца“; готск. sunus „сын“, sunaus (род. пад.) „сына“, sunau „сыну“ и т. д. (подробнее см. § 11 гл. V); ср. также в словообразовании: латинск. tego — toga, русск. *везти* — *воз*; нем. binden „связывать“ — Bund „союз“ и т. д. Следовательно, восстановление характерных особенностей вокализма индоевропейских языков не может останавливаться,

например, на реконструкции типичной системы чередования гласных, но должно идти в глубь истории.

В области словоизменения дифференциация склонения имен по основообразующим суффиксам, засвидетельствованная всеми древними индоевропейскими языками (хеттским, древнеиндийским, греческим, латынью, старославянским, готским и т. д.), несомненно была свойственна грамматическому строю языка-основы в эпоху, предшествующую обособлению отдельных языковых групп.

Однако этот тип склонения имен, хотя он и образовал стержень именного склонения во всех индоевропейских языках, не мог быть исконным для языков этой семьи, но сложился в результате длительного развития. На это указывает наличие так называемых „корневых основ“ в ряде древних индоевропейских языков. Малочисленность этой группы имен подчеркивает ее архаичный, пережиточный характер. На вторичность старого типа склонения с дифференциацией по основообразующим суффиксам указывают и остатки так называемого „гетероклитического склонения“ (см. гл. V).

Следовательно, и при восстановлении словоизменительной системы языка-основы нельзя ограничиваться реконструкцией древнейших закономерностей склонения с дифференциацией по основообразующим суффиксам, но следует идти дальше, восстанавливая историю оформления этого типа склонения, вскрывая те противоречия, которые возникали здесь в связи с сосуществованием явлений, относящихся к различным периодам истории языка-основы. Изыскания последних десятилетий в области истории структуры индоевропейского корня (см. гл. IV) свидетельствуют о значительных изменениях языкового строя, происходивших еще до выделения и обособления отдельных языковых групп и языков.

Поэтому реконструкция языка-основы должна стремиться раскрыть также и закономерности его развития.

Необходимо особо отметить огромные трудности, которые связаны даже с частичной реализацией этой задачи.

Уже восстановление структуры языка-основы накануне распада первоначальной языковой общности представляет немалые трудности. Практически мы восстанавливаем, конечно,

не реальную систему языка, функционировавшего в ту эпоху как средство общения, а лишь основные структурные особенности этого языка.

К тому же сравнительно-исторические исследования ничего не дали пока в отношении такой существенной стороны структуры языка, как синтаксис. Неясны и методы реконструкции синтаксического строя. Естественно, что трудности эти значительно усугубляются, когда мы пытаемся от статического описания некоторых структурных особенностей языка-основы перейти к его истории. Именно здесь раскрывается простор для различных гипотез.

Однако, несмотря на все эти трудности, реконструкция индоевропейского языка-основы как исторически сложившейся и развивающейся структуры, выделение в этом процессе более древних и более поздних явлений, раскрытие противоречий между новыми тенденциями и старыми элементами языковой структуры являются важнейшими задачами сравнительно-исторических исследований. Эти проблемы определяют и ту совокупность методических приемов, которые связаны с реконструкцией „исконных“ форм. Они требуют дальнейшего совершенствования приемов исследования (см. гл. II и IV).

Вместе с тем необходимо учитывать и сложность и длительность процесса обособления отдельных языковых групп, возможность более поздних вторичных схождений. С этим связано то обстоятельство, что некоторые языковые факты оказываются общими не для всех языков индоевропейской семьи, а только для некоторых групп. Так, например, богатая видо-временнáя и залоговая система глагола, характерная для греческого и индо-иранских языков, сложилась, повидимому, уже после их обособления от языка-основы, когда предки этих языков входили в течение долгого времени в состав одной и той же диалектной группы. Это подтверждается, в частности, структурой глагола такого древнего языка, как хеттский (хотя и здесь имелся ряд новообразований). В сравнительно-исторических исследованиях XIX и начала XX века часто ошибочно утверждалось, что все глагольные формы, характерные для греческого и древнеиндийского языков, восходят к эпохе индоевропейской общности; отсутствие же

этих форм в других индоевропейских языках рассматривалось как результат потери праязыкового наследства. Только более углубленные сравнительно-исторические исследования и привлечение материала ранее не известных языков — хеттского, лувийского, тохарского показали ошибочность этой точки зрения, обусловленной неправомерной переоценкой значения данных древнеиндийского и греческого языков, типичной, в частности, для работ представителей младограмматической школы.

Подобного рода факты далеко не единичны. Повидимому, и система падежей, обычно реконструируемая для языка-основы, включает некоторые формы (особенно в косвенных падежах мн. ч.), характеризовавшие лишь часть индоевропейских языков.

Наконец, целый комплекс сложных вопросов связан также со сравнительно-историческим изучением истории родственных языков, начиная от эпохи индоевропейского языка-основы. Объектом этого сравнительно-исторического изучения являются не только изменения, происходящие в тех языковых элементах, которые унаследованы от эпохи первоначальной языковой общности (как, например, судьба смычных придыхательных в разных группах и языках, судьба индоевропейских дифтонгов, изменения в старых типах склонения, изменения в древнейших синтаксических конструкциях, изменения, происходящие в определенных группах лексического состава и т. д.). Необходимо изучать также становление и развитие новых элементов, предпосылки образования которых могут восходить еще к эпохе первоначальной общности (например, становление и развитие новой видо-временно́й системы, новых словообразовательных типов и т. д.). В развитии языка изменение старых категорий и становление новых элементов языкового строя тесно взаимодействуют, образуя единый процесс.

Исследование вопросов, связанных с реконструкцией индоевропейского языка-основы, и сравнительно-историческое изучение развития родственных языков образуют базу для установления закономерностей развития индоевропейской семьи языков. Решение последней задачи определяет направление и составляет конечную цель сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков.

Глава II

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СИСТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРИЕМОВ ИЗУЧЕНИЯ РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

§ 1. Изложенные в первой главе задачи изучения родственных языков определяют систему исследовательских приемов, при помощи которых должны решаться эти задачи.

Известно, что изучение языкового родства осуществляется при помощи сравнительно-исторического метода. Однако сравнительно-исторический метод, несмотря на свои несомненные преимущества перед так называемым палеонтологическим методом Н. Я. Марра, имеет и некоторые недостатки. За последние годы в наших журналах был опубликован ряд статей, представляющих собою попытки выявления этих недостатков[1]. В указанных статьях намечались и пути усовершенствования сравнительно-исторического метода, а также высказывались соображения о его месте в системе марксистского языкознания.

---

[1] См. Б. А. Серебренников. О недостатках сравнительно-исторического метода в языкозианин. Известия АН СССР, ОЛЯ, 1950, вып. 3, стр. 177—185; А. И. Смириицкий. К вопросу о сравиительно-историческом методе в языкознаиии. „Вопросы языкознанця“, 1952, № 4, стр. 3—19; Б. В. Горнунг. О границах применения сравиительно-исторического метода в языкознании. Там же, стр. 20—38; И. М. Троиский. К вопросу о сравиительно-историческом методе в языкознаиии. „Уч. зап. ЛГУ, серия филол. иаук“, 1952, вып. 15, стр. 5—27.

С другой стороны, о недостатках сравнительно-исторического метода за последнее время много писали зарубежные языковеды, причем обычно критика велась в несколько ином направлении, чем у нас[1].

При анализе недостатков сравнительно-исторического метода надо четко отграничивать недостатки, присущие самому методу, от тех трудностей, которые возникают в связи со сложностью задач, стоящих перед сравнительно-историческими исследованиями, и характером тех материалов, которыми располагает языковед. Прежде всего для этого необходимо уточнение самого понятия сравнительно-исторического метода.

Некоторые языковеды сводят сравнительно-исторический метод только к приемам реконструкции. Так, например, А. И. Смирницкий дает следующее его определение: „Сравнительно-исторический метод в языкознании в специальном смысле этого термина есть научный прием восстановления (реконструкции) не зафиксированных письменностью прошлых языковых фактов путем планомерного сравнения соответствующих более поздних фактов двух или нескольких конкретных языков"[2]. При этом А. И. Смирницкий указывает, что, помимо сравнительно-исторического метода,сравнительно-историческое изучение родственных языков использует и другие приемы, но они не относятся к данному методу.

Таким образом, А. И. Смирницкий отождествляет понятия сравнительно-исторического метода и приема реконструкции, осуществляемого на основе сравнения фактов родственных языков. Этим он суживает задачи сравнительно-исторического метода, поскольку, как это видно из дальнейших рассуждений автора, задача сравнительно-исторического метода фактически сводится лишь к реконструкции фактов языка-основы, восходя-

[1] См., например, статью Ж. Вандриеса в „Bulletin de la Societée linguistique de Paris" за 1948 г., частично повторяющую его высказывания в известной работе „Язык. Лингвистическое введение в историю". Русский перевод, 1937, глава „Родство языков и сравнительный метод", где Вандриес весьма скептически относится к изучению языкового родства и к применению сравнительно-исторического метода. Критику взглядов Ж. Вандриеса см. в указанной выше статье Б. В. Горнунга, стр. 28—33.

[2] А. И. Смирницкий. Указ. статья, стр. 14. Ср. его же: Сравнительно-исторический метод и определение родства. 1955, стр. 11.

щих к эпохе, предшествующей его дроблению; восстановление истории самого языка-основы, равно как изучение процессов изменения восстановленных фактов, не входят в задачу данного метода, а решаются при помощи других методов[1]. В частности, наряду со сравнительно-историческим методом автор называет метод „фономорфологического анализа“, который в его понимании сближается с приемом так называемой внутренней реконструкции (о внутренней реконструкции см. §§ 7, 8, 9). Естественно, что при таком понимании сравнительно-исторического метода вопрос о его недостатках и путях его совершенствования остается в пределах большей или меньшей последовательности самой реконструкции.

И. М. Тронский определяет сравнительно-исторический метод как метод сопоставления языков, „имеющих общие черты, с целью установления между ними исторических связей“. Подобное определение несколько расплывчато, поскольку и понятие „общие черты“ и понятие „исторические связи“ лишены необходимой конкретности.

Наконец, Б. В. Горнунг[2] определяет сравнительно-исторический метод как метод вспомогательный, подчеркивая при этом, что в него входят различные, до некоторой степени самостоятельные группы исследовательских приемов, в том числе и техника исследования. Однако Б. В. Горнунг не излагает в своей статье всей системы приемов, которые входят, по его мнению, в понятие сравнительно-исторического метода[3]. Между тем очевидно, что и критика недостатков сравнительно-исторического метода, и предложения, направленные к его усовершенствованию, должны быть обусловлены самим пониманием сравнительно-исторического метода,

---

[1] См. А. И. Смирницкнй. К вопросу о сравнительио-историческом методе в языкознании, стр. 14 и 18.

[2] Б. В. Горнунг. О границах примененяя сравнительио-исторического метода. „Вопросы языкознания“, 1952, № 4, стр. 21—22.

[3] Деление иа две группы приемов (стр. 23), из которых одна группа указывает „иа пути нахождения фактов“, а другая устанавливает „принципы систематизации фактов для их исторического осмыслеиии“, иельзи считать вполие ясиым, тем более, что автор не коикретизирует этого делеиия на материале изыкового анализа.

его места в языкознании и тех задач, которые исследователи пытаются решить путем его применения.

В зарубежном языкознании за последние десять лет появился ряд статей, имеющих своей целью уточнение вопроса о методе, применяемом в исторических и сравнительно-исторических исследованиях[1]. Бонфанте, в частности, в своих заметках по вопросу о методе[2] приходит к выводу, что существует не один сравнительный метод, а десять методов[3], используемых в сравнительно-исторических исследованиях; в числе этих методов он называет метод лингвистической географии, метод внутренней реконструкции, метод аномальных форм, метод обычных фонемных изменений, метод лингвистической палеонтологии и т. д. Не трудно заметить, что у Бонфанте понятие метода включает как различные приемы исследования (метод внутренней реконструкции, метод лингвистической географии), так и технику отбора материала (метод аномальных форм, т. е. использование пережиточных форм для установления закономерностей развития индоевропейских категорий).

§ 2. Правильное определение места сравнительно-исторического метода в языкознании и вместе с тем правильная оценка его роли и значения требуют проведения четкого различия между философским методом, общим для всех областей знания, и теми приемами исследования, которые используются в различных областях науки[4].

Применение марксистского диалектического метода составляет сущность принципиального подхода к изучению всех явлений природы и общества.

---

[1] G. Bonfante. On Reconstruction and Linguistic Method. „Word", 1954, т. 1, № 1, стр. 33 и сл.; т. 1, № 2, стр. 132 и след.; его же: Additional Notes on Reconstruction. „Word", 1946, т. 1, № 2, стр. 155 и след.; C. Hj. Borgström. Internal Reconstruction of Pre-Indo-European Word-Forms. „Word", 1954, v. 10, № 2—3, стр. 275 и след.

[2] См. статьи, названные выше.

[3] „Word", 1945, v. 1, № 2, p. 144.

[4] На необходимость проведения такого различия указал Б. А. Серебренников в статье „О недостатках сравнительно-исторического метода в языкознании" (см. выше).

Вместе с тем в изучении различных явлений природы и общества, составляющих предмет отдельных наук, используются весьма различные исследовательские приемы.

Система исследовательских приемов в значительной степени зависит от специфики изучаемого явления.

Однако неверно было бы думать, что система исследовательских приемов вовсе не зависит от общей методологии, от философского мировоззрения. Эта система обусловлена не только спецификой изучаемой области знания, но и философским методом познания и мировоззрением исследователя. Метод познания определяет целевую установку исследования, а система исследовательских приемов в значительной степени обусловлена этой целевой установкой.

Необходимо подчеркнуть, что в различных областях языкознания, в зависимости от конкретных задач исследования, могут использоваться различные научно-исследовательские приемы. Так, например, при изучении фонетической системы какого-либо языка или диалекта часто используются данные экспериментальной фонетики. Как известно, экспериментальная фонетика применяет сложную аппаратуру для звукозаписей и звукоанализа, которая позволяет устанавливать с большой точностью качество и количество звука, интонационный рисунок речи и т. д. Экспериментальное изучение фонетической системы основывается на целом комплексе исследовательских приемов, связанных с постановкой звукозаписей, созданием и расшифровкой системы различных кривых и т. д.

Собирание материалов бесписьменных языков и диалектов, так называемая „полевая работа", основывается, в свою очередь, на целой системе приемов, начиная с опроса так называемых „объектов" и кончая обработкой собранных материалов. При составлении диалектологических атласов, опирающемся на результаты этой „полевой работы", используется наряду с этим прием картографирования. Очевидно, что система исследовательских приемов, используемая при изучении языка писателя, будет иной, чем во время „полевой работы" или при составлении диалектологического атласа, и совершенно иной, чем в экспериментальной фонетике.

Система исследовательских приемов включает как чисто технические элементы (приемы собирания материала), так и более сложные приемы, обеспечивающие обработку материала и теоретические выводы. Подобной системой исследовательских приемов, используемой в определенной области языкознания, является и сравнительно-исторический метод.

Несмотря на различие исследовательских приемов, используемых в различных областях языкознания в связи со спецификой объекта и конкретными целями исследования, методология советского языкознания едина, поскольку основу ее составляет единый философский метод. Этим определяется общее направление языковедческих исследований во всех областях, общая целевая установка материалистического языкознания.

§ 3. Сравнительно-исторический метод определяется нами как система научно-исследовательских приемов, используемых при изучении родственных языков для восстановления картины исторического прошлого этих языков в целях раскрытия закономерностей их развития, начиная от языка-основы. Тем самым устанавливается граница применения этого метода.

Целевая установка сравнительно-исторического изучения родственных языков в марксистском языкознании, как уже отмечалось в первой главе, иная, чем в идеалистическом языкознании. Естественно возникает вопрос, чем должна отличаться система исследовательских приемов, используемых для решения основной задачи сравнительно-исторических исследований, от традиционного сравнительно-исторического метода, в каком направлении должно идти преодоление недостатков сравнительно-исторического метода и его дальнейшее совершенствование?

Как уже отмечалось в первой главе, основной задачей большинства сравнительно-исторических исследований было восстановление исходных „праязыковых“ форм (см. гл. I). Именно поэтому сравнительно-исторический метод сводился к следующим приемам: 1) сравнение звуков, корней, сло-

воизменительных или словообразовательных показателей на основании сопоставления значащих языковых единиц родственных языков; 2) гипотетическое допущение генетического тождества сравниваемых элементов; 3) проверка этого допущения путем установления закономерных соответствий между сопоставляемыми элементами; 4) установление приблизительных хронологических соотношений между сопоставляемыми явлениями; 5) реконструкция исконной формы с учетом: а) фонетических закономерностей, установленных в развитии отдельных языков, б) возможности действия аналогии, повлиявшей на потерю отдельными языками соответствующих праязыковых форм.

Так, например, сопоставление латинского hostis, древнерусского *гость*, готского gasts, благодаря сходству их значения и известному подобию их звучания, вызывало предположение об их генетической общности; однако это предположение смогло превратиться в уверенность лишь тогда, когда были объяснены как закономерные соответствия все расхождения в составе этих звучаний: так, надо было объяснить, отчего латинскому *h* соответствуют др.-русское *г* и готск. *g*; почему латинскому о соответствует о в русском, но *a* в готском; почему в латинском после *t* следует *i*, в др.-русском редуцированный гласный, а в готском никакого гласного нет; почему, наконец, в латинском и готском в конце слова имеется *s*, а в древнерусском слове его нет. Иными словами, установление генетического тождества всей данной формы слова требовало установления генетического тождества составных его элементов как отдельных звуков, так и морфем. Сопоставляя, например, лат. корень *host-*, др.-русск. *гост-*, готск. *gast*, необходимо было выяснить закономерность соответствий *h* в латыни и *г*, *g* в древнерусском и готском (на основе постоянства этих соответствий в указанных языках), что ставило на очередь и вопрос о характере исконного звука. Если бы у нас был материал только указанных трех языков и только соответствие *h*, *г*, *g*, то вопрос о характере исконного звука был бы очень затруднен; но нам известно также, что в тех случаях, когда в славянских и германских языках имелись смычные звонкие, а в латыни глухие спиранты, в древне-

индийском обычно наблюдался смычной с придыханием (*gh*, *dh*, *bh*). Этот тип смычного до последних десятилетий рассматривался как исконный в данном ряду сопоставлений[1]. Поэтому в качестве исконной формы предположительно реконструировался для интересующего нас корня начальный согласный **gh*. Соотношение лат. o, др.-русск. *о*, готск. *a*, в свою очередь, является типичным для сопоставляемых языков (ср. еще лат. nox, noctis, русск. *ночь*, готск. nahts и т. д.), причем более древним здесь является звук *о*, который в германских языках совпал с кратким *a*[2]. Таким образом, реконструируемый индоевропейский корень имел вид — **ghost-*.

Итак, реконструкция данной формы складывается из: 1) сопоставления однозначных лексических единиц, 2) установления закономерных соответствий между их элементами, 3) установления хронологических соотношений между этими элементами (что является первичным и что вторичным), 4) восстановления исходной формы. Вместе с тем установление хронологических соотношений между сравниваемыми формами представляет нередко большие трудности и требует использования ряда вспомогательных приемов. В конце XIX и начале XX века все еще преобладало убеждение в том, что факты древнеиндийского и греческого языков преимущественно отражают более древнее состояние, чем, например, славянские и балтийские языки, а тем более латынь и германские языки. Поэтому в ряду сопоставляемых форм древнеиндийские и греческие материалы обычно рассматривались как хронологически первичные. В последние десятилетия в связи с открытием новых языков, стало ясным, что многие явления фонетического и морфологического строя греческого и древнеиндийского языков являются новообразованиями. Вследствие этого вопрос о хронологическом соотношении сопоставляемых фактов стал еще более сложным. Одним из примеров, возникающих в этой связи трудностей может служить вопрос о соотношении древнеиндийских звонких смычных с придыханием и тех же смычных без придыхания в балтийских, славянских, германских и

---

[1] См. трактовку этого вопроса в главе III, стр. 106.

[2] См. материал, приведенный в гл. I, стр. 25.

других языках. Возникающие по этому вопросу расхождения обусловили и разные гипотезы о составе консонантизма индоевропейского языка-основы (см. гл. III). Неменьшие трудности возникают и при установлении хронологических соотношений некоторых морфологических категорий. Вместе с тем имеются и простейшие случаи, где хронологическое соотношение сопоставляемых форм не вызывает сомнений, так как вся морфологическая и фонетическая система родственных языков служит основанием для определенных выводов. Так, например, продолжая сопоставление некорневых морфем приведенных выше слов, мы устанавливаем на основе сопоставления с греческим, древнеиндийским и т. д., что латинская форма hostis является более древней и близкой к структуре языка-основы, причем *-i* определяется как основообразующий суффикс, а *-s* как показатель падежа. В пользу такого предположения говорит наличие во всех индоевропейских языках фактов, связанных с существованием трехморфемной структуры падежных форм (корень + основообразующий суффикс + падежный показатель), а также история данной конкретной падежной формы в сопоставляемых языках: в древнерусском *гость* *-ь* развился из безударного *-i*, в готском *-i* краткое выпадало перед *s* (древнерунические надписи сохраняют это *i* в форме gastiR); показатель падежа *-s* сохранился в готском, что же касается славянских языков, то конечные согласные здесь исчезли еще в общеславянскую эпоху. Следовательно, соответствия лат. *-is*, готск. *-s* и др.-русск. *-ь* являются закономерными, отражая специфику развития этих языков. Реконструкция полной формы именительного падежа данного слова *ghostis.

Весьма нагляден пример традиционного применения сравнительно-исторического метода дает также реконструкция архетипа такого слова, как таджикское *гарм* „теплый". Сравнение таджикского слова *гарм* с армянским dzérm „теплый" говорит о том, что в древности на месте современного таджикского *a* был, очевидно, звук *e*; в противном случае в соответствующем армянском слове древнее *g* не могло бы превратиться в аффрикату *дж*. Таким образом устанавливается более древний облик таджикского прилагательного *germ.

Привлечение древнеиндийского соответственного прилагательного ĝharmaḥ (корень *gharm-*) еще более проясняет картину. Древнеиндийское ĝharmaḥ свидетельствует, во-первых, о том, что древнее *g* было не простым, а придыхательным. Слово оканчивалось на *ḥ*, которому предшествовал какой-то гласный. Для уточнения картины привлекается древнегреческое слово θερμός (корень *θερμ-*) с тем же значением. Привлечение греческого слова помогает установить, что конечным согласным было первоначально не *ḥ*, а *s* (показатель падежа), а древнеиндийский гласный *a* в корне этого слова развился из *e*, в отличие от *a* второго слога, восходящего к о.

Греческое θ (*th*), представляющее результат видоизменения древнего *g* перед *e* в *th*, еще раз подтверждает предположение, что это *g* было не простым, а придыхательным, иначе невозможно объяснить придыхательность *t*.

Таким образом, становится вероятным предположение, что таджикское *гарм* „теплый" развилось из более древнего архетипа *g^{u}hermos. Сопоставление с немецким warm „теплый" и латинским formus „теплый", „горячий", указывает, что начальный звук этого слова в языке-основе был лабиализованным, что создавало предпосылки для развития губного звука. Лабиализация, усилившись в отдельных языках, привела к образованию губных спирантов *w* и *f*. Вместе с тем известны такие случаи, когда индоевропейскому **gh* в древнегреческом соответствует глухой придыхательный *kh*, а в некоторых других индоевропейских языках спирант *z* или *ž*. Сравним, например, χειμών „буря", этимологически родственное русскому *зима*, литовскому *žiema*, таджикскому *зимистон*. Если древнее **gh* индоевропейского языка-основы могло в таджикском переходить в *z* в слове *зимистон*, то почему *gh* архетипа *ghermos не превратилось в таджикском в *z*? Почему „теплый" звучит как *гарм*, а не *зарм?* Это, конечно, также не случайно. Очевидно **gh*, к которому восходит таджикское *г* в слове *гарм*, отличалось от **gh*, к которому восходило *z* в слове *зимистон*. Повидимому, было два типа древних **gh* — одно задненебное, а другое средненебное. Средненебное превратилось в некоторых языках в спирант, а задненебное здесь сохранялось, хотя и могло терять при-

дыхание. Окончательно можно установить, что *г* в таджикском слове *гарм* исторически восходит к придыхательному, лабиализованному и задненебному **ghw*. Таким образом, путем сравнения таджикского слова *гарм* „теплый“ с соответствующими по значению словами родственных индоевропейских языков выясняется, что таджикское *гарм* развилось из древнего *gћwermos. Исторический ход развития этого архетипа представить не трудно. Сначала **gh*, утрачивая все свои дополнительные характеристики, превращалось в *g* простое. Гласные *e* и *o* превращались в *a*, происходило постепенное усечение конца слова, звук *s* превращался в *h*, которое отпадало, затем отпадало конечное *a* и в результате получилась форма *гарм*. Архетип *gћʷermos, по всей видимости, существовал в языке-основе, из которого впоследствии возникли все индоевропейские языки.

§ 4. В тех случаях, когда сопоставляемые формы не могли быть сведены к архетипу, привлекались гипотезы о действии аналогии (см. гл. III и V) и об утере теми или иными языками форм, унаследованных от праязыка.

Названные выше приемы составляют известную систему. Вместе с тем очевидно, что порядок их применения, их реализация в каждом случае зависели от того, анализировались ли формы языков, родство которых уже установлено и фонетические закономерности которых уже известны, или же приемы эти использовались для доказательства принадлежности какого-либо языка к индоевропейской семье, как это было с хеттским языком, где нужно еще было установить фонетические закономерности, которые позволили бы, например, говорить о генетическом тождестве хеттского показателя 3-го лица ед. числа наст. времени *-zi*, с одной стороны, и др.-инд. *-ti*, лат. *-t*, др.-русского *-ть*, с другой.

Как известно, Ф. Бопп в своей первой работе, посвященной спряжению индоевропейских языков, выделил и сопоставил показатели спряжения пяти древних индоевропейских языков. Их очевидное сходство привело к предположению, что как сами эти показатели, так и языки, в которых они существовали, восходят к одному источнику. Это была гениальная

гипотеза. Однако она перестала быть гипотезой и превратилась в доказанное положение лишь тогда, когда были установлены закономерные соответствия звуков, входящих в состав сопоставляемых грамматических форм. Пока не было показано на большом материале, что, например, древнеиндийскому показателю 3-го лица множественного числа *-nti* соответствует в латинском языке *-nt* (без конечного *-i*), а в готском *-nd*, до тех пор утверждение их генетического тождества основывалось лишь на внешнем сходстве. Чтобы доказать это генетическое тождество, необходимо было установить, во-первых, что в латинском языке отсутствие конечного гласного в данной форме было не случайным, а закономерным явлением, т. е. что во всех случаях, когда в какой-либо древнеиндийской форме имелся краткий гласный, стоящий в абсолютном конце слова, в латинском гласный отсутствовал. А доказать это было возможно лишь в результате сопоставления различных словоизменительных древнеиндийских и латинских форм: например, древнеиндийского показателя 2-го лица ед. числа *-si* и соответствующего латинского показателя *-s*; древнеиндийского показателя 3-го лица ед. числа *-ti* и латинского показателя 3-го лица *-t* и т. д. Если подобное соотношение повторялось во всех аналогичных случаях, это означало, что имеется закономерное соответствие между древнеиндийской и латинской формой. Изучение соотношения конечных слогов в различных индоевропейских языках показало, что краткие гласные отпали еще в дописьменную эпоху. Так была установлена закономерность соответствий между древнеиндийской и латинской формами. Во-вторых, аналогичная цепь доказательств должна была показать и закономерность соответствий между древнеиндийской и готской формами. В-третьих, доказательство закономерности соответствий подтверждало генетическое тождество сопоставляемых форм. Лишь после этого можно было поставить вопрос о характере архетипа этих форм.

Итак, одно лишь сопоставление грамматических фактов не может дать окончательного ответа на вопрос о родстве языков. Лишь установление фонетических соответствий и закономерностей доводит решение вопроса до конца, опреде-

ляя генетическое тождество сопоставляемых единиц, будь то словоизменительный показатель или корневая морфема. Ф. Бопп не дал образцов подобного анализа, позволявшего доказать генетическое тождество сопоставляемых единиц. Методика таких сопоставлений и доказательств была разработана позднее в трудах А. Потта и особенно в трудах представителей младограмматической школы и стала неотъемлемой частью сравнительно-исторических исследований последующего периода.

Как видно из приведенного выше примера, сам *прием реконструкции представляет собой в действительности совокупность исследовательских приемов*. Эти исследовательские приемы сами по себе не могут вызывать возражений; как мы увидим дальше, они входят и в ту систему исследовательских приемов, которые мы считаем необходимым включать в сравнительно-исторический метод.

Возражение вызывает характер их применения и ограниченность самой системы приемов.

§ 5. Прежде чем говорить о недостатках сравнительно-исторического метода, а следовательно, о путях его совершенствования, необходимо исключить все то, что связано не с самим методом, а с характером используемого материала или с неизученностью ряда проблем в смежных областях.

Так, например, то обстоятельство, что язык-основу — даже эпохи, непосредственно предшествовавшей обособлению отдельных языков, — невозможно восстановить как живую систему во всем ее многообразии, обусловлено прежде всего не методом, а относительной ограниченностью доступных для нас материалов. Многие древние индоевропейские языки вообще нам неизвестны; о некоторых индоевропейских языках, например, об иллирийских, фракийских или фригийском, имеются только косвенные сведения; на остальных древних языках, например, на древнеиндийском или греческом, до нас дошли лишь относительно поздние и к тому же очень специфические в отношении жанра и стиля материалы. Эти факты крайне ограничивают возможности сравнительно-исторических исследований.

Показательно, например, какие изменения в праязыковые схемы внесло открытие хеттских материалов, т. е. привлечение для реконструкции исконных элементов индоевропейских языков неизвестных ранее источников. В свете этих материалов значительно снизилась роль греко-индо-иранских форм при реконструкции индоевропейского языка-основы. Не приходится сомневаться, что с новыми расшифровками неизвестных нам языков, которые обогатят источники сведений о древних индоевропейских языках, все полнее будут становиться наши представления об эпохе индоевропейской языковой общности. И все же попытка Шлейхера написать басню на праязыке, т. е. попытка представить реконструируемый язык-основу как живое средство общения, и в таких условиях была бы обречена на провал, так как никакое усовершенствование методики никогда не даст нам возможности с абсолютной точностью установить хронологическое и территориальное соотношение всех процессов.

Чем древнее эпоха, к которой относится реконструируемая система языка-основы, и чем отдаленнее родство изучаемых языков и диалектов, тем большее количество явлений может совсем выпасть из сравнительно-исторического изучения вследствие их полной утраты в сохранившихся родственных языках или вследствие возможного их отсутствия в некоторых из этих языков; наконец, тем больше в них может быть элементов, не возводимых к единому источнику. Иными словами, чем древнее эпоха, к которой относится восстанавливаемая система языка-основы, и чем отдаленнее родство изучаемых языков, тем в большей степени реконструкция языка-основы в целом лишается черт исторически конкретной языковой системы, хотя реконструкции отдельных явлений могут быть реальны и достоверны. Именно поэтому по-разному соотносятся с конкретной историей языков восстанавливаемые языки-основы разных эпох, находящиеся в разных генетических отношениях друг к другу, например, восточно-славянское языковое единство, общеславянское единство, общеиндоевропейское единство. Насколько неполной остается даже картина реконструкции языка-основы группы близкородственных языков, показывает пример изучения романских языков.

Если бы памятники латинского языка не дошли до нас, то реконструкция романского языка-основы, полученная путем сравнительно-исторического анализа самих романских языков, не могла бы дать многих словоизменительных форм, которые были утрачены всеми романскими языками ко времени их первой письменной фиксации, но существовали в народной латыни.

Полнота наших знаний о закономерностях развития родственных языков, об эпохе языковой общности, о тех расхождениях и схождениях, которые происходили в истории индоевропейской семьи и которые мы косвенно можем восстановить при помощи сравнительно-исторического метода, в значительной степени зависит от результатов исследований в смежных областях. Одного применения сравнительно-исторического метода, использования только языковых материалов недостаточно для познания языкового прошлого во всей конкретности имевших здесь место исторических процессов. Последнее возможно лишь при изучении языка в органической связи с историей народа.

Для изучения древних эпох истории индоевропейской семьи важное значение имеют археологические данные. Сами по себе они не обеспечивают реконструкции, но уточняют условия существования исследуемых языков в древние эпохи. Так, например, для вопросов, связанных с изучением славянской языковой общности и обособления ее отдельных групп, огромное значение имели работы советских, польских и чешских археологов. В отношении других групп индоевропейских языков дело обстоит гораздо хуже: так, например, археологические материалы, связанные с древнейшей историей германцев, нередко фальсифицировались (в прошлом), а что касается эпохи индоевропейской общности, то нерешенным остается еще и вопрос о том, с какой группой археологических „культур“ можно связывать эту общность.

Указанные факты мы не можем относить к недостаткам метода, так как они лежат вне его пределов.

§ 6. Недостатки в характере использования известных научно-исследовательских приемов, объединенных понятием

сравнительно-исторического метода, относятся, в первую очередь, к реконструкции. Именно здесь наиболее уязвимая сторона сравнительно-исторических исследований.

Конечно, следует заметить, что вообще достоверность реконструкции частично зависит от причин объективного порядка; характер материала, его полнота и т. д. неодинаковы, когда мы реконструируем формы, относящиеся, например, к эпохе восточнославянского единства или к эпохе общеиндоевропейского единства. Даже в отношении индоевропейского языка-основы степень достоверности будет различна в зависимости от того, реконструируются ли его формы, предполагаемые для эпохи, которая непосредственно предшествовала обособлению отдельных языков, или же речь идет о дальнейшем углублении в историю языка-основы.

Эти недостатки сравнительно-исторического метода, повидимому, не смогут быть преодолены, так как зависят в значительной степени от объективных условий.

Однако, наряду с этим, прием реконструкции имеет и ряд недостатков, обусловленных его несовершенным применением, и именно эти недостатки необходимо преодолеть.

1. Основным недостатком традиционного использования приема реконструкции является „плоскостной" характер реконструкции, о чем говорилось в первой главе. До сих пор, при традиционном использовании приема реконструкции, все восстанавливаемые элементы языка-основы обычно располагались в одной хронологической плоскости. Недостаточно учитывалось то, что разные черты этого языка-основы нередко исторически относятся к разным эпохам, а не сосуществовали в одну эпоху. Так, например, при восстановлении в общеславянском языке дифтонгов, которые затем изменились в монофтонги (*ou* > *u*; *ei* > *i*; *oi*, *ai* > *ě* и др.), не обращалось должного внимания на то, что различные явления в области монофтонгизации дифтонгов и соответственного изменения дифтонгических сочетаний (сочетаний гласных с носовыми и плавными) происходили не одновременно, а в определенной последовательности.

Конечно, в самом стремлении расположить результаты реконструкции в одной хронологической плоскости нет ничего предосудительного, но плохо, когда пренебрегают при-

знаками, свидетельствующими о возможной разновременности существования этих фактов.

Еще в 1900 г. В. А. Богородицкий опубликовал специальную статью, посвященную проблеме так называемой относительной хронологии. Он доказал, что установленное для древнеиндийского языка дописьменной эпохи совпадение *e*, *o*, *a* в *a* и совпадение *ē*, *ō*, *ā* в *ā* осуществлялось не одновременно, но долгие гласные совпали значительно раньше, чем краткие. Для подтверждения этого положения В. А. Богородицкий дал сложную систему доказательств. Здесь для реконструкции дописьменной истории одного языка был использован прием так называемой относительной хронологии. В дальнейшем он стал применяться и при реконструкции фонетических, а еще позже и морфологических процессов языков-основ. Так, например, с помощью приема относительной хронологии некоторые исследователи пытались установить соотношение первой и второй палатализации и монофтонгизации в славянском языке-основе.

Однако, несмотря на то, что примеры использования относительной хронологии при реконструкции отдельных явлений имеют уже полувековую давность, она все еще не заняла должного места в сравнительно-исторических исследованиях, особенно в применении к реконструкции морфологических явлений. Исключением в этом отношении являются работы Э. Бенвениста и Ю. Куриловича.

2. Вторым недостатком традиционного использования сравнительно-исторического метода является прямолинейность реконструкции, недостаточное внимание к сложности процессов развития родственных языков. Между тем процессы языковой интеграции, а именно интеграции близкородственных диалектов и языков, имели место с древнейших времен. Сложность проблемы заключается в том, что в течение ряда эпох, начиная с очень древних, процесс дифференциации и процесс интеграции действовали одновременно, хотя и с разной степенью интенсивности и в разных масштабах (см. гл. I).

3. Упрощенность и схематизм в применении сравнительно-исторического метода и, в частности, в использовании приема реконструкции (особенно у К. Бругмана, Ф. Ф. Фортунатова)

были частично обусловлены стремлением рассматривать все отклонения в морфологическом строе индоевропейских языков от структуры древнеиндийского языка как результат действия аналогии и утери праязыкового наследства. Так, пестрота падежных формативов в отдельных языковых группах (особенно в формах косвенных падежей множественного числа), несводимость в ряде случаев этих формативов к единому архетипу объяснялись влиянием аналогичных форм и потерей многими языками первоначального богатства падежных формативов.

Между тем исследования последних лет дают все больше материала для суждения о произвольности тех реконструкций, которые не учитывали ни сложности процесса оформления древней системы склонения индоевропейских языков, ни своеобразия этого процесса в отдельных языковых группах. Так, система формативов славянских падежей с трудом и большими натяжками укладывается в реконструированный парадигматический ряд индоевропейского праязыка. Например, как указывал П. С. Кузнецов, до сих пор не удается свести к единой форме даже в пределах славянской языковой группы падежные показатели род. пад. ед. числа, им. и вин. пад. мн. ч. основ на *-ja*[1].

4. Произвольность выводов, получаемых на основе применения сравнительно-исторического метода, а особенно произвольность реконструкции, была также обусловлена игнорированием возможности параллельных процессов, возникающих в родственных языках в значительной степени независимо друг от друга. Так, например, в относительно позднюю эпоху (XII век) в английском и немецком языках произошла параллельно дифтонгизация долгих гласных, ср., например, др.-нем. hūs „дом“, др.-англ. hūs, совр. нем. haus, совр. англ. house. Параллельно и независимо друг от друга оформились в этих языках системы аналитических временны́х форм, обнаруживающие ряд сходных моментов. Но никто не станет относить эти факты к эпохе общегерманского единства, так как возник-

---

[1] См. статью П. С. Кузнецова „О задачах сравнительно-исторического изучения славянских языков“ („Slavia“, 1953, вып. 2—3, стр. 174).

новение и развитие этих явлений можно проследить по письменным памятникам.

Между тем подобного рода параллельные новообразования несомненно могли происходить и в древнюю дописьменную эпоху; поэтому перенесение таких параллельных новообразований в эпоху языковой общности должно рассматриваться как проявление все того же упрощения. Подобное упрощенное применение сравнительно-исторического метода встречалось даже у А. А. Шахматова и сказалось, в частности, в его трактовке аканья.

По А. А. Шахматову, аканье развилось еще в доисторическую эпоху. Главным основанием для отнесения возникновения аканья к такой глубокой древности для А. А. Шахматова было то, что это явление свойственно не только южновеликорусскому наречию русского языка, но также белорусскому языку. Упрощенное применение сравнительно-исторического метода без учета реального исторического процесса, без достаточного учета истории явления в его связях с другими явлениями не раз приводило историков языка к выводу, что все общее в разных диалектах или родственных языках относится к эпохе, предшествующей образованию этих диалектов или языков. Именно таким методом А. А. Шахматов воссоздает „восточнорусское" наречие, которое затем развилось в южновеликорусское наречие, а частью влилось в белорусский язык, передав ему аканье. Вот как об этом пишет сам А. А. Шахматов: „...восточнорусское наречие восстанавливается путем сравнительного изучения южновеликорусского и белорусского наречий: общие тому и другому наречию явления могут быть возведены к восточнорусской эпохе"[1]. Важнейшая черта этих общих явлений — аканье. В белорусском языке, по А. А. Шахматову, аканье — позднейшее явление, полученное, однако, уже в X веке через радимичей[2].

---

[1] А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915, стр. 330.

[2] Для обоснования этого утверждения А. Шахматову пришлось сделать совершенно произвольное предположение, что радимичи в древнейшую эпоху жили на Оке вместе с вятичами. См. А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка, ч. 1. Пг., 1916, стр. 107.

Между тем аканье в белорусском языке не может быть возведено к X веку. Историческое изучение структурных разновидностей аканья в свете данных относительной хронологии, а также явлений, связанных с аканьем, дает основания для утверждения, что истоки его относятся ко времени после падения редуцированных. Развитие же аканья в белорусском языке относится к еще более позднему периоду (и притом аканье распространялось неодновременно — позднее всего в юго-западных белорусских говорах)[1].

Повидимому, параллельным было появление в группе индоевропейских языков процессов, связанных с переходом индоевропейских заднеязычных в свистящие и шипящие (в так называемых языках satəm). На то, что это явление не связано с территориально ограниченной группой или с каким-то диалектным делением внутри языка-основы, указывают факты тохарского языка, обнаруженного в Азии, но не имевшего признака группы satəm (подробнее см. гл. III). Это подтверждается и материалами „иероглифического“ и клинописного хеттского, несомненно очень близких друг другу языков, из которых первый обнаруживает черты, характерные для группы satəm, тогда как второй обладает системой заднеязычных, типичной для языков kentom.

Примером такого же нечеткого различения общих явлений, развивающихся параллельно в родственных языках, и явлений, генетически тождественных, может служить и трактовка А. Мейе категории совершенного и несовершенного вида в славянских языках как особенности, сложившейся уже в славянском языке-основе. Возможность параллельных новообразований, обусловленную сходством исконной структуры, общностью корней и словообразовательных формативов, необходимо иметь в виду при изучении всех сторон языковой системы.

5. В очень многих случаях ошибочность реконструкции обусловлена неверным пониманием хронологического соотношения сопоставляемых фактов: так, в сравнительной грамма-

---

[1] Аргументацию этого положения см. в статье Р. И. Аванесова „Вопросы образования русского языка в его говорах“ („Вестник Московского Университета“), 1947, № 9, стр. 138—139.

тике индоевропейских языков Бругмана и Дельбрюка система глагольных форм индоевропейского праязыка реконструируется по преимуществу на основе материала древнеиндийского и греческого языков, тогда как отсутствие тех или иных форм в других индоевропейских языках рассматривается как результат потери праязыкового наследства. Между тем данные хеттского языка показали, что многие глагольные формы древнеиндийского и греческого языков являлись новообразованием. В частности, это относилось и к системе медиальных форм. Уточнение хронологического соотношения сопоставляемых фактов, имеющее существенное значение для реконструкции, зависит не только от привлечения новых материалов, но и от использования некоторых других приемов, по своему происхождению не связанных с реконструкцией архетипов на основании сравнительных данных сопоставляемых языков.

Такими приемами являются внутренняя реконструкция, приемы фонологических исследований и приемы лингвистической географии.

§ 7. Недостатки традиционного сравнительно-исторического метода заключаются не только в характере использования входящих в него научно-исследовательских приемов, но и в ограниченности этих приемов; последнее, в свою очередь, отражается и на использовании самого метода.

Прием реконструкции, основанный на сопоставлении явлений родственных языков, в его традиционной форме, не обеспечивал ни реконструкции древнейших значений словоизменительных форм, ни тем более реализации задач сравнительно-исторической лексикологии и сравнительно-исторического синтаксиса; не мог он дать положительных результатов и при исследовании развития языка-основы. Его сфера применения в лучшем случае — реконструкция фонетического и морфемного состава языка-основы эпохи, непосредственно предшествующей обособлению отдельных языковых групп.

Например, специальная форма винительного падежа засвидетельствована всеми древними индоевропейскими языками. Наиболее распространенный ее показатель в ед. числе — это *-m* (*-n*): он характеризует винительный падеж, например,

в основах на *-о-* (тематическое склонение) древних индоевропейских языков.

Это *-m* выступает и как реконструированный показатель данного падежа. Но в употреблении винительного падежа в различных индоевропейских языках обнаруживаются разные значения: 1) обозначение направления: др.-инд. divam „в небо“, gṛhā́n „в дом“, греч. у Гомера οὐρανόν „в небо“, лат. domum „домой“ и т. д. Единичны случаи в германских языках. В древнеиндийском и греческом винительный направления встречается при определенных глаголах; в латинском языке — у поэтов и ораторов, в классической прозе — только при наименовании городов и островов и в застывших оборотах; 2) винительный внутреннего объекта, типа др.-инд. kā́mān kāma yatə̄ „желает желание“, лат. vītam vivere „жить жизнь“ и т. д., имеется во всех языках; 3) винительный, обозначающий отрезок времени, типа лат. Troja decem annos oppugnata est, употребителен в древнеиндийском, греческом, балтийских, славянских языках; 4) винительный внешнего объекта при транзитивных глаголах — наиболее частый случай употребления. Возникает вопрос, какие из этих значений существовали уже в языке-основе. Если все, то какое из значений является первоначальным.

Получить ответ на эти вопросы при помощи тех приемов, которые используются, например, для установления исконной формы падежного показателя, очевидно, невозможно. В самом деле, когда речь идет о реконструкции какой-либо словоизменительной формы, опорой реконструкции служит сопоставление материального состава этой формы в различных индоевропейских языках. Критериями всегда служили строгие звуковые соответствия: например, реконструкция для германских языков форманта вин. пад. **m* (**n*) основывается не только на сопоставлении с формами этого падежа в других индоевропейских языках, но и на фонетических закономерностях, характерных для конца слова в германских языках, и на сохранении носового в таких односложных формах, как винительный падеж указательного местоимения — ср. готск. þan(a), др.-нем. den и т. д.

Не требует специальных доказательств положение о том, что такая совокупность приемов не может обеспечить ответа

на поставленные выше вопросы. В самом деле, наличие всех указанных значений винительного падежа в большинстве индоевропейских языков еще не указывает на то, что они все восходят к эпохе индоевропейской общности, поскольку возможны и вполне вероятны параллельные сдвиги и расширение значения. Никаких формальных данных, которые подтвердили бы это, нет. С другой стороны, сопоставление не может показать, какое из названных значений является более древним, „исконным". Установление древнейшего значения словоизменительных форм предполагает иные приемы реконструкции, чем восстановление древнейших вариантов морфем или отдельных звуков. Вопрос о том, каковы эти приемы, требует специального изучения. Но несомненно, что существенную роль здесь должен играть прием так называемой внутренней реконструкции.

Об этом приеме неоднократно упоминалось в последние годы[1], отчасти также в связи с историческим изучением таких языков, в которых отсутствует письменная традиция.

Прием внутренней реконструкции не требует сопоставления элементов разных языков, а ограничивается сравнением фактов одного языка, существующих в этом языке синхронно: так, например, сопоставление форм типа русского *пеку — печешь* позволяет установить для 2-го лица более раннюю форму *пекешь* и тем самым выявить фонетический переход *к* в *ч* перед гласными переднего ряда. Точно так же сопоставление в готском, например, формы дательного падежа относительного местоимения ƕamma с этой же формой в сочетании с энклитической частицей *h* — ƕammēh, где конечный гласный не был в абсолютном конце слова и поэтому подвергался менее интенсивной редукции, позволяет реконструировать более древний вариант дательного падежа с окончанием *-ē* и т. д.

---

[1] Ср. G. Bonfante. On Reconstruction and Linguistic Method. „Word", 1945, т. I, № 1, стр. 33 и след.; т. I, № 2, стр. 155 и след. H. M. Hoenigswald. Sound Change and Linguistic Structure. „Language", 1946, V. 22, № 2, стр. 138 и след. C. H. Borgström. Internal Reconstruction of Pre-Indo-European Word-Forms. „Word", 1954, т. 10, № 2—3, стр. 275 и след.

При анализе различных значений словоизменительных форм прием внутренней реконструкции может быть использован для установления древнейшего, исконного значения формы в отдельном языке. Так, соотношение употребления различных случаев винительного падежа внутри отдельного языка, типы сочетаний с винительным падежом могут помочь реконструировать наиболее древнее значение данного падежа в пределах этого языка (например, показать развитие его направительной функции из функции прямого объекта в ряде индоевропейских языков). Вместе с тем при применении внутренней реконструкции значения словоизменительной формы надо учитывать тенденции изменения этого значения в истории данного языка. Изучение таких закономерностей и тенденций позволяет с большей достоверностью выделить новое, развивающееся, и установить старое, пережиточное, уходящее.

В дальнейшем сопоставление результатов подобной внутренней реконструкции в различных родственных языках может послужить основой для постановки вопроса о развитии значения этого падежа в языке-основе. В последнем случае прием внутренней реконструкции сочетался бы с приемом реконструкции, основанным на сопоставлении фактов различных языков. Однако такое сопоставление и сама реконструкция были бы отличны от сопоставления и реконструкции, применяемых при анализе морфем и звуков родственных языков (см. гл. V).

Сокращение числа падежей в системе склонения тоже может быть иногда установлено путем внутренней реконструкции в пределах одного и того же языка и лишь подтверждено впоследствии сопоставлением с другими языками. Так, латинский аблатив получил уже к началу письменного периода в истории латинского языка функции трех падежей: 1) отложительного, или собственно аблатива, выражавшего удаление от предмета и соотносительного с винительным падежом в его направительной функции (позже здесь стали преобладать конструкции с предлогами *a*, *ab* и т. д.), 2) инструментального или творительного, 3) локатива, выражающего как пространственные, так и временные отношения. Древние окончания этих падежей выясняются также из памятников самого латин-

ского языка: для тематических основ — аблатив на *-d*[1], творительный на *-ē*, сохраненный в адвербиальных образованиях, и локатив, совпадающий с родительным падежом (ср. Romae „в Риме“, domī „дома“, т. е. „в доме“). Гетерогенность синтаксических функций аблатива вытекает из их разнообразия в классической латыни (ср. ablativus separationis, ablativus loci и temporis, ablativus instrumenti, causae, rei efficientis и т. д.). И наличие в древности особых локативного и творительного падежей, и смешение окончаний локатива с родительным подтверждаются затем сравнением с падежной системой других индоевропейских языков (индо-иранских и литовского). Одно лишь наличие этих падежей, например, в санскрите еще не давало бы права утверждать, что они должны были существовать и в древнейшем латинском языке, так как они, возможно, могли развиваться именно в той диалектной группе языка-основы, в которую диалекты, давшие начало латинскому языку, не входили. Внутренняя реконструкция служит здесь, таким образом, основным приемом. Сравнение с другими языками лишь проверяет ее.

§ 8. Совокупность приемов, которые должны были бы обеспечить восстановление древнейших синтаксических отношений (древнейшей структуры простого предложения, оформления подлежащего и сказуемого и т. д.), в свою очередь, принципиально отличается от реконструкции древнейших вариантов корневых, словообразовательных и словоизменительных морфем или отдельных звуков. Так, простое сопоставление, например, различных типов именного сказуемого в разных родственных языках может только помочь установить, какие из этих типов являются общими для всех языков. Но отсутствие какого-либо типа именного сказуемого в конкретном древнем языке еще не указывает на то, что этот тип существовал и был затем потерян или не существовал совсем. Наличие абсолютных оборотов с причастиями и инфинитивами в преобладающем большинстве древних индоевропейских языков еще не говорит о том, что эти обороты восходят к эпохе

---

[1] Формы на *-ad* и *-od* засвидетельствованы еще для II века до н. э. надписями Сципионов и „Постановлением сената о вакханалиях“.

индоевропейской общности. В синтаксисе, как нигде, приходится считаться с возможностью параллельных новообразований. С другой стороны, в синтаксисе, в отличие от морфологии, возможно прямое влияние одного языка на другой.

В частности, вопрос о том, насколько древними являются обособленные обороты в германских языках, до сих пор остается неясным. Во всяком случае в древненемецком наблюдается прямое калькирование латинских конструкций. Возможно, что влиянием греческого объясняется употребительность абсолютных конструкций в готском языке.

Наконец, при наличии различных параллельных построений остается открытым вопрос о путях установления первичности той или иной конструкции. В то время как восстановление отдельных морфем и звуков основывается на строгих фонетических соответствиях, закономерно повторяющихся во всех аналогичных фонетических условиях, эти фонетические закономерности ничего не дают для реконструкции истории синтаксических категорий в индоевропейских языках. Приемы реконструкции синтаксических явлений должны поэтому принципиально отличаться от приемов реконструкции явлений фонетических и морфологических.

Вопрос этот нуждается в специальных исследованиях. О трудностях восстановления синтаксических архетипов отдельных языковых групп много писалось в последние годы [1]. Трудности эти увеличиваются во много раз, когда речь идет о столь отдаленном прошлом, как индоевропейский язык-основа. Однако можно полагать, что и здесь прием внутренней реконструкции должен стать составной частью группы приемов, которые смогут обеспечить восстановление синтаксических архетипов. На значение такой внутренней реконструкции для изучения исторического синтаксиса одного языка указывал неоднократно В. И. Борковский [2].

---

[1] См., например, С. Б. Бернштейн. Основные задачи, методы и принципы „Сравнительной грамматики славянских языков". „Вопросы языкознания", 1954, № 2, стр. 49—67.

[2] В. И. Борковский. К вопросу о значении сравнительно-исторического метода в историческом синтаксисе. „Slavia", 1953, вып. 2—3, стр. 182—190.

Таким образом, задача восстановления значений словоизменительных форм, так же как и задача реконструкции синтаксических категорий, требует расширения системы исследовательских приемов, используемых при изучении родственных языков.

§ 9. Расширение системы исследовательских приемов необходимо и при историческом изучении самого языка-основы. Например, прием внутренней реконструкции должен быть использован не только при восстановлении первоначального или наиболее древнего значения какой-либо словоизменительной формы или при восстановлении архетипов синтаксических оборотов. Восстановление истории языка-основы и в области фонетического и в области морфологического строя фактически возможно также лишь при условии использования приема внутренней реконструкции. Приемы, которые обычно связываются с реконструкцией праязыковых форм, чаще всего позволяют дойти лишь до периода, непосредственно предшествующего началу процесса обособления родственных языков. Возьмем для иллюстрации этого положения простейший и уже известный нам пример — систему склонения в индоевропейских языках. Сопоставление структуры словоизменительных форм и состава словоизменительных формативов различных индоевропейских языков позволяет с известной долей вероятности восстановить структуру отдельных словоизменительных форм и состав большинства формативов в языке-основе той эпохи, которая непосредственно предшествовала обособлению отдельных языковых групп. Но попытка продолжить изучение склонения вглубь истории языка-основы, наметить этапы развития склонения в самом языке-основе базируется уже на сопоставлении отдельных элементов этой восстановленной системы, например, на соотношении чередования гласных и падежных показателей внутри словоизменительной формы (ср. греч. πατήρ — πατρί, где в дательном падеже не только появляется показатель ι, но и происходит выпадение гласного основы); или на соотношении типа склонения корневых основ и основ, осложненных основообразующим суффиксом и т. д. При этом прием внутренней реконструкции в данном случае основывается не только на соотношениях внутри восстановленной системы

языка-основы, но и на сопоставлении соотношений между данными явлениями в истории отдельных языков. Так, например, бо́льшая древность корневых основ была, в частности, доказана в результате установления их неустойчивости в истории отдельных языков и вытеснения их другими образованиями и т. п. (см. подробнее об этом главу V). Подобное же сочетание приемов внутренней реконструкции с сопоставлением фактов родственных языков использовалось, например, Ю. Куриловичем в его исследованиях, истории ларингальных в индоевропейских языках, а также в монографии, посвященной вопросам древнейших акцентологических типов в индоевропейских языках. Ср. также фонетическую теорию корня Бенвениста и Куриловича, где используются те же приемы. Еще раньше эту методику применил Ф. де Соссюр (см. гл. III и IV).

Таким образом, прием внутренней реконструкции должен быть включен в систему научно-исследовательских приемов, составляющих сравнительно-исторический метод.

§ 10. При реконструкции фонемного состава языка-основы и определении общих тенденций развития фонетического строя родственных языков должна быть учтена методика современных фонологических исследований, позволяющая в ряде случаев уточнить исторические соотношения элементов одного звукового ряда, представленных материалом разных родственных языков. Примером использования приемов фонологических исследований при реконструкции фонетического состава индоевропейского языка-основы является интересное сообщение Ю. Сафаревича о происхождении трех рядов задненебных [1].

§ 11. В приведенных выше случаях прием внутренней реконструкции постоянно сочетался с изучением истории данных явлений в отдельных родственных языках. Однако практически такое изучение должно сопутствовать и всякой реконструкции.

[1] J. Safarewicz. Pochodzenie trzech szeregów spółygłosek tylnojęzykowych w prajęzyku indoeuropejskim. „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, т. XLVI; ср. изложение этой работы у Пизани „Indogermanische Sprachwissenschaft", Bern, 1953, S. 50, 51.

Реконструкция форм языка-основы всегда должна опираться на факты исторического развития родственных языков, на изучение тенденций этого развития. Так, например, известно, что тенденция развития конечных носовых в романских языках, т. е. отпадение носовых в конечном положении (ср. франц. terre, roi из лат. terram, regem), раскрыла характер этих носовых в латинском языке, являющемся фактически языком-основой романских языков. Тенденция носового к отпадению указывает на то, что в латыни это конечное *m* произносилось ослабленно, о чем свидетельствуют и правила латинской просодии[1].

Изучение развития залоговых форм в отдельных индоевропейских языках, установление закономерностей этого развития, пестрота и своеобразие залоговых форм в отдельных языках являются основой реконструкции залоговых отношений в языке-основе. Простое сопоставление показателей этих форм в древнейших индоевропейских языках, характерное для сравнительной грамматики Бругмана, вело к ошибочности прежней реконструкции системы залоговых форм (см. гл. V).

Отрыв реконструкции форм языка-основы от изучения закономерностей развития этих форм в отдельных родственных языках, особенно в древние эпохи их истории, ведет к упрощению и схематизации. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что сами закономерности развития родственных языков, как и любых языков, не представляют собой чего-либо вечного и неизменного, поскольку и эти закономерности исторически обусловлены и преходящи.

Если для осуществления самой реконструкции, с которой некоторые языковеды отождествляют сравнительно-исторический метод, приемы изучения развития родственных языков составляют необходимую основу, то очевидно, что приемов, к которым сводится традиционное понимание сравнительно-исторического метода, совершенно недостаточно для изучения закономерностей развития родственных языков.

---

[1] A. Meillet. La méthode comparative en linguistique historique, 1925, p. 14—15.

Первостепенное значение для этого имеет сопоставление процессов развития родственных языков[1].

Так, например, только путем сопоставления истории видо-временно́й системы в различных славянских языках можно установить общие тенденции развития этой системы и специфические особенности, характерные для каждого языка. При этом выявленные общие тенденции должны быть объяснены на основе элементов структуры этих языков, восходящих к общеславянскому языку-основе.

Что касается специфических особенностей каждого из родственных языков, определяющих вместе с тем и своеобразие проявления общих тенденций развития, то они должны получить объяснение в конкретной истории отдельных языков. Сопоставление, сравнение материала родственных языков выступает здесь в новой форме. Оно является необходимым исследовательским приемом сравнительно-исторического изучения развития родственных языков.

§ 12. Как особые приемы, включаемые в сравнительно-исторический метод исследования, могут рассматриваться: 1) анализ заимствованных слов в их соотношении с фонетической, словообразовательной и морфологической системами как заимствующего языка, так и языка, являющегося источником заимствования; 2) использование диалектографического приема построения изоглосс для реконструкции диалектного дробления какого-либо языка-основы или даже доисторических периодов развития языка, позже засвидетельствованного письменными памятниками.

Так, в финском языке имеются заимствования из германских языков, повидимому, относящиеся еще к эпохе германского языка-основы, типа kuningas „король", rengas „кольцо". Форма этих слов в финском языке представляет более древний вариант, чем в любом из древних германских языков. Так, например, в словах kuning-a-s, reng-a-s сохраняется старая структура

[1] О значении данного приема при изучении родственных языков писал А. В. Исаченко, см. его статью „О сравнительно-историческом изучении грамматических категорий в славянских языках" („Slavia", 1953, вып. 2—3, стр. 200—213).

именительного падежа ед. числа мужск. рода, где *kuning-*, *reng-* представляют собой корневую морфему, *-a-* является основообразующим суффиксом (соответствует -o- других индоевропейских языков), а *-s-* было старым показателем именительного падежа. Характерно, что даже в готских памятниках IV века именительный падеж этого типа склонения не сохраняет полностью старую структуру; ср., например, dag-s „день", где *a-* основы исчезло еще в дописьменный период. Только в скандинавских рунических надписях представлены формы типа DagaR, где *a-* сохранялось, *R* же восходило к общегерманскому *z*, которое в готском в конце слова должно было оглушаться, а в скандинавских языках постепенно переходило в *r* (так называемый закон ротацизма). Для общегерманского языка-основы реконструируются формы им. пад. м. р. основ на *-a-*, типа *kuningaz, dagaz[1]. В германских заимствованиях, имеющихся в финском языке, эти формы сохранились лучше, чем в готском и в рунических надписях. Финский материал подтверждает вместе с тем правильность приведенной реконструкции, хотя сама реконструкция и осуществлялась без учета заимствования, лишь на базе сопоставления фактов самих германских языков и их сравнения с другими индоевропейскими языками.

Еще более интересен в этом отношении корневой гласный в финском rengas. Дело в том, что во всех германских языках еще в дописьменный период *e* перед носовым исчезло: в готском вообще краткое *e* в любых условиях переходило в *i*, в других германских языках краткое *e* переходило в *i* перед носовым. Поэтому в древнеисландском имелось hringr, в древненемецком (h)ring и т. д. Финское слово rengas сохранило исконный гласный, хотя и потеряло начальный согласный. Реконструированная форма — *hrengaz.

Применение изоглосс для постановки вопроса о диалектном членении языка-основы, осуществленное впервые еще

---

[1] Звонкий согласный *z* в отличие от *s* в других индоевропейских языках объясняется тем, что ударение могло стоять в формах именит. пад. как на корне, так и на окончаиии, ср. греч. λόγος, ио υἱός; в германских языках утвердился второй тип, а после ударения *s* согласио закону Вернера переходило в *z*.

И. Шмидтом, получает сейчас особое значение в связи с работами итальянской школы компаративистов. Изоглоссы отдельных явлений в индоевропейских языках, например, двух вариантов окончаний дательного падежа множественного числа, изоглоссы обозначений понятий „вода“, „огонь“ (ср. русск. *вода*, гот. watō, нем. wasser — лат. aqua; русск. *огонь*, лат. ignis — греч. πῦρ, др.-нем. fiur) и др. дают наглядное представление о размещении тех диалектных вариантов, которые предшествовали процессу обособления отдельных групп и языков индоевропейской семьи.

§ 13. Серьезные недостатки сравнительно-исторического метода в традиционном его употреблении объясняются, следовательно, не только неправильным, упрощенным пользованием теми или иными приемами, но и недооценкой ряда возможных приемов изучения родственных языков. Особенно существенно подчеркнуть, что все приемы, о которых писалось выше, должны рассматриваться не как сумма независимых друг от друга элементов, а как система взаимодействующих приемов, где отсутствие того или иного элемента сразу отражается на характере использования остальных приемов. Так, например, существенные недостатки сравнительно-исторического метода в его традиционном использовании, отмеченные в предыдущих параграфах, частично обусловлены отсутствием у ряда исследователей такого основного и ведущего приема, как относительная хронология. Это привело к схематизации и упрощению реконструкции тех или иных форм языка-основы.

Фактически и те исследователи, которые сводили сравнительно-исторический метод только к приему реконструкции, понимали под последним известное сочетание исследовательских приемов.

Само собой очевидно, что реконструкция неотделима а) от сопоставления выделенных единиц родственных языков, б) от установления закономерных соответствий между этими формами, на котором основывается их предполагаемое генетическое тождество и сама возможность реконструкции. Эта совокупность приемов не только составляла и составляет обязательную и простейшую основу реконструкции, но необходима также при

окончательном установлении родства той или иной группы языков и до известной степени обеспечивает реализацию этой первой задачи изучения языкового родства. Однако для более углубленного и всестороннего изучения родственных языков, для подлинно-исторического изучения закономерностей развития родственных языков, включая историческое рассмотрение языка-основы, эта совокупность приемов и их характер оказываются недостаточными.

. Вместе с тем, сравнительно-историческое изучение различных сторон родственных языков требует известной специфи-кации и специализации отдельных приемов. В предыдущих параграфах было показано, как одна и та же задача — реконструкция элементов языка-основы — должна с помощью различных приемов осуществляться в тех случаях, когда объектом являются словоизменительные формативы или фонетическая система или когда анализируются, например, синтаксические категории. Роль приема внутренней реконструкции, роль приема сопоставления истории родственных языков и т. д. меняется в зависимости от конкретных задач того или иного исследования. Особенности применения сравнительно-исторического метода при изучении различных сторон языка будут освещены в следующих главах. Взаимодействие приемов, составляющих сравнительно-исторический метод, их комплексный характер раскрываются прежде всего в том, что, например, восстановление отдельных фактов языка-основы как исторически развивающейся категории невозможно без сочетания таких различных приемов, как 1) сопоставление форм родственных языков, 2) установление их генетического тождества, 3) выявление исторических соотношений между восстановленными формами, 4) реконструкция с учетом относительной хронологии отдельных элементов языка-основы эпохи, непосредственно предшествующей обособлению отдельных родственных языков, 5) установление известных системных отношений в этой восстановленной структуре, 6) раскрытие противоречий в реконструированных элементах на основе анализа закономерностей развития родственных языков и раскрытие изменений в структуре языка-основы при помощи приема внутренней реконструкции. Этот комплекс приемов

используется только при восстановлении звуков и морфем языка-основы. Переход к значимой стороне словоизменительных форм предполагает уже иное соотношение приемов, иной отбор из возможной совокупности приемов сравнительно-исторических исследований. Но для решения каждой конкретной задачи изучения родственных языков всегда используется целый комплекс взаимодействующих приемов.

Совершенствование сравнительно-исторического метода должно идти как по линии усовершенствования традиционных приемов, так по линии введения в научную практику новых приемов. Оба момента взаимосвязаны: они вносят существенные изменения в содержание этого метода.

Глава III

ПРИЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

§ 1. Как отмечалось в первой главе, простейшим объектом сравнительно-исторических исследований является морфема. Но морфемы всегда облечены в звуки, которые представляют собой материальную оболочку морфем и без которых морфемы не могут существовать. Установить генетическое тождество морфем двух или нескольких родственных языков мы можем лишь в том случае, если мы установим между родственными морфемами определенные закономерные соответствия в их звуковом составе. Из этого ясно, что фонетика является необходимым элементом любого сравнительно-исторического исследования и что без сравнительно-исторической фонетики вообще невозможно было бы сравнительно-историческое языкознание.

Так как при установлении общности происхождения каких бы то ни было морфем родственных языков мы всегда имеем дело с звуковым соответствием друг другу этих морфем, то прежде всего должен быть рассмотрен вопрос о том, в чем же состоит это соответствие и какими методами оно устанавливается.

Это соответствие в большинстве случаев состоит в частичном совпадении (тождестве) звуковых элементов, составляющих сравниваемые морфемы различных языков. Полное тождество практически встречается очень редко, и это понятно: для того, чтобы такое тождество осуществилось, необходимо,

чтобы либо соответствующие звуки не подвергались никаким изменениям на протяжении всего периода развития от языка-основы до исторически засвидетельствованных языков (т. е. живых в настоящее время или представленных памятниками), либо чтобы в двух или нескольких сравниваемых языках изменения, происходившие в соответствующих звуках на протяжении истории этих языков, были совершенно одинаковы. Поясним на примере. Для того, чтобы не осложнять дела исследованием изменений значения сравниваемых морфем, возьмем для сравнения единицы, тождественные по своему основному значению. Ср. ст.-слав. и др.-русск. *мати*, лат. mater, греч. μήτηρ, др.-инд. mātā́ „мать". Все языки, из которых взяты примеры, принадлежат к индоевропейской семье. В сравниваемом слове исторически, повидимому, две морфемы — корневая *ma-* (*mā-*) и суффиксальная, начинающаяся с *t* и представленная в разных языках в различной форме (ср. лат. pater, греч. πατήρ, др.-инд. pitā́ „отец"). Сравнивая звуковой состав указанных морфем в славянских языках, латинском, греческом и древнеиндийском, мы видим, что в обеих морфемах вполне тождественны лишь начальные элементы каждой из них — согласные *m* и *t*. Конечно и здесь тождество относительное: разные языки характеризуются различной привычной артикуляцией органов речи, и мы не можем утверждать, что, например, древнеиндийское *m* или *t* вполне тождественны старославянскому или русскому *m* или *t*, но, во всяком случае, здесь звуки несомненно однородные. В гласном же корневой морфемы имеются расхождения. Греческая форма μήτηρ, характерная для ионийского и аттического диалектов, является, несомненно, позднейшей. Более древнюю и более близкую к другим индоевропейским языкам форму μάτηρ сохранил дорийский диалект. Таким образом, во всех указанных индоевропейских языках имеется *a*. Однако в латинском, греческом и древнеиндийском существовало *a* долгое, в отношении же старославянского и древнерусского *a* у нас нет сведений, было ли оно долгим. Различие гласных по долготе в русском языке достаточно рано утратилось, о старославянском языке достоверных сведений нет, а те славянские языки, в которых имеются различия гласных по длительности,

свидетельствуют об определенных изменениях в долготных отношениях, имевших место еще в общеславянском языке-основе. В данном случае в общеславянском языке долгота, повидимому, сохранялась, но на почве отдельных славянских языков произошли изменения — ср. чеш. máti (с долгим *a*), серб. *ма̏ти* (с кратким *a*), хотя вообще в сербском языке гласные по долготе различаются.

Больше расхождений наблюдается в суффиксальной морфеме, где тождественна только начальная согласная. При *e* долгом в греческом языке мы находим *e* краткое в латинском, *a* долгое в древнеиндийском, *i* в старославянском и древнерусском. В латинском и греческом представлен конечный согласный *r*, в древнеиндийском и славянских языках он отсутствует. Указанные расхождения частью объясняются специфическими изменениями конца слова, имевшими место на почве отдельных языковых групп и отдельных языков (об этих изменениях будет речь ниже); но отмеченные расхождения выступают не только на конце слова. Таково соответствие греческого *e* долгого древнеиндийскому *a* долгому. Ср., например, еще греч. πλῆθος „полнота“, др.-инд. prātáḥ „наполненный“ (корень πλη-, *prā*-; о возможном соответствии греческого λ древнеиндийскому *r* см. ниже), др.-инд. *mā*- (māti „он мерит“), греч. μῆτις „разум“, „мудрость“ и т. д. Благодаря постоянному повторению этого соответствия при сравнении различных корневых морфем греческого и древнеиндийского устанавливается регулярный или закономерный характер этого соответствия.

Существенным условием надежности производимых сопоставлений отдельных морфем или звуков и является регулярность устанавливаемых соответствий как в случае звукового тождества, так и в случае расхождения. Так, например, если сравнение какой-либо морфемы в нескольких родственных языках позволяет установить во всех языках в этой морфеме наличие *m* или *t* (как в приведенном выше примере), то это *m* или *t* должно выступать и в других сравниваемых морфемах этих языков, что мы в действительности и наблюдаем. Ср., например, приведенное выше др.-инд. mā- „мерить“, греч. μῆτις „разум“, „мудрость“, лат. mētior „я мерю“,

ст.-слав. и др.-русск. мѣра; ср. также др.-инд. mā́s, греч. μήν „месяц, луна", лат. mensis, ст.-слав. мѣсѧць; ср. также др.-инд. tanúḥ „тонкий", греч. ταναός „вытянутый", лат. tenuis „тонкий", ст.-слав. и др.-русск. тънъкъ „тонкий".

В случае нетождественности соответствующих звуков различных языков соответствия точно так же должны носить регулярный характер. Это значит, что если, например, в какой-либо морфеме *a* древнеиндийского языка соответствует *e* латинского, греческого и старославянского (а также древнерусского) языков, то и в другой морфеме будут наблюдаться такие же точно соответствия. Ср., например, др.-инд. bhárāmi „я беру, несу", греч. φέρω „я несу", лат. ferō, ст.-слав. берѫ; или др.-инд. nábhaḥ „облако", греч. νέφος, νεφέλη (с другим словообразовательным элементом) „облако", ст.-слав. и др.-русск. небо, лат. nebula „туман", где совершенно последовательно древнеиндийскому корневому *a* соответствует *e* греческого, латинского, старославянского и древнерусского языков.

Вместе с тем, при сравнении необходимо учитывать, в одинаковых или неодинаковых фонетических (позиционных) условиях выступают сопоставляемые элементы, так как на протяжении истории разных языков имели место различные позиционные изменения. Так, например, сопоставление др.-инд. bhárāmi, греч. φέρω, лат. ferō, ст.-слав. берѫ показывает, что древнеиндийскому звонкому придыхательному *bh* соответствует греческий глухой придыхательный φ (т. е. *ph*), славянский звонкий непридыхательный *b* и латинский глухой фрикативный *f*. В то же время сопоставление др.-инд. nábhaḥ, греч. νέφος и лат. nebula дает иное соответствие: др.-инд. *bh*, греч. *ph* = лат. *b*. Расхождения эти объясняются различными позиционными условиями, в которых находился рассматриваемый согласный: в первом случае согласный стоял в начале слова, во втором — в положении между гласными; в латинском же языке в интервокальном положении вместо глухого фрикативного *f* развивался звонкий взрывной *b*. Особенно сильным позиционным изменениям подвергаются в различных индоевропейских языках конечные слоги (об этих изменениях подробнее говорится ниже), причем расходиться могут даже такие формативы, которые на первый взгляд характеризуются едва ли не полной тожде-

ственностью. Так, например, в им. п. ед. ч. склонения с так называемой основой на *-ā* мы в ряде индоевропейских языков находим форму, оканчивающуюся на *-a* (т. е. здесь представлена чистая основа, без окончания). Ср., например, др.-инд. kanyá „девушка“, греч. θεά „богиня“, лат. rosa „роза“, ст.-слав. и др.-русск. жєна. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что лишь в части языков это *a* является долгим (именно в древнеиндийском и греческом), в части же языков имеется краткий гласный — в латинском языке это конечное *a* в именительном падеже постоянно краткое, в славянских языках еще в общеславянскую эпоху происходило сокращение всех конечных гласных. В некоторых случаях краткое *a* мы находим и в греческом языке.

§ 2. Генетическое тождество морфем устанавливается нередко на основании частичного совпадения или подобия звукового состава сравниваемых морфем при общности их значения или возможности развития их значений (если они расходятся) из первоначально общего значения. Но следует иметь в виду, что несомненная общность происхождения морфем разных родственных языков может иметь место и в тех случаях, когда в исторически засвидетельствованных формах мы не находим буквально ни одного совпадающего звукового элемента. Ср., например, такие слова, как греч. ὅλον, др.-инд. sárvam „всё“, где нет соответственно ни одного совпадающего элемента, а в то же время они генетически тождественны. Одна тождественность значения без установления закономерных регулярных звуковых соответствий совершенно ни о чем не говорит. Ведь мы можем найти в языках как родственных, так и не родственных формы, которые буквально совпадают по значению, но совершенно различны по своему звуковому составу и не могут быть возведены к единой в прошлом звуковой форме. Однако в приведенном примере при анализе соотношения отдельных элементов сравниваемых слов выступают звуковые соответствия, которые при дальнейшей проверке оказываются закономерными, или регулярными, что позволяет установить генетическое тождество сравниваемых слов.

Встречаются формы, также находящиеся в строгом соответствии, но на первый взгляд еще более далекие. Ср., например, греч., αὖος, ст.-слав. и др.-русск. соухъ (фонетически suxъ) „сухой“.

Конечно, если бы все соответствующие друг другу формы родственных языков настолько сильно отличались друг от друга, мы бы не могли установить родства этих форм и вообще доказать родственности индоевропейских языков. Но, во-первых, каждое из соответствий, наблюдающихся в этих столь мало похожих друг на друга формах, мы находим и в других формах, наряду с соответствиями более очевидными и наряду с буквальным совпадением (полной тождественностью) некоторых соответствующих элементов; во-вторых, если две формы двух каких-нибудь родственных языков бывают очень далеки друг от друга, мы часто располагаем соответствующими формами других родственных языков, которые как бы перебрасывают мост между этими расходящимися формами. Остановимся подробнее на тех соответствиях, которые выступают при сопоставлении греч. ὅλον и др.-инд. sárvam.

В приводившемся выше примере мы обнаруживаем соответствие греческого о древнеиндийскому *a*. Это нормальное соответствие, наблюдаемое и в ряде других морфем. В древнеиндийском вообще нет краткого о, и краткому о греческого, как и ряда других индоевропейских языков, здесь соответствует краткое *a*. Ср., например, греч. ζυγόν, др.-инд. yugám „иго“; греч. γένος, др.-инд. jánaḥ „род“; греч. дорийск. 3-е л. мн. ч. φέροντι „они несут“ (берем дорийскую форму вследствие ее большей архаичности и близости к древнеиндийской), др.-инд. bháranti „они берут, несут“ и т. д.

Древнеиндийскому плавному *r* все в том же примере соответствует греческое плавное *l*. Но мы и в других морфемах находим такое соответствие: др.-инд. *r* в греческом и в ряде других индоевропейских языков соответствует *l*. Ср., например, греч. λευκός „светлый“, „блистающий“, др.-инд. rōcatē „он блистает“, греч. ἥλιος, др.-инд. sū́ryaḥ „солнце“.

Начальному древнеиндийскому *s* соответствует греческое spiritus asper, т. е. звонкое *h*. Но такое соответствие наблю-

дается и в ряде других морфем. В греческом языке начальному *s* других индоевропейских языков очень часто соответствует *h* вследствие того, что такому изменению в греческом языке еще в дописьменную эпоху подвергалось всякое начальное *s* перед гласным (в дальнейшем это *h* могло вообще исчезнуть). Ср., например, др.-инд. saptá, греч. ἑπτά „семь".

Конечному древнеиндийскому *m* соответствует греческое *n*. Но в греческом языке на конце слова из согласных вообще возможны были лишь три: *-n*, *-r*, *-s* (так называемый закон ν, ρ, σ), вследствие чего конечному *-m* других индоевропейских языков нормально соответствует *-n*. Ср. приведенное уже выше соответствие: др.-инд. yugám, греч. ζυγόν „иго".

Наконец, относительно отсутствия в греческом языке звука, соответствующего санскритскому *v*, нужно сказать следующее. В соответствии с *v* или *u̯* других индоевропейских языков (*v*, где оно имеется, вообще развилось из *u* неслогового) в греческом языке наблюдается билабиальный согласный, обозначаемый так называемой „дигаммой" *(F)*. Дигамма встречается еще в надписях, но чаще всего этот звук исчезает. В положении после плавного согласного в одних диалектах, как, например, в аттическом, легшем в основу общегреческого койнэ, он исчезает бесследно, как в приведенном примере (ὅλον), в других диалектах, например, ионийском, он оставляет след в виде удлинения предшествующего гласного (ср. ионийск. οὖλον „всё").

Что касается второго приведенного примера (αὖος — соухъ), то здесь славянский корневой гласный *u* соответствует греческому дифтонгу *au̯*; славянскому начальному согласному *s* в греческом вообще не соответствует никакой звук; никакой звук не соответствует в греческом и славянскому *x*; конечному славянскому ъ в греческом соответствует о; греческому же конечному согласному *s* в славянских языках не соответствует никакой звук. Но и эти соответствия регулярно повторяются в ряде других морфем. Так, в славянских языках, начиная с общеславянского языка-основы, по крайней мере его относительно позднего периода, отсутствуют нисходящие дифтонги, причем после несмягченного согласного, как это

имелось и в данном примере, дифтонгам *oų* и *aų* других индоевропейских языков в древних славянских языках соответствовало *u*. Ср., например, тоуръ „дикий бык“, греч. ταῦρος, греч. ἀκ-ούω „слушаю“ (первоначально, вероятно, „навостряю ухо“ — ср. ἀκή „острие“), ст.-слав. и др.-русск. оуѵо.

Отсутствие звука в соответствии с начальным славянским *s* вполне объяснимо. Как уже говорилось выше, начальному *s* других индоевропейских языков в греческом языке соответствует *h*. Это *h* на греческой почве в определенных условиях могло теряться, в частности, в том случае, если в начале слога, следующего за слогом с этим *h*, также было *h*. В данном случае есть основания предполагать, что некогда между *aų* и о было *h*. Дело в том, что *h* развивалось в греческом на месте *s* также внутри слова в положении между гласными.

Что касается славянского *x*, которому в греческом соответствует отсутствие согласного между гласными, то оно получает объяснение при сопоставлении с другими индоевропейскими языками. В данном случае помогает литовская форма saũsas, как бы перебрасывающая мост между славянской и греческой формой, где славянскому *x* соответствует лит. *s*. Славянское *x* в соответствии с *s* других индоевропейских языков наблюдается в определенных условиях, в частности, в положении после *u*, что как раз и имеет место в данном случае. Наконец, славянскому конечному гласному ъ в греческом языке соответствует сочетание *-os*. Это нормальное соответствие. Конечные согласные были утрачены еще в общеславянском языке-основе, вместо же *o* других языков, характерного и для общеславянского языка более ранней эпохи, на славянской почве, повидимому, еще до утраты конечного согласного, в конечном закрытом слоге развивался более закрытый гласный *u*, давший затем ъ. Эти регулярные соответствия, устанавливаемые в отношении звукового состава сравниваемых слов, доказывают их генетическое тождество, т. е. сводимость к единому архетипу.

§ 3. Сопоставляя соответствующие друг другу факты родственных языков, мы прежде всего должны определить отно-

сительную древность этих фактов, т. е. мы должны установить, являются ли формы одного языка более древними, чем формы другого, или же они существовали одновременно. Речь идет в данном случае не об абсолютной древности сравниваемых элементов. Различные индоевропейские языки засвидетельствованы в письменности с очень разного времени, и далеко не всегда форма языка, получившего письменность задолго до нашей эры, архаичнее формы языка, древнейшие памятники которого, известные нам, написаны через тысячу лет после начала нашей эры или даже еще позднее.

Как уже говорилось выше, мы обнаруживаем на материале ряда форм, что древнеиндийское (и древнеиранское) *а* соответствует славянскому, латинскому, греческому *е* (*е* наблюдается и в ряде других индоевропейских языков). Ср. др.-инд. bhárāmi „беру, несу“, греч. φέρω „несу“, лат. ferō „несу“; ст.-слав. берѫ; др.-инд. nábhaḥ, греч. νέφος „облако“, ст.-слав. и др.-русск. небо. Привлекая для сравнения другие формы, мы видим, что санскритское *а* соответствует также о других индоевропейских языков. Ср. др.-инд. ákṣi „глаз“, лат. oculus, ст.-слав. око; др.-инд. asthán „кость“, греч. ὀστέον, лат. os „кость“. В некоторых же случаях древнеиндийскому *а* соответствует также *а* в ряде других индоевропейских языков, например, в латинском и греческом: ср. др.-инд. ákṣaḥ, греч. ἄξων, лат. axis „ось“ (в славянских языках здесь о — ср. ст.-слав. ось; в древних славянских языках не было краткого *а*; краткому *а* других индоевропейских языков, различающих гласные о и *а* краткие, на славянской почве соответствует о, как и краткому о).

Если сравниваемые слова восходят к единому первоисточнику (а иначе мы не можем объяснить их наличие в разных языках), источником этих различных гласных должен быть один гласный. Встает вопрос, какой именно: один из исторически засвидетельствованных в том или другом индоевропейском языке или же отличный от них? Выдвигается предположение, что гласный этот был во всяком случае близок (если не тождественен) одному из указанных выше.

Еще в первой половине XIX века в сравнительном языкознании было выдвинуто предположение, что различие трех

гласных — *e*, о, *a* — в значительной части индоевропейских языков Европы является позднейшим по отношению к единому (в соответствии с этими тремя гласными) *a* в древнеиндийском. Это положение было отчетливо сформулировано А. Шлейхером[1]; еще раньше к тому же выводу склонялся Бопп[2]; то же находим и у многих последующих исследователей, в том числе в ранних работах Ф. Ф. Фортунатова[3]. В основе этого вывода лежал взгляд на древнеиндийский как на древнейший из всех индоевропейских языков, что было характерно для сравнительного языкознания всей первой половины XIX века. Но мы прежде всего должны избегать предвзятых точек зрения. Любое положение должно быть строго доказано. Восстанавливая же звуковую систему прошлого, мы должны опираться на положение о строгой закономерности, регулярности звуковых изменений, осуществляющихся на протяжении исторического развития любого языка.

Архаичность древнеиндийского языка сравнительно с другими индоевропейскими языками сильно переоценивалась языковедами XIX века. И если в одних элементах своей структуры он действительно характеризуется большой архаичностью, то в других элементах, напротив, он обнаруживает новообразования сравнительно с другими индоевропейскими языками.

Если мы предположим, что в указанных выше случаях всем индоевропейским языкам некогда было свойственно *a* и что это *a* сохранилось без изменения в древнеиндийском, то следует предположить, что в остальных индоевропейских языках оно в одних случаях сохранилось, а в других изменилось в о и в *e*. Но тогда встает вопрос, в каких условиях произошли эти последние изменения, так как звуки изменяются, как уже говорилось, закономерно, и не может быть,

---

[1] См. A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik indogermanischer Sprachen... 2-te Aufl., 1866.

[2] Ср., например, указание Боппа на то, что др.-инд. *a* имело в славянском языке ту же судьбу, что в греческом, так как чаще всего передается как *e* или о (Fr. Bopp, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gottischen und Deutschen. 2-te Aufl., B. I, Berlin, 1856, S. 133).

[3] См., например, Ф. Ф. Фортунатов, Sāmavēda, М., 1875.

чтобы в одном и том же языке, в одних и тех же фонетических условиях *a* в одних словах сохранилось, в других изменилось в о, а в третьих в *e*. Такое предположение было бы возможно, если бы *e*, о, *a* в тех языках, где все они имеются, наблюдались в различных положениях. О том, что в различных положениях такое „расщепление“ *a* на три разных звука вообще возможно, свидетельствует, например, авестийский язык, где *a*, унаследованное от общеиранского языка-основы, частью сохранилось, частью же изменилось в различных фонетических условиях: в *e* (после *y* перед *ĭ*, *y*, *e*, *j* следующего слога), в о (после губных согласных перед *u* следующего слога), в *ə* (перед носовыми и *vĭ*), в *i* (перед носовыми после *y*, *č*, *j*). Все эти изменения вполне понятны с фонетической точки зрения. Они объясняются уподоблением гласного по артикуляции соседним звукам, гласным и согласным.

Но различие гласных *e*, *o*, *a* в тех индоевропейских языках, где они соответствуют древнеиндийскому *a*, не объясняется положением гласного. Ср., например, ст.-слав. **вєрж — съворъ**, где *e* и о находятся в окружении одних и тех же согласных, или греч. ἄξων, лат. axis „ось“, лат. oculus, ст.-слав. **око** „глаз“ при др.-инд. ákṣi, где о и *a* в соответствии с древнеиндийским *a* находятся в начале слова перед задненебным согласным. Вследствие этого предположение о частичном изменении *a* на почве индоевропейских языков Европы в *e* и о совершенно отпадает. Напротив, вероятным становится предположение, что различие *e*, о, *a* унаследовано от индоевропейского языка-основы, а наличие одного *a* в древнеиндийском представляет собой новообразование, хотя и древнее, имевшее место задолго до появления письменности (поскольку *a* в соответствии с *e*, о, *a* других индоевропейских языков мы находим также в древних иранских языках, возможно, что изменение *e* и о в *a* произошло еще в индоиранском языке-основе). Для предположения, что *a* развилось из *e* и о, не требуется допущения случайности, незакономерности, непоследовательности звуковых изменений. Всякое *e* закономерно изменилось в *a*, и всякое о столь же закономерно изменилось в *a*.

То, что изменения происходили именно в таком направлении, подтверждается еще одним обстоятельством. В ряде индоевропейских языков в разные эпохи происходило смягчение задненебных согласных в переднеязычные палатализованные согласные в положении перед гласными переднего ряда (по отдельным языкам эти палатализованные согласные могут быть различны). Это смягчение, или палатализация, представляет собой проявление общей тенденции к ассимиляции звука по отношению к соседнему звуку. Гласные переднего ряда характеризуются подъемом средней части языка по направлению к переднему нёбу. Смягчение, или палатализация, согласного также состоит в подъеме средней части языка по направлению к переднему нёбу. При этом палатализация согласного может представлять лишь дополнительную артикуляцию при сохранении согласным основного места преграды, но может меняться и основное место преграды, перемещаясь в переднеязычную область, как это происходит и в данном случае. Интересно, что в древнеиндийском мы наблюдаем *c* в соответствии с ожидаемым *k*, *j* в соответствии с ожидаемым *g* в положении перед таким *a*, которому в других индоевропейских языках соответствует *e*. Ср., например, др.-инд. catúr, ст.-слав. и др.-рус. **четыре**, лит. keturì; др.-инд. pácasi, ст.-слав. **печеши** (в древнеиндийском 1-е л. ед. ч. также содержит *c*, т. е. имеет место форма pácāmi, но это — результат аналогии, подобно тому, как в ряде русских говоров наблюдается форма *ля́жу* под влиянием *ля́жешь*, *ля́жет* и т. д.); др.-инд. jánaḥ „род", греч. γένος, лат. genus. Повидимому, палатализация задненебного согласного имела в этом случае место еще тогда, когда здесь было *e*, затем это *e* изменилось в *a*, а смягченный согласный остался. О том, что вообще палатализация задненебных согласных имела место в древнеиндийском, свидетельствует то, что она наблюдается также и перед *i*, который здесь сохранился как гласный переднего ряда. Ср., например, jīváḥ, ст.-слав. **живъ**, лит. gývas „живой".

Таким образом, в современном индоевропейском языкознании прочно обосновано положение о наличии в индоевропейском языке-основе трех гласных (*e*, *o*, *a*), которые на

протяжении исторического развития языка совпали в индоиранских языках в одном *a*. Это положение, установленное основоположниками так называемой младограмматической школы Бругманном и Остгофом в 70-х годах прошлого века, стало затем прочным достоянием сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков.

Подобно совпадению *e*, о, *a* кратких в одном *a*, в индоиранских языках имело место и совпадение ē, ō, ā в одном ā, хотя, возможно, и в другую эпоху (об этом см. подробнее ниже). Ср. др.-инд. mātá, греч. μήτηρ, лат. mater „мать"; др.-инд. pitá, греч. πατήρ, лат. pater „отец" (в обоих случаях имеется в виду гласный конечного слога).

Приведенные выше примеры показывают, что в славянских языках краткое о соответствует не только древнеиндийскому *a*, но и латинскому и греческому *a* и о кратким. По-видимому, на почве общеславянского языка-основы оба гласных сблизились взаимно, поскольку древнеславянское о имело довольно открытый характер. Подобно совпадению *a* и о кратких в одном гласном о, еще на почве общеславянского языка-основы имело место совпадение *a* и о долгих в одном гласном *a* долгом. Ср., например, ст.-слав. мати, греч. μήτηρ (дорийск. μᾱ́τηρ); ст.-слав. даръ, греч. δῶρον и т. д. В германских языках, в свою очередь, о, *a* и ō, ā совпали, но так, что в системе кратких победило *a*, в системе же долгих гласных победило ō: ср. лат. hostis, др.-русск. *гость*, готск. gasts.

В тех примерах, которые мы рассмотрели сейчас с привлечением материала различных индоевропейских языков, один из сопоставляемых гласных обладает большей древностью и характеризует звуковую систему языка-основы, другой же представляет собой новообразование. Установление относительной древности сопоставляемых звуков привело, вместе с тем, к реконструкции архетипа.

§ 4. Наблюдаются, однако, случаи, когда все сравниваемые звуки представляют собой новообразования, развившиеся в различных родственных языках. Но так как между ними наблюдаются закономерные соответ-

ствия, эти различные звуки, несомненно, также восходят к общему первоисточнику, только этим первоисточником является какой-то звук, который в соответствующих условиях отсутствует в исторически засвидетельствованных языках. Так, например, в ряде случаев мы наблюдаем, что латинскому, греческому и германскому краткому *a*, славянскому о в древнеиндийском соответствует не *a*, как в примерах, рассмотренных выше, а краткое *i*. Ср., например, гласный первого слога в приведенном выше примере — др.-инд. pitá, греч. πατήρ, лат. pater, готск. fadar; или ст.-слав. стоѭ, стоꙗти, лат. status „поставленный", греч. στατός, др.-инд. sthitáḥ, греч. στάσις „состояние", др.-инд. sthítiḥ „постоянство". Поскольку в каждой группе приведенных примеров сравниваемые лексические единицы по своему звуковому составу соответствуют друг другу, а в некоторых элементах полностью совпадают, каждая из групп сравниваемых форм восходит к общему первоисточнику, существовавшему в языке-основе. Этот первоисточник, архетип, должен был содержать в своем звуковом составе какой-то звук, соответствующий приведенным здесь расходящимся гласным — лат., греч., герм. *a*, слав. о, др.-инд. *i*.

Поскольку этот звук на почве отдельных языков дал гласные, различные по своей артикуляции (в языках Европы гласный заднего ряда, в древнеиндийском гласный переднего ряда), предполагают, что это был неопределенный гласный среднего ряда (подобный тому, какой, например, образуется в русском литературном произношении на месте о и *a* во втором предударном, а также в заударных слогах, например, *гълава́*, *го́ръm*). В сравнительно-исторической фонетике индоевропейских языков этот неопределенный гласный принято обозначать ə (подобно тому, как обозначают неопределенный гласный среднего ряда и среднего подъема в фонетической транскрипции, принятой для многих языков). Следовательно, приведенные выше лексические единицы реконструируются для индоевропейского языка-основы в следующем виде: *pətḗr „отец", *sthətós „поставленный" (в последнем случае в санскрите мы находим придыхательное *th*; в других языках придыхательность была утрачена; конечное латинское *-us* в соответствии с греческим *-os* объясняется изменением

латинского *о* в *u* в конечном закрытом слоге; это изменение имело место уже в эпоху, засвидетельствованную памятниками).

Возможность наличия в индоевропейском языке-основе в соответствующих примерах именно неопределенного гласного *ə подтверждается фонетическими условиями, в которых он обнаруживается. Этот звук обычно наблюдается в безударном положении, а именно в первом предударном слоге, вследствие чего выдвигается предположение, что первоначально он развился еще на почве индоевропейского языка-основы именно в этих условиях в результате редукции других гласных звуков (как предполагается, гласных *ē*, *ō*, *ā*), ср. др.-инд. sthitá — от глагольного корня sthā, ст.-слав. стоѭ, стоıати при образовании от того же корня стати.

Неопределенный гласный среднего ряда среднего подъема легко получается в результате редукции различных гласных в безударном положении и на почве различных исторически засвидетельствованных языков, в частности, и русского, по крайней мере, в большей части акающих говоров. Только в русском языке обычно такая редукция наблюдается не в первом предударном слоге, а в других слогах (хотя некоторые лингвисты полагают, что первоначально в русском языке очень сильная редукция охватывала все безударные слоги, в том числе и первый предударный, где в современных говорах обычно наблюдается полновесный гласный). Правда, как показывают приведенные примеры, в некоторых формах, где имеется *ə, ударение падает на него (место ударения в ряде случаев в различных индоевропейских языках одно и то же, что заставляет предполагать то же место ударения и в индоевропейском языке-основе). Но это, повидимому, результат позднейших изменений, первоначально же *ə развивалось в безударном положении (в появлении звука такой артикуляции под ударением фонетически нет ничего невозможного; в ряде языков и под ударением наблюдается гласный среднего ряда и среднего подъема, только он, конечно, не является редуцированным). Подробнее вопрос о возможных фонетических изменениях еще на протяжении исторического развития индоевропейского языка-основы будет рассмотрен ниже.

§ 5. Реконструируя формы индоевропейского языка-основы, мы должны сопоставлять данные по возможности всех индоевропейских языков, в особенности наиболее древних по засвидетельствованию их в письменности и наиболее архаических по своей структуре представителей всех групп данного языкового семейства, так как упущенные из поля зрения языки во многих случаях могли бы внести поправки к тем выводам, которые были сделаны на основе сравнения немногих языков. Правда, мы выше привлекали для сравнения формы немногих языков, но делали это лишь для того, чтобы избежать излишней перегрузки изложения; к тому же даны были такие примеры реконструкции форм, когда привлеченный сверх указанного материал не внес бы существенных изменений в ту реконструкцию, которая была осуществлена. В особенности опасно делать заключения о форме языка-основы в результате сопоставления форм двух каких-нибудь случайно выхваченных из общей массы родственных языков, поскольку в различных языках часто имеют место параллельные, но не связанные взаимно звуковые изменения.

Так, например, сравнивая формы числительного „сто" в греческом и в древнеиндийском языках, мы видим, что они содержат один и тот же корневой гласный *a*: греч. ἑκατόν, др.-инд. çatám. Корнем здесь является греч. κατ-, др.-инд. çat-, формы суффикса — в греч. -ον и в др.-инд. *-am* — строго соответствуют друг другу (см. выше), в греческом языке имеется приставка ἑ-, отсутствующая в древнеиндийском.

Закономерное соответствие наблюдается и в отношении начального согласного: в ряде случаев мы обнаруживаем в западных индоевропейских языках задненебные взрывные согласные в соответствии с переднеязычными фрикативными согласными восточных индоевропейских языков (так, например, западному *k* в восточных языках соответствует *s* или *š*). Предполагают, что эти различные для разных индоевропейских языков согласные развились из общего первоисточника — существовавших в индоевропейском языке-основе средненебных согласных. Гласный здесь для греческого языка и санскрита один и тот же, и если бы нам были известны лишь формы этих двух языков, мы восстановили бы форму соответствую-

щего числительного для индоевропейского языка-основы в виде *k̂atóm (отбросив приставку, засвидетельствованную лишь в греческом языке)[1]. Но, привлекая материалы других индоевропейских языков, мы увидим ошибочность такой реконструкции. Так, мы находим, например, в латинском языке centum (из более раннего centom), в литовском языке šimtas, в старославянском и древнерусском съто, в готском hund. Латинский, литовский и готский языки указывают на наличие носового согласного, а также таких гласных, которые не могли соответствовать греческому и санскритскому *a*; славянские языки дают ъ, которое также закономерно не соответствует греческому и санскритскому *a*.

Наличие в этих языках весьма разных по качеству гласных свидетельствует о том, что в индоевропейском языке-основе в корне рассматриваемого числительного был представлен гласный весьма неопределенного качества, скорее всего редуцированный (подобно тому, как редуцированным являлось первоначально и *ə). Латинский, готский и литовский языки указывают на наличие в корне носового согласного, скорее всего *m* (латинское и готское *n* легко может объясняться ассимиляцией носового губного последующему переднеязычному взрывному согласному *t*). Следует заметить, что корневой слог числительного „сто" являлся, повидимому, еще в индоевропейском языке-основе первым предударным, а в этом слоге, как уже говорилось выше, в определенный период исторического развития языка-основы особенно сильна была редукция. Ср. др.-инд. çatám, греч. ἑκατόν, русск. *сто*, явно указывающие на ударение конечного слога (в случае ударного ъ в современном русском языке должно было получиться **сото*, а не *сто*). Отступает от этого лишь литовское šimtas.

Выдвигается предположение, что редукция гласного в данном случае была настолько сильна, что приводила к полной утрате его (т. е. редукция до нуля). В этих условиях сонорный согласный *m*, окруженный шумными согласными (*k* и *t*),

[1] Посредством *k̂* (а также *k'*) обозначается средненебный (иногда его рассматривают как смягченный задненебный) согласный в индоевропейском языке-основе.

неизбежно должен был если не утратиться или оглушиться (а это было для него почти равносильно утрате, так как сонорный безголосый согласный артикулируется очень слабо и бывает почти неслышим), то стать слоговым. Древнеиндийское и греческое *а* из слогового носового согласного легче могут быть объяснены, так как неслоговые носовые согласные обычно в этих языках своего качества носовых согласных не теряют. Редукция гласного до нуля и переход сонорного согласного в слоговой наблюдаются в безударном положении в различных языках, в частности, и в современном русском (ср., например, в беглой речи *пр̥дафш̅'йца* „продавщица“). Слоговой характер чаще всего у нас приобретает *р*, затем *л*, реже носовые *м* и *н*. Таким образом, для индоевропейского языка-основы числительное „сто“ восстанавливается в форме *k̑m̥tóm. Ф. Ф. Фортунатов предполагал, что гласный в рассмотренных условиях не редуцировался до нуля и что перед *m̥* имел место очень слабый редуцированный гласный (Фортунатов обозначал его *α*), но и он считал, что *m* в этих условиях является слоговым и что *α* носит неслоговой характер. Правда, как и в рассмотренных выше случаях с *ə, слоговой сонорный, развившийся первоначально в безударном положении, мог в результате различных позднейших процессов еще на почве общеиндоевропейского языка-основы являться и под ударением. Ср., например, др.-инд. vŕ̥kaḥ, греч. λύκος, лат. lupus, лит. vil̃kas, ст.-слав. **вльвъ**, др.-русск. **вълкъ**, серб. *ву̑к* „волк“.

Здесь изложена классическая теория редукции безударных гласных в общеиндоевропейском языке. В последнее время выдвигается другая теория, состоящая в том, что имела место лишь одна ступень редукции, именно нулевая. Согласно этой теории гласный редуцируется до нуля; в том же случае, если в непосредственном соседстве с ним находился сонорный, последний становился слоговым. Что же касается особой ступени редукции долгих гласных *ə*, то она отвергается совсем, соответствие же древнеиндийского *i* греческому и латинскому *a*, славянскому *о* объясняется не развитием их из общего источника, а тем, что *i* в соответствующих древнеиндийских формах представляет собой морфологический элемент, отсутствующий

в других индоевропейских языках. Так, в древнеиндийском pitá „отец" корнем является лишь *p-* (в соответствии с греческим и латинским *pa-*, ср. греч. πατήρ, лат. pater), т. е. нулевая ступень корня, совсем без гласного, *i-* же представляет собой суффиксальный элемент, развившийся специально на древнеиндийской почве (ср. гата-авест. *ptā*, впрочем, в младшей Авесте pitā)[1].

С этой точки зрения иное объяснение получают восстанавливаемые для общеиндоевропейского языка долгие сонанты (r̄, l̄, n̄, m̄, ī, ū). Они рассматривались обычно как результат редукции слога, содержавшего сочетание долгого гласного *e*, *o*, *a* с неслоговым сонантом, т. е. как сочетание соответствующего сонанта с предшествующим или последующим *ə*; так, например, *ī* рассматривалось как восходящее к *əi̯* или *i̯ə*, представляющие собой *ēi̯*, *ōi̯*, *āi̯* или *i̯ē*, *i̯ō*, *i̯ā* на ступени редукции (так, например, *-i* в ст.-слав. именительном падеже единственного числа богыни „богиня" рассматривалось как рефлекс ī < *-i̯ə*, представлявшего собой ступень редукции *i̯ā*). С точки зрения новой теории, отвергающей две ступени редукции и, следовательно, ступень *ə*, долгий сонант представляет собой рефлекс сочетания обычного (краткого) сонанта с последующим общеиндоевропейским ларингальным, т. е., например, ī < *iḫ*, r̄ < r̥ḫ и т. д. ḫ — общее обозначение различного вида ларингальных[2] (относительно ларингальных см. подробнее приложение к настоящему разделу).

§ 6. Реконструируя формы языка-основы, не засвидетельствованные письменными памятниками, мы должны опираться на данные, доставляемые исторической фонетикой отдельных родственных языков. Эти данные позволяют нам судить о том, как и в каком направлении осуществляются фонетические изменения, насколько быстро происходят те или иные изменения на протяжении периодов, засвидетельствованных письменными памятниками. Вместе с тем эти исторические изменения позволяют

---

[1] См. Т. Barrow. The Sanskrit Language. Лондон, 1955, стр. 104—105.
[2] См. Т. Barrow. Указ. соч., стр. 86.

судить о том, какие звуковые изменения вообще возможны, какими признаками вообще может характеризоваться звуковая система языка. Ведь язык-основа не является какой-то фикцией, созданием воображения исследователя. Это был реальный язык, некогда существовавший и характеризовавшийся теми признаками, какими вообще может характеризоваться реальный язык. Не следует думать, что в индоевропейском языке-основе были только такие звуковые отношения, которые восстанавливаются теоретически и которых не могло быть ни в каком реально известном, исторически засвидетельствованном языке.

Мы восстанавливаем, например, для индоевропейского языка-основы наличие звонких придыхательных согласных. В греческом языке им соответствуют глухие придыхательные. Но звонкие придыхательные реально представлены в древнеиндийском, т. е. характерны для определенного конкретного языка; они известны и в современных живых индийских языках. Ср., например, греч. φέρω, др.-инд. bhárāmi. В древнеиндийском имеются также и глухие придыхательные, но соответствия им в других индоевропейских языках не вполне ясны (ср., например, др.-инд. khid „поражать“, которое, возможно, соответствует латинскому caedō „рублю“). Поэтому относительно этих придыхательных ведутся споры: некоторые лингвисты полагают, что эти звуки были свойственны и индоевропейскому языку-основе, по крайней мере, часть из них (например, *kh*); другие же лингвисты полагают, что глухие придыхательные развились специально на индийской почве.

В настоящее время, впрочем, некоторые лингвисты оспаривают и общеиндоевропейский характер звонких придыхательных. Они восстанавливаются на основании наличия их в древнеиндийском языке. Принимая во внимание отсутствие их в большинстве индоевропейских языков (они отсутствуют даже в авестийском, ср., например, авест. bav-, bu-, др.-инд. bhav — bhū („быть“), а также то обстоятельство, что звонкие придыхательные вообще в языках наблюдаются редко, выдвигают иногда предположение, согласно которому звонкие при-

дыхательные представляют собой результат развития специально на индийской почве.

Для индоевропейского языка-основы восстанавливается ряд слоговых сонорных согласных. Слоговые сонорные согласные мы также находим в ряде исторически засвидетельствованных и ныне живых языков. Наиболее широко встречается *r* как отличающееся само по себе наибольшей сонорностью. Оно возможно и в качестве самостоятельной фонемы, т. е. вне зависимости от позиционных условий. Так, в чешском и в сербском языках мы встречаем его даже под ударением. Ср., например, чеш. hrdlo „горло“, серб. *гр̏ло* „горло, шея“ (в обоих случаях ударное слоговое *r̥*). Широко распространено слоговое *r̥* как под ударением, так и без ударения и в древнеиндийском языке. О независимости *r̥* от фонетического положения в сербском языке говорит тот факт, что оно возможно не только под ударением между согласными, но и в соседстве с гласными, а это вообще наблюдается очень редко. Ср. *гр̏оце* „горлышко“ (*r̥* слоговое в соседстве с *о*). Реже встречается под ударением *l̥* слоговое. Мы находим его, например, в чешском языке, а также в диалектах сербского языка. Ср. чеш. vlk (с слоговым *l̥*), сербск. диал. vl̑k „волк“. Возможно слоговое *l̥* и в древнеиндийском, хотя наблюдается оно редко (ср. kl̥pta „остриженный“).

Реже встречаются слоговые *n̥* и *m̥*, но возможны и они. Слоговые сонорные вообще шире распространены в определенных фонетических условиях, а именно в безударных слогах, в том случае, если они окружены шумными согласными, т. е. согласными меньшей звучности, а находившиеся рядом с ними гласные редуцируются до нуля, или же если имеются два сонорных с редуцирующимся гласным между ними. В таких условиях все сонорные согласные могут становиться слоговыми и в русском языке. Ср., например, *прдафш̄'и́ца* „продавщица“, *з'д'е́л̥̄ а* „сделала“, *а̄нывáн̥̄а* „Анна Ивановна“, *сáм̥̄у* „самому“ (дат. п.). В индоевропейском языке-основе, как уже было сказано выше, слоговые сонорные тоже развивались первоначально в определенных фонетических условиях, в безударном положении (именно в первом предударном слоге), в соседстве с шумными согласными при очень сильной редук-

ции соседних с сонорными гласных. Лишь затем, вследствие изменения ударения, слоговые сонорные могли терять связь с позиционными условиями и приобретать самостоятельность, что имело место еще в языке-основе.

Для индоевропейского языка-основы восстанавливаются различные редуцированные гласные, например, ə. Но такого же рода редуцированные гласные, возникающие в определенных фонетических условиях, согласно классической теории, мы встречаем и на почве исторически засвидетельствованных языков. Результатом редукции безударных гласных является, повидимому, и аканье, возникшее в определенный период истории русского языка и охватившее значительную часть русских говоров. Как мы видели выше, различные индоевропейские слоговые элементы, являвшиеся первоначально в безударном положении, могут затем выступать и под ударением. В русском языке *а*, сменившее в первом предударном слоге о, также сохраняется и в том случае, если на него падает ударение в результате его передвижения. Ср., например, широко распространенные в южновеликорусских говорах формы типа *ла́виш* „ловишь", *са́лиш* „солишь" и т. п. В соответствующих глаголах ударение некогда падало в настоящем времени на окончание. Поэтому в первом предударном слоге в эпоху возникновения аканья о изменилось в *а*. Затем, под влиянием глаголов с подвижным ударением (типа *хожу́ — хо́дишь*) эти глаголы также приобрели подвижное ударение (оно падает на окончание в 1-м лице ед. ч. и на основу в остальных лицах). Но гласный первого предударного слога, став ударным, сохранил свое качество, полученное в безударном положении.

В данном случае это сохранение качества облегчается тем, что в русском языке и до возникновения аканья, а также в окающих говорах, под ударением возможно не только о, но и *а*. Ср. подобное явление в латинском языке, где в результате начального ударения имела место редукция безударных слогов, причем disfacilis (ср. facilis „легкий") дало difficilis „трудный", а после начала действия акцентологического закона, согласно которому ударение не может падать дальше третьего слога от конца, ставшее ударным корневое *i* сохра-

нило свое качество[1]. Сходные процессы, связанные с редукцией безударных слогов, обусловленной закреплением динамического ударения на корневом слоге, наблюдаются и в германских языках. Так, например, в немецком языке в безударных слогах встречается только редуцированный гласный *ə*, который развился здесь вместо различных гласных как кратких, так и долгих. Ср., например, современные формы мн. ч. им. падежа Tage, Gäste и древненемецкое tagâ, gesti.

Определенную параллель между общеиндоевропейской редукцией, в результате которой возникло, между прочим, и общеиндоевропейское *ə*, и русским аканьем проводит и В. А. Богородицкий[2]. Правда, существенно отметить, что развившееся в безударном положении *ə* не имело (при своем возникновении) эквивалентных гласных, функционировавших и ранее в любом положении, между тем как в русских акающих говорах наряду с *а* из *о* первого предударного слога существовало этимологическое *а* под ударением; наряду с латинским *i* из различных кратких гласных в безударном положении существовало этимологическое *i* и под ударением.

Сложнее найти в исторически засвидетельствованных языках эквиваленты различным степеням редуцированных гласных. Ф. Ф. Фортунатов выдвинул предположение, что помимо *ə*, развившегося первоначально в результате редукции долгих гласных *ē*, *ō*, *ā*, существовала и вторая степень редукции; этот редуцированный гласный, который Ф. Ф. Фортунатов обозначал *α*, развивался из кратких гласных *e*, *o*, *a* в тех же условиях, в каких развивалось *ə* из *ē*, *ō*, *ā*. Большинство зарубежных лингвистов в то время, когда Фортунатов выдвинул указан-

---

[1] Согласно наиболее распространенной точке зрения, в италийских языках еще в дописьменную эпоху развилось сильное динамическое ударение на начальном слоге, результатом которого явилась сильная редукция гласных во всех слогах, кроме начального. В более поздний период ударение в латинском языке переместилось и сосредоточилось в пределах двух слогов — предпоследнего и третьего с конца. Некоторые лингвисты предполагают иную трактовку латинского ударения, но она является спорной. Ср. И. М. Тронский. Очерки из истории латинского языка. М.—Л., 1953.

[2] См. В. А. Богородицкий. К хронологии и диалектологии фонетических процессов..., 1900.

ное положение[1], считало, что в результате редукции кратких гласных в соседстве с сонорными являются просто слоговые сонорные, в соседстве же с шумными имела место еще в индоевропейском языке-основе редукция до нуля. Впрочем, в настоящее время и зарубежные лингвисты не отрицают появления редуцированного гласного на месте краткого.

Согласно указанию Фортунатова, мы можем на основании свидетельств славянского материала отличать случаи, когда α предшествовало слоговому сонорному согласному и когда оно следовало за ним. Именно с этим связано различие двух типов сочетаний редуцированных с плавными в положении между согласными в древних славянских языках (особенно ярко выступает оно в древнерусском языке, ср. случаи типа *търгъ*, *вълкъ*, *вьрхъ*, с одной стороны, *кръвь*, *глътати*, *сльза* — с другой). Но возможны ли реально эти две ступени редуцированного гласного — $ə$ и α — тем более, что вследствие наличия в соседстве с α слоговых сонорных сам α (если он находится в соседстве с сонорными, а не шумными) рассматривался Фортунатовым как неслоговой? Это остается сомнительным и не получает ясного подтверждения в фактах современных живых языков (а мы должны обращаться именно к ним, так как языки, исторически засвидетельствованные лишь письменными памятниками, не могут дать всех возможных звуковых нюансов, вследствие ограниченных возможностей графики и орфографии). Впрочем, различные оттенки редуцированных гласных возможны и в живых современных языках.

§ 7. Реконструируя формы, характеризующие язык-основу, мы должны учитывать те изменения, которые имели место в сравниваемых родственных языках, как на протяжении эпох, засвидетельствованных письменными памятниками, так и в дописьменные времена. Так, например, сравнивая лат. centum „сто“ с греч. ἑκατόν, др.-инд. çatám, ст.-слав. **съто**, готск. hund и т. д., мы должны учитывать, что латинское *c* в положении перед гласными переднего ряда стало произноситься как переднеязычная свистящая глухая аффриката поздно, уже в эпоху распада Римской империи, и то не повсеместно, а на терри-

[1] См. Über die schwache Stufe des **a**-Vokals, KZ XXXVI.

тории Галлии (тогда как в древнем латинском языке, а также в классическую эпоху и даже позднее в этих условиях произносилось задненебное *k*, хотя и несколько сдвинутое вперед, может быть, до средненебной области). Мы должны также учитывать, что гласный конечного слога в древнем латинском языке был не *u*, а *o* (*u* из *o* развилось на протяжении истории латинского языка в конечном закрытом слоге). Следовательно, сопоставлять с формами других индоевропейских языков мы должны форму kentom, а не centum. Или, например, сравнивая лат. tinguō, tingo с греч. τέγγω „смачиваю", мы должны учитывать и имевшее место в латинском языке еще в дописьменные времена изменение *e* в *i* в положении перед задненебным *n*. Последнее в данном случае приобретало задненебный характер под влиянием последующего задненебного *g*.

Сопоставляя славянские формы, содержащие переднеязычные шипящие и свистящие, с формами других индоевропейских языков, мы должны иметь в виду, что те и другие согласные (все шипящие и часть свистящих) развивались на почве общеславянского языка-основы в определенных фонетических условиях, именно в положении перед гласными переднего ряда (частью и после них), а также в сочетании других согласных с среднеязычным согласным *j* (в последнем случае, а также в изменениях свистящих наблюдаются некоторые различия в отдельных славянских языках). В качестве среднеязычного согласного *j* оказывал еще на почве общеславянского языка очень сильное ассимилирующее воздействие на все предшествующие согласные, так как палатализация состоит, как известно, в подъеме средней части спинки языка по направлению к переднему нёбу. При палатализации в результате воздействия последующего *j* часть согласных не только приобретала эту дополнительную артикуляцию, но и меняла основное место преграды; *j* же во всех случаях, подвергаясь полной ассимиляции по отношению к предшествовавшему палатализовавшемуся согласному, сливался с ним и совершенно исчезал. Сравнивая соответствующие славянские формы с формами других индоевропейских языков, мы должны восстановить те согласные, из которых развились шипящие и свистящие. Когда речь идет о положении шипящих или свистящих перед гласными перед-

него ряда, всегда подразумевается их развитие из задненебных согласных. Так, например, сопоставляя форму числительного *четыре* с литовским keturì, лат. quattuor и т. д., мы должны восстановить *k* на месте *č*, развившегося из *k* в положении перед *e*; сопоставляя прилагательное *живъ* с лит. gývas, лат. vivus „живой" (из *gu̯iu̯os), мы должны восстановить *g* на месте *ž*, развившегося в положении перед *i*. Сравнивая такую форму, как им. п. мн. ч. влъци „волки", с такой формой, как греч. λύκοι, мы должны восстановить *k* на месте *c*, развившегося из *k* в положении перед *i* дифтонгического происхождения, именно из дифтонга *-oi̯*, соответствующего греческому дифтонгу *-oi̯* в приведенной выше форме; *i* могло развиться и из дифтонга *-ei̯*, но в таком случае *k* перед ним изменилось бы не в *c'*, а в *č'*, так как перед старыми гласными и дифтонгами переднего ряда имела место так называемая первая палатализация, в результате которой развивались шипящие согласные. Перед более же поздними гласными переднего ряда, как в данном случае, где *i* развилось из старого дифтонга *oi̯* с первым компонентом заднего ряда, имела место так называемая вторая палатализация, в результате которой развивались свистящие.

Восстановление задненебных согласных на месте исторически засвидетельствованных шипящих и свистящих достигается во многих случаях сравнением между собой фактов одного и того же славянского языка без обращения к материалу других индоевропейских или других славянских языков, которые лишь подтверждают данные, получаемые на славянском материале. Так, например, сравнивая существительное ржка и отыменный глагол поржчити, мы видим, что *k*, выступающее перед гласным заднего ряда, сменяется на *č'*, если за ним следует гласный переднего ряда. Ср. также влькъ, зват. форма вльче. Здесь мы применяем особый исследовательский прием, так называемую „внутреннюю реконструкцию". В некоторых случаях мы находим шипящие согласные в соответствии с задненебными других форм от того же корня и в положении перед гласным заднего ряда *a*. Ср., например, мльчати — млькнжти. Но здесь мы вправе предполагать раз-

витие *a* в определенных условиях из некогда существовавшего гласного переднего ряда. Материал для такого предположения нам дают славянские языки, а другие индоевропейские подтверждают это. Глагол мльчати (др.-русск. мълчати) принадлежал к так называемому IV классу, характеризовавшемуся наличием в основе настоящего времени показателя *-i-* (ср. мльчиши, мльчитъ и т. д.). В инфинитиве глаголов этого класса мы находим в качестве показателя *-i-* или *-ĕ-*, но последнее лишь в том случае, если перед ним не шипящий согласный и не *j* (ср. сѣдѣти, видѣти, зьрѣти, но мльчати, стоıати). Если же глагольная основа оканчивается на *j* или шипящий, мы находим в качестве показателя инфинитива *-a-*. На основании этих отношений выдвигается предположение, что некогда и после *j* и шипящего было не *-a-*, а *-ĕ-*, но в этих условиях (т. е. после *j* и шипящих) оно еще в дописьменные времена подвергалось изменению в *-a-*. Поскольку же в соответствии с шипящими в указанном положении в образованиях от того же корня перед другими гласными заднего ряда, а также и перед *a* иного происхождения наблюдается наличие задненебных согласных, постольку выдвигается предположение, что первоначально и перед этим *ĕ*, из которого развилось *a*, также были задненебные согласные, которые подверглись смягчению в шипящие, когда стал действовать закон первой палатализации. Этому *ĕ* (после шипящих и после *j*, изменившемуся в *a*, а в остальных условиях сохранившемуся) в других индоевропейских языках соответствует *ē*, из которого, как можно думать, на славянской почве и развилось *ĕ*. Ср., например, ст.-слав. сѣдѣти, лат. sēdēre (существенно обратить внимание лишь на основу, суффиксы инфинитива в различных индоевропейских языках развились независимо друг от друга). Поскольку соответствующие формы родственных языков восходят к общему источнику, мы вправе предполагать, что это *ĕ* восходит к общеиндоевропейскому *ē*. Возможно, что *a* после шипящих и *j* развилось не из *ĕ*, а непосредственно из этого *ē* и лишь впоследствии *ē*, не перешедшее в *a* в указанных условиях, дало на славянской почве *ĕ*. Впрочем, поскольку обще-

славянское ě было, повидимому, по крайней мере в ранний период развития общеславянского языка-основы, открытым передним долгим гласным, т. е. гласным, достаточно близким к ē, постольку вопрос о последовательности развития ē не имеет принципиального значения[1].

§ 8. Рассматривая различные родственные языки в их историческом развитии, как засвидетельствованном, так и не засвидетельствованном письменными памятниками, мы замечаем, что одни и те же или подобные фонетические процессы происходили в различных языках, хотя и в различные эпохи. Мы должны остерегаться того, чтобы подобные явления, без исследования их во всей их конкретной и своеобразной сложности, относить к явлениям, имевшим место или по крайней мере начавшимся еще на почве индоевропейского языка-основы. Явления сходные могут осуществляться на почве отдельных родственных языков как в силу некоторых общих предпосылок, заложенных еще в языке-основе, так и в силу того, что некоторые из таких процессов связаны с общими закономерностями развития звуковой стороны человеческой речи и наблюдаются в самых различных и не родственных друг другу языках.

Выше уже отмечалось независимое развитие $\underset{\circ}{n} > a$ в греческом языке и в индо-иранских языках (ср. лат. centum, лит. šim̃tas, греч. ἑκατόν, др.-инд. çatám, авест. satəm). Можно указать и на ряд других явлений.

Во многих индоевропейских языках, но в различные эпохи их развития, имела место палатализация согласных в положении перед гласными переднего ряда. Мы находим ее, например, и в древнеиндийском, и в славянских языках, и в романских. Но в различных языках она осуществлялась не в одну и ту же эпоху, не всегда в одних и тех же условиях и протекала в несколько различных формах. И здесь также, если не учитывать материала всех индоевропейских языков и не исследовать специфику процесса в каждом языке, легко принять за одно и то же явление и отнести к одной эпохе раз-

[1] Большой степенью открытости ē характеризовалось и в некоторых других индоевропейских языках, например в греческом.

вития языка-основы то, что относится к различным эпохам и языкам.

В древнеиндийском и в славянских языках происходило смягчение задненебных согласных в переднеязычные палатализованные шипящие в положении перед гласными переднего ряда. Этими шипящими являются в славянских языках *č'*, *ž'*, в древнеиндийском *c*, *j* (т. е., если пользоваться той же транскрипцией, что и для славянских языков, $=$ *č*; *dž'*). В древнеиндийском, кроме того, имеются шипящие придыхательные *ch*, *jh*, которых нет в славянских языках, поскольку в них вообще нет придыхательных; ср. ст.-слав. пекж — печеши, др.-инд. pakvá „вареный" — pácāmi, pácasi „я варю", „ты варишь" (*c* в 1-м лице по аналогии к остальным лицам, *a* перед окончанием 2-го лица, как уже было сказано, из *e*); ст.-слав. живъ, др.-инд. jīváḥ. На первый взгляд может показаться, что в древнеиндийском эта палатализация осуществляется в несколько иных формах: *k* дает *č* в обоих языках, но *g* дает в славянской области *ž'* (звонкий фрикативный согласный), а в древнеиндийском *j* (звонкую аффрикату). Тем не менее, можно думать, что и в общеславянском языке-основе первоначально *g* дало аффрикату *dž'*, которая лишь позднее (но еще на почве общеславянского языка) в результате утраты затвора изменилась в фрикативный согласный. Не вполне параллельное в конечном итоге развитие глухой и звонкой аффрикаты объясняется вообще меньшей напряженностью звонких согласных сравнительно с глухими, вследствие чего звонкая аффриката легче могла утратить затвор. Утрата эта не является обязательной для всех языков. В индийских языках звонкая аффриката не только сохранилась в древнеиндийском в эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками, но и дожила до современных индийских языков. Ср. др.-инд. jīváḥ „живой", бенгальск. jīvan „жизнь".

В индийских языках это смягчение осуществилось задолго до создания ведийской литературы, начавшей складываться предположительно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Смягчение отражается не только в классическом санскрите, но и в ведийском языке, и даже в иранских языках, причем в них, как и в санскрите, оно наблюдается также

перед *a* из *e*, следовательно, должно было осуществиться раньше изменения $a > e$, которое произошло еще на почве общеиндо-иранского языка-основы. Ср. авест. čaϑwar, čatur „четыре“, ǰītay- „жизнь“ и т. п.

В славянских языках соответствующее явление также имело место задолго до появления письменности, так как закон первой палатализации (смягчение задненебных в шипящие) уже не действовал в эпоху начала второй палатализации, которая наступила тоже до появления у славян письменности (следует, правда, иметь в виду, что славянская письменность возникала значительно позднее, чем индийская). Однако, поскольку невозможно установить абсолютную хронологию явлений, происшедших до появления письменности, у нас не было бы гарантий для отнесения первой палатализации ко времени позднейшему, чем смягчение задненебных в индо-иранских языках, если бы мы не имели показаний других индоевропейских языков. Но сопоставление славянских форм с формами наиболее близких к славянским балтийских языков показывает, что палатализация осуществлялась в славянских языках независимо от балтийских, и поэтому мы вряд ли можем предполагать, чтобы это явление в языке славян было связано с соответствующим явлением в языке предков индийцев и иранцев, не говоря уже об общеиндоевропейском языке. Сравнивая такие формы, как ст.-слав. четыре, лит. keturì, ст.-слав. живъ, лит. gývas, мы видим, что в литовском языке задненебные согласные не палатализуются и сохраняют свой облик в положении перед гласными переднего ряда до настоящего времени. Эти задненебные слегка, конечно, смягчаются, но не переходят в согласные, отличающиеся по своей основной артикуляции.

Наконец, палатализация задненебных согласных с переходом их в переднеязычные имела место и в романских языках (частью еще и в латинском языке), но поздно. О позднем смягчении, помимо свидетельства самих латинских памятников, а также показаний соседних языков, говорит и тот факт, что смягчение это по-разному отражается в различных романских языках. При этом глухой и звонкий задненебные согласные развиваются не во всех отношениях параллельно. Так, в итальянском языке мы находим на месте *k* перед гласными переднего

ряда шипящий согласный *č*, а в старофранцузском и старопровансальском свистящий *c* (во французском языке аффриката впоследствии теряет затвор, и в современном французском языке мы находим *s*, орфографически — *c*). Ср. итал. cento, пров. cen(t), фр. cent „сто“. Таким образом, если взять западнороманские языки, то мы наблюдаем картину, подобную той, какая имеет место в эпоху развития второй палатализации в славянских языках. В общеславянском языке-основе в результате второй палатализации *k* изменилось в *c'* перед теми передними гласными, которых не было в эпоху действия первой палатализации, а именно перед *ě* и *i*, развившимися из старого дифтонга с первым задним компонентом *-oį*, а также перед любыми гласными переднего ряда во вновь заимствованных словах. Ср. ст.-слав. цѣна, лит. kainà; ст.-слав. влъци; греч. λύκοι; ст.-слав. црькы (др.-русск. *цьрькы*), др.-в.-нем. kirihha „церковь“ (это слово заимствовано из греческого языка через германские).

Но судьба звонкого задненебного согласного в романских языках отлична от судьбы его в эпоху второй палатализации в славянских языках. В славянских языках *g* изменилось параллельно *k* в звонкую аффрикату *dz'* с последующим изменением в фрикативное *z*, отчасти уже в эпоху, засвидетельствованную памятниками (ср. ст.-слав. богъ, им. п. мн. ч. боѕи, бози). В романских языках *g* перед гласными переднего ряда еще в народной латыни дало среднеязычное фрикативное звонкое *j*, которое кое-где сохранилось, а в большинстве романских языков впоследствии изменилось через ступень *dj* в звонкую аффрикату *dž*. Ср. лат. gener, итал. genero (фонетически dž'enero) „зять“. Во французском языке на протяжении его истории эта аффриката, как и глухая *c*, утратила затвор и изменилась в звонкий фрикативный шипящий согласный. Ср., например, фр. gendre (фонетически žãdr) „зять“.

В некоторых из романских языков (именно в французском, в севернопровансальском) задненебные согласные подверглись палатализации и изменению в переднеязычные шипящие аффрикаты также в положении перед *a*, которое было здесь более передним по образованию. Во французском языке эти аффрикаты, как и в указанных выше случаях, утратили затем

затвор и дали фрикативные согласные *š*, *ž*. Ср., например, лат. causa „причина“, сев.-пров. chauza, фр. chose „вещь“; лат. camera, фр. chambre (ст.-фр. čambre) „комната“ (*b* развилось здесь как переходный звук между *m* и *r*, оказавшимися в непосредственном соседстве в результате утраты безударного *e*); лат. gamba, фр. jambe „нога“ (фонетически žãb, ст.-фр. džambe).

В славянских языках, в отличие от романских, вторая палатализация осуществлялась не только в положении перед гласными переднего ряда, но и после некоторых гласных переднего ряда (хотя и с меньшей последовательностью). Ср. ст.-слав. дѣвица < *děvika.

Приведенные примеры показывают, что явления палатализации задненебных согласных протекали в целом ряде индоевропейских языков в весьма различных формах и для этих явлений невозможно установить общий источник, хотя некоторые общие тенденции к палатализации согласных в определенных условиях могли быть заложены в индоевропейском языке-основе.

Были попытки предположить в индоевропейском языке-основе наличие явлений палатализации, подобных тем, которые мы обнаруживаем в отдельных группах индоевропейских языков. Так, например, одно время Хирт пытался связать различия в судьбе задненебных, наблюдаемые в разных группах индоевропейской семьи языков, с позиционными изменениями задненебных в самом индоевропейском языке-основе[1].

Как известно, все индоевропейские языки могут быть подразделены по судьбе задненебных согласных (независимо от наблюдающихся в отдельных индоевропейских языках явлений палатализации в определенных фонетических условиях) на две группы, условно обозначаемые kentom и satəm. Для обозначения этих групп используется наименование числительного „сто“ в латинском и авестийском языках. К группе kentom относились греческий, италийские, германские, кельтские языки, тохарский, клинописный хеттский,

[1] См. H. Hirt. Bezzenbergers Beiträge, XXIV, 1900.

к языкам satəm — индо-иранские, славянские, балтийские языки; иероглифический хеттский и др.[1] Деление это основано на том, что, с одной стороны, задненебным согласным одних языков (kentom) в ряде случаев соответствуют переднеязычные согласные другой группы языков (satəm), с другой стороны, задненебным согласным в группе satəm соответствуют задненебные лабиализованные согласные или же губные в группе kentom. Ср., например, с одной стороны, соответствия лат. centum (др.-лат. kentom), греч. ἑκατόν, лит. šimtas, ст.-слав. съто, авест. satəm, др.-инд. çatám „сто"; с другой стороны, соответствия др.-инд. kaḥ, авест. ka, ст.-слав. къто, лит. kàs, лат. quis, оск.-умбр. pis.

На основании приведенных сопоставлений еще во второй половине XIX века было выдвинуто положение о существовании в языке-основе трех рядов задненебных согласных — чистых, лабиализованных и палатальных, т. е. собственно уже не задненебных, а средненебных. Впоследствии эти три ряда были сведены к двум: средненебному и задненебному лабиализованному. Задненебными лабиализованными для индоевропейского языка-основы признаются те согласные, которые сохраняются в языках kentom в виде задненебных лабиализованных (сопровождаемых неслоговым u̯) или губных, средненебными — те, которые в языках satəm изменились в переднеязычные согласные, а в западных (kentom) совпали с задненебными нелабиализованными. В XIX и начале XX века указанные особенности консонантизма двух групп индоевропейских языков некоторые исследователи пытались объяснить как проявление древнейшего диалектного деления индоевропейских языков на западные (kentom) и восточные (satəm). Открытие хеттских и тохарских материалов поставило под сомнение такое территориально-диалектное деление индоевропейских языков: клинописный хеттский, засвидетельствованный в Малой Азии, оказался языком, где простые задненебные и задненебные лабиализованные выступали так же, как в языках kentom, тогда как иероглифический хеттский,

[1] Вопрос о некоторых языках, от которых сохранились скудные остатки (иллирийский, фригийский и др.), остается неясным.

памятники которого обнаружены в том же районе, сохраняет закономерности, характерные для группы satəm. Наконец, тохарский язык, памятники которого были найдены в Центральной Азии, имел систему согласных, близкую языкам kentom, хотя лабиализованные в нем и не сохранились [1].

Согласные, представленные на месте средненебных согласных в восточных языках, по своей артикуляции нередко напоминают те согласные, которые явились результатом палатализации задненебных перед гласными переднего ряда. Так, например, в древнеиндийском на месте средненебного *k* мы находим *ç*, т. е. палатализованное *š'* (ср. çatám „сто“), на месте же *ĝ* — *j*, т. е. палатализованное *dž'*, такое же, какое наблюдается на месте *g* (любого качества) перед гласными переднего ряда; ср. др.-инд. ajá, ст.-слав. коза (общеиндоевропейскому *ĝ* соответствует славянское *z*, подобно тому, как общеиндоевропейскому *k̂* соответствует славянское *s*; славянское начальное *k*, отсутствующее в древнеиндийском, представляет собой префикс; древнеиндийское *j* не может быть результатом смягчения перед гласным переднего ряда, так как после него стоит *ā* исконное, а не из *ē*).

Хирт в указанной выше статье пытался установить первоначальную зависимость качества задненебного согласного от последующего гласного, предполагая развитие средненебных в положении перед гласными переднего ряда, а задненебных лабиализованных перед лабиализованными гласными заднего ряда. Но языковые факты не подтверждают этого предположения. Ю. Курилович, пытаясь вывести задненебные лабиализованные согласные из определенного фонетического положения, считает проблему различия задненебных и средненебных согласных „трансцендентальной“ по отношению к проблеме лабиализованных и нелабиализованных задненебных согласных, т. е. полагает, что различие *k* и *k̂* в индоевропейском языке-основе существовало раньше, чем установилось различие между *k* и *k*^{w} (нелабиализованным и лабиализован-

[1] См. подробнее по этому поводу статью А. Мейе. Les gutturales et le tokharien в сб. „Hirt-Festschrift“, II, Heidelberg, 1936.

ным *k*)[1]. Вопрос этот и сейчас не является решенным[2]. Одно несомненно, что указанные закономерности языка-основы не могут быть прямолинейно связаны с последующими процессами палатализации в различных языках. Если и имеется какая-то общность тенденций, то она еще подлежит более пристальному изучению.

§ 9. Своеобразны по своему характеру и относятся к различным эпохам также явления палатализации согласных в сочетании с средненебным *j* в разных индоевропейских языках. Причем и здесь различные языки обнаруживают параллельные тенденции.

Славянские языки указывают на то, что некогда все согласные в сочетании с *j* подвергались палатализации, при этом сам *j* терялся. Многие явления в этой области общи всем славянским языкам и указывают на осуществление соответствующих процессов еще в общеславянском языке-основе. Так, во всех славянских языках задненебные в сочетании с *j* дают переднеязычные шипящие, такие же, как те, которые получились в результате первой палатализации; переднеязычные фрикативные согласные *s*, *z* в сочетании с *j* дают палатализованные шипящие и т. д. В определенных случаях наблюдаются расхождения по отдельным языкам. Так, переднеязычные взрывные согласные *t*, *d* дают различную картину: в восточнославянских языках здесь развиваются шипящие *č*, *ž*, в западнославянских языках — переднеязычные свистящие аффрикаты *c*, *dz* (последняя частью с последующим изменением в *z*), в южнославянских языках имеют место различные изменения по отдельным языкам: *št*, *žd* в болгарском, *c̓*, *đ̓* (палатализованные шепелявые аффрикаты) в сербском, *č*, *j* в словенском. Ср. русск. *свеча*, *межа*, польск. świeca, miedza, чеш. svíce, meze, болг. *свеща* (древнее свѣща), межда, серб. свиjѐћа, мѐћа, слов. svéča, mèja. Однако эти различия не говорят о том, что палатализация соответствующих сочетаний существовала

[1] См. J. Kuryłowicz. Études indo-européennes, I. Kraków, 1935, p. 19.

[2] См. новейшую работу S. Safarewicz. Pochodzenie trzech szeregów spółgłosek tylnojęzykowych, 1945.

лишь на почве отдельных славянских языков. Предпосылка ее имелась уже на почве общеславянского языка-основы, еще там, вероятно, развивались краепалатальные согласные, которые затем имели различную судьбу в отдельных языках.

Палатализация согласных в сочетании с *j* происходила на почве и италийских и романских языков, причем в более раннее время, чем палатализация задненебных согласных в положении перед гласными переднего ряда, но самый характер ее, а также те согласные, какие она охватывает, отличаются от того, что мы наблюдаем в славянских языках. В латинском языке рано отражается изменение звонких взрывных в сочетании с *j* (*i̯*) в *i̯i̯* (*i̯*, *j*). Ср. maior „больше“ < *mag-i̯os — ср. magis, magnus; peior „хуже“ < *ped-i̯os (ср. др.-инд. padyatē „он гибнет“). Это изменение отражается затем и в романских языках, но частью *j* изменяется (в результате усиления артикуляции) в аффрикату *dž'*. Ср. ит. jorno „день“, лат. diurnus, здесь, вероятно, *i* первоначально было слоговым.

В италийских языках мы можем найти и изменение *di̯*, *dj* в звонкую переднеязычную аффрикату, т. е. получается тот же результат, что и в западнославянских языках. Ср., например, оск. zicel(ei) местн. п. ед. ч. от zicolom „день“ (с уменьшительным суффиксом, ср. лат. diēs), где $z = dz$.

На италийской же почве находим мы и соответствующее изменение глухого переднеязычного взрывного согласного в глухую свистящую аффрикату *c* в сочетании с *j*, так же как в западнославянских языках. В латинском языке это изменение относится к сравнительно позднему времени. Единичные случаи в надписях отмечены, начиная со II века н. э. (о них свидетельствует написание *s* вместо *t*, например, Ansiō вместо Antiō), но они могут иметь и диалектный источник. Частыми такие случаи становятся лишь в IV — V веках. Несколько раньше отмечаются подобные явления в оскско-умбрских диалектах.

Изменения согласных в сочетании с *j*, наблюдающиеся в различных индоевропейских языках, протекают в отдельных языках в различные эпохи и в разной последовательности (эту последовательность необходимо в каждом отдельном случае отчетливо представлять себе, чтобы не отнести к дале-

кому прошлому того, что произошло недавно). Данные изменения не связаны с процессами, имевшими место в индоевропейском языке-основе, но они опираются на некоторые общефонетические основания; подобные изменения мы можем найти и за пределами индоевропейских языков.

Эти изменения обусловлены среднеязычным характером артикуляции *j*, который вообще легко ассимилирует предшествующие согласные. Язык, примыкая к среднему нёбу, сообщает палатализованный характер переднеязычным согласным и способствует смещению вперед артикуляции заднанебных согласных. При отрыве языка, примыкающего к нёбу широкой поверхностью, взрыв сопровождается трением (отрыв осуществляется не сразу, а постепенно), вследствие чего взрывной согласный переходит в аффрикату. Шипящий или свистящий характер аффрикаты обусловлен более (при шипящем) или менее (при свистящем) широкой поверхностью примыкания языка к нёбу. Непонятен на первый взгляд приведенный выше результат палатализации согласных *t*, *d* в сочетании с *j* в болгарском языке — *št*, *žd*. Первоначально (в дописьменную эпоху) здесь развились, повидимому, сочетания *š̕č̕*, *ž̕dž̕*. Первый элемент каждого из этих сочетаний (*š̕*, *ž̕*) объясняется тем, что язык переходил от артикуляции предшествующего гласного к артикуляции аффрикаты (*č̕*, *dž̕*) постепенно, в результате чего перед полным смыканием органов образовывалась узкая щель для выдыхаемого воздуха и возникал фрикативный согласный соответствующей артикуляции (*š̕*, *ž̕*). Второй элемент каждого из сочетаний первоначально был тождествен результату изменения сочетания согласных *tj*, *dj* в восточнославянских языках — *č̕*, *dž̕*. Дальнейшее же преобразование аффрикат в болгарском языке пошло иным путем, чем в восточнославянских — как в глухой, так и в звонкой аффрикате была утрачена вторая, фрикативная часть. Следует иметь в виду, что в ряде случаев согласные, развившиеся первоначально как палатализованные, в дальнейшем отвердевают. Это произошло, в частности, с болгарскими *št*, *žd*.

Особого разъяснения требует приведенный выше результат изменения сочетания *dj* в словенском языке в *j*.

Звонкий фрикативный согласный *j* получался там, повидимому, в результате ослабления артикуляции звонкой аффрикаты *dž̓*, которая как уже говорилось, вообще характеризуется меньшей напряженностью, чем глухая.

§ 10. Широко распространены в различных индоевропейских языках утрата интервокального *j*(*i̯*) и последующее стяжение в один гласный различных или одинаковых гласных разных слогов, оказавшихся рядом в результате утраты *j*. Мы находим стяжение, например, и в латинском, и в греческом, и в славянском языках. Но всюду оно протекает в различных формах и в весьма различные эпохи. Ср., например, лат. *trēs*, греч. атт. τρεῖς, лесб. τρῆς „три“ < *trei̯es. На наличие в прошлом *j* или неслогового *i̯* указывают такие формы, как ст.-слав. трнѥ (в славянских языках *е* перед *j*, за которым следует гласный, дает в результате ассимиляции краткое *i*, откуда вообще должен развиваться ь, но в положении перед *j* сохраняется так называемое редуцированное *ĭ*, фонетически trĭje), др.-инд. tráyaḥ „три“ (муж. р.).

Уже приведенная здесь славянская форма указывает на сохранение и отсутствие последующего стяжения. Между тем вообще то и другое в славянских языках широко представлено и частью отражается даже в древнейших дошедших до нас славянских памятниках. В латинском и греческом языках стяжение в данном случае имело место еще в дописьменные времена.

Результатом стяжения являются, например, старославянские формы членных прилагательных типа новаго, добраго < novajego, dobrajego. Эти формы характерны уже для древнейших славянских памятников. Для Киевского миссала известны только они, в Мариинском и Зографском евангелии, в сборнике Клоца эти стяженные формы встречаются наряду со старыми нестянутыми. Так как указанные памятники все глаголические, а в глаголических памятниках нет знака для ѥ, нельзя решить, имеем ли мы дело с формами, еще сохранившими *j*, или же с формами, утратившими *j*, но еще не подвергшимися стяжению. Результатом стяжения являются такие формы, как серб. *до̏бра̄*, чеш. dobrá, сев. великорусск.

до́бра (прилагат. жен. р. ед. ч.); серб. *чу̑ва̄ш* „сторожишь“, чеш. dělá̌š „делаешь“, сев. великорусск. *де́лаш* (здесь *-ā* < *-aja*, *-ā̆š* < -aješь).

Но эти явления стяжения, отражающиеся в различных индоевропейских языках, основанные на одних и тех же фонетических закономерностях, как уже было сказано, имеют в разных языках различный характер и осуществляются в различные эпохи. Так, в латинском и греческом языках стяжение осуществляется еще в далекие дописьменные времена, в славянских языках оно происходит позднее. И даже здесь утрата *j* и стяжение осуществляются в разное время, а некоторые наречия они почти не захватывают. Меньше всего мы наблюдаем их в восточнославянских языках. Здесь они имеются (если оставить в стороне некоторые особые и немногочисленные случаи) лишь в украинском языке и в северновеликорусских говорах, а также в тех переходных говорах, которые в прошлом были северными, и в южновеликорусских говорах, пограничных с северными. Даже в северновеликорусских и переходных говорах это явление представлено в различных формах[1].

Приведенные факты показывают, насколько осторожно следует сходные явления различных родственных языков проецировать в систему языка-основы.

Еще в большем объеме осуществляется стяжение гласных, как однородных, так и разнородных, не связанное с утратой *j*. Стяжением по существу являются и различные случаи монофтонгизации дифтонгов. Мы наблюдаем эту монофтонгизацию, например, в италийских языках, в греческом, в славянских,

[1] В основной массе северновеликорусских говоров наблюдаются различные этапы процесса, сосуществующие в одном и том же говоре: наряду с формами стянутыми встречаются формы с утраченным *j* но без стяжения, например, *знат* || *зна́эт* „знает“, *бе́ла* || *бе́лаа* „белая“ и т. д. В южной же полосе северновеликорусских говоров, т. е. в так называемых говорах с неполным оканьем, как и в переходных, наблюдается лишь конечный результат, т. е. стянутые формы: *знат*, *бе́ла*, но *не зна́эт*, *бе́лаа*. Уже эти факты говорят о позднем развитии стяжения в разных говорах. Процесс не охватил всех говоров и даже в пределах одного северновеликорусского наречия развивался своеобразно (наблюдения Т. С. Коготковой).

германских языках и в древнеиндийском. При этом мы также наблюдаем в разных языках подобные явления, но протекающие в разное время и в несколько различных формах.

Так, например, в латинском языке дифтонг *ai*, сохраняющийся в древней латыни, еще во II веке до н. э. изменяется в *ae* (фонетически, вероятно, *aę*), а впоследствии в простой гласный *ē*. Ср., например, др.-лат. patriai (дат. п. ед. ч. от patria „родина"), позднейшее patriae (написание *ae* сохранилось и тогда, когда уже произносилось *ē*); первоначально здесь было *āi*. Ср. также Caesar из первоначального Caisar. Ср. также лат. aedēs „храм, дом" (по значению связано с „очагом"), греч. αἴθω „пылаю, горю". Подобное изменение *ai̯* в *aę* наблюдается и в беотийском диалекте греческого языка, но раньше, чем в латинском, а именно еще в V в. до н. э., на что указывало написание αε вместо αι в надписях этого времени. В аттическом диалекте, который лег в основу греческого койнэ, монофтонгизация *ai* в долгое *e*, подобно тому, как это имело место в латинском языке, осуществляется лишь ко II веку н. э. Речь идет, надо заметить, лишь о дифтонге с кратким *a*. Дифтонг с долгим *a* имел иную судьбу (первоначально он сохранялся, а затем терял неслоговую часть — ср. χώρᾳ „стране" — дат. пад. ед. ч.).

В славянских языках еще на почве общеславянского языка-основы совпали дифтонги *oi̯* и *ai̯* (как в латинском, так и в греческом дифтонг *oi̯* имел иную судьбу), а затем оба дали *ě*, которое на общеславянской почве было долгим открытым гласным переднего ряда (т. е. достаточно близким к тому *ē*, которое развилось на почве латинского и греческого языков), в некоторых же славянских языках оно оставалось таким и впоследствии. Ср. ст.-слав дат. п. ед. ч. женѣ (лат. patriae); ст.-слав. вѣдѣ „я знаю", греч. (F)οἶδα. Славянское *ě* появляется независимо от того, кратким или долгим был слоговой компонент дифтонга. В германских языках, повидимому, еще в эпоху существования языковой общности дифтонг *ei̯* стянулся в *ī*. В более поздней истории отдельных германских языков в различные периоды и с различным охватом происходила монофтонгизация дифтонгов.

В древнеиндийском (подобно греческому) неодинаковую судьбу имели дифтонги с долгим и кратким слоговым компонентом: дифтонги с долгим слоговым компонентом совпали в одном дифтонге *ē̆i̯*, стяжение имело место лишь в дифтонгах с кратким слоговым. Но зато один и тот же результат дали не только *oi̯*, *ai̯*, но и *ei̯*. Ср. др.-инд. vēda, греч. (F)οἶδα „я знаю"; др.-инд. ēti „идет", греч. εἶσι „пойдет"; др.-инд. ēdhaḥ „дрова", греч. αἴθω „пылаю, горю". Это стяжение различных дифтонгов в *ē* имело место в древнеиндийском значительно раньше, чем в индоевропейских языках Европы: оно произошло еще в доведийскую эпоху, т. е. до начала первого тысячелетия до нашей эры. В то же время это изменение не относится к эпохе общеиндо-иранского языка-основы, поскольку древние иранские языки сохранили дифтонги.

Приведенные факты говорят о том, что дифтонги хотя и имеют в своем развитии в разных языках нечто общее, однако развиваются в каждом языке по-своему, и их стяжение никоим образом нельзя относить к эпохе индоевропейского языка-основы. Даже монофтонгизация различных дифтонгов на почве одного языка происходит в разное время. Так, например, в славянских языках дифтонги монофтонгизировались еще на почве общеславянского языка-основы. Но дифтонги *oi̯* и *ai̯* (давшие *ě*) монофтонгизировались позднее, чем *ei̯* (давшее *i*) или *ou̯*, *au̯* (давшие *u*). Примерами монофтонгизации могут служить соответственно: ст.-слав. ити „идти", греч. εἶσι „пойдет", ст.-слав. соухъ, лит. saũsas „сухой", ст.-слав. оухо, лит. ausìs, лат. auris. Доказательством сравнительно позднего изменения *oi̯* и *ai̯* в *ě* является то, что этого изменения еще не было в эпоху первой палатализации (подробнее см. ниже). Более позднее изменение дифтонгов *oi̯*, *ai̯*, возможно, является следствием того, что эти дифтонги разнородны, т. е. компоненты их в артикуляционном отношении различны (*a*, *o* — гласные заднего ряда, *i* — переднего). Раньше стягиваются дифтонги однородные (типа *ou̯*, *ei̯*), в которых оба компонента принадлежат к одному и тому же ряду. Более ранняя монофтонгизация однородных дифтонгов сравнительно с разнородными характерна и для греческого

и латинского языков, на что обратил внимание В. А. Богородицкий [1].

Эти общие закономерности развития дифтонгов в различных индоевропейских языках опираются на общефонетические закономерности. Но проявляются эти общие закономерности весьма своеобразно и в разные эпохи. Попытка проецировать эти отношения в эпоху индоевропейской общности привела бы к антиисторическим выводам.

§ 11. Сходные явления могут независимо друг от друга осуществляться в очень различные эпохи развития одного и того же языка. Так, одинаковые по характеру процесса явления могут осуществляться, с одной стороны, на почве языка-основы, а с другой стороны, в значительно более позднее время, на почве одного из исторически засвидетельствованных языков, развившихся из соответствующего языка-основы, причем особенно важно отметить, что эти явления, несмотря на их взаимное подобие, генетически не связаны.

Так, например, общеславянскому языку-основе более позднего периода было свойственно музыкальное политоническое ударение, т. е. ударение, характеризующееся не только местом в слове, но и качеством, в данном случае именно направлением движения музыкального тона (в общеславянскую эпоху различалось ударение восходящее и нисходящее). Подобный характер имеет ударение и в современном сербском языке (ср. местн. п. ед. ч. *ства́ри*, род. и дат. п. ед. ч. *ствâри* от *ствȃр* „вещь“ — в первом случае восходящее, во втором нисходящее ударение на слоге с долгим гласным). Но сербское ударение не связано непосредственно с общеславянским. В тех случаях, когда сербское ударение по месту соответствует общеславянскому (а это бывает тогда, когда оно падает на начальный слог), оно всегда нисходящее, независимо от того, каково было ударение в общеславянском языке-основе (имеется в виду ударение штоковского наречия, охватывающего большинство сербских говоров). При этом

---

[1] В. А. Богородицкий. Сравнительная грамматика арио-европейских языков, вып. I, 1914, стр. 124 и сл.

наблюдается нисходящее ударение на кратком слоге, если в общеславянском языке ударным был краткий гласный или долгий гласный под восходящим ударением, — и нисходящее ударение на долгом слоге, если в общеславянском языке ударным был долгий гласный под нисходящим ударением. Ср., например, серб. *вр̏ана*, *кр̏ава* с кратким нисходящим ударением (общеславянское восходящее ударение свидетельствуется русским *воро́на*, *коро́ва*, где ударение на втором слоге полногласного сочетания, и словенским vrána, kráva, где восходящее ударение на долгом гласном), серб. *вра̑н* с долгим нисходящим ударением (общеславянское нисходящее ударение подтверждается русским *во́рон*, где ударение на первом слоге полногласного сочетания, и словенским vrân, где долгое нисходящее ударение). Восходящее же ударение в сербском языке развилось вновь на слогах с ударением, передвинутым к началу (в тех сербских говорах, которые легли в основу литературного сербского языка, оно передвинулось на один слог к началу слова). Местный падеж ед. числа от слова *ства̑р* имеет восходящее ударение на первом слоге, потому что когда-то здесь ударение падало на конечный слог (ср. в русском языке *на печи́*, *в крови́*, *в степи́* — в словах, восходящих к тому же склонению с основой на *-i*, к которому восходит и сербское *ства̑р*).

До эпохи, когда развилось политоническое музыкальное ударение, в общеславянском языке-основе различие музыкального качества не имело самостоятельного значения, но было неразрывно связано с длительностью слогового звука соответствующего слога (гласного или сонанта). Так обстояло дело, по крайней мере, для неконечных слогов (в отношении конечных слогов существуют разные точки зрения, о которых см. ниже). Это устанавливается на основании сопоставления фактов славянских языков с фактами других индоевропейских языков. Старые долгие гласные, долгие дифтонги и долгие сонанты дают на славянской почве восходящее ударение, а старые краткие гласные, краткие дифтонги (хотя в результате монофтонгизации из них развиваются долгие гласные) и краткие сонанты дают на славянской почве нисходящее ударение. Подобные отношения наблюдаются также и между

литовским языком и другими индоевропейскими. Только там восходящее ударение соответствует славянскому нисходящему и, напротив, нисходящее ударение соответствует славянскому восходящему. Ср. *мать*, серб. *мȁти*, слов. máti, лит. mótė, др.-инд. mātā́, греч. μήτηρ (дорийск. μᾱ́τηρ), лат. māter (индоевроп. ā в первом слоге; *дать*, серб. *дȁти*, слов. dáti, лит. duoti, греч. δῶρον „дар", лат. dōnum „дар" (индоевроп. ō); *долгий*, серб. *дȳг*, слов. dȏlg (жен. р. dólga)[1]; лит. ílgas, др.-инд. dīrghā́ḥ (индоевроп. l̥ слоговое долгое, по Фортунатову *λ̥; *соло́ма*, серб. *слȁма*, слов. sláma, греч. κάλαμος (долгий дифтонг *ol̄); *волк*, серб. *вȳк*, лит. vil̃kas, др.-инд. vr̥kaḥ (краткий сонант l̥); *го́род*, серб. *грȃд*, лит. gar̃das „загородка", др.-в.-нем. garto „огороженное место" (индоевроп. краткий дифтонг).

Подобную связь качества ударения с длительностью гласных, но сложившуюся на совершенно иной основе в совершенно иную эпоху, мы находим в словинском диалекте кашубского языка. Этот диалект, на протяжении XX века совершенно вытесненный немецким, известен по записям конца XIX века (в то время на нем говорило всего несколько деревень). В этом диалекте различалось ударение „острое", в музыкальном отношении нисходящее, а в динамическом — одновершинное и „протяжное", — и ударение в музыкальном и в динамическом отношении двухвершинное, причем более интенсивной была первая вершина, в музыкальном же отношении, напротив, была выше вторая вершина. При этом „острый" тон наблюдался лишь на так называемых „долгостепенных гласных", а „протяжный" на „краткостепенных" гласных. Долгостепенными гласными применительно к словинскому диалекту называются такие гласные, которые являются сверхдолгими в ударном открытом слоге (в закрытых слогах эти гласные являются просто долгими), краткостепенными же называются такие, которые в ударных слогах могут быть лишь просто долгими. Долгостепенность и краткостепенность связана и с определенным качеством гласного. Так, например,

---

[1] В словенском языке восходящее ударение сохраняется лишь в открытом слоге.

å (открытое о) — является долгостепенным, а *a* — краткостепенным, *ė* (закрытое *e*) — долгостепенным, а обычное открытое *e* — краткостепенным. Эти отношения также напоминают общеславянские, где качество гласных было связано с их длительностью (например, *a* было постоянно долгим, а о постоянно кратким — так, по крайней мере, обстояло дело в сравнительно ранний период развития общеславянского языка-основы, позднее же имели место изменения). Ср., например, слов. ř̑êka „река“, род. п. мн. ч. řěk; pãrx „парша“; ščȍu̯ „щавель“; pə̀d „низ“ (ˆ острое ударение на сверхдолгом гласном, ′ острое ударение на долгом гласном, ~ протяжное ударение на долгом гласном, ̏ острое ударение на кратком гласном, ̀ протяжное ударение на кратком гласном).

Как видно из сказанного выше, подобные явления в различных языках мы должны исследовать во всем их конкретном многообразии, остерегаясь относить к одной системе и проецировать в область языка-основы то, что сложилось в разные эпохи и на различной почве.

§ 12. Приведенные в предыдущих параграфах факты свидетельствуют о сложности тех фонетических процессов, которые должны быть изучены при помощи сравнительно-исторического метода. В связи с этим реконструкция фонетических процессов не может ограничиваться простым сопоставлением древнейших засвидетельствованных форм отдельных индоевропейских языковых групп, но должна учитывать все многообразие этих процессов в истории отдельных языков. Реконструкция фонетических процессов индоевропейского языка основы должна быть связана с историческим изучением развития фонетической системы отдельных групп и языков. Вместе с тем, возникает задача более полного и глубокого сравнительного исследования сходных фонетических процессов, возникающих в истории этих групп и языков. Нередко в истории конкретных языков выявляются такие процессы, предпосылки которых в скрытой форме были заложены в специфике фонетического строя языка-основы известной группы языков. Так, повидимому, склонность гласных к комбинаторным

изменениям, характерная для германских языков и вызывавшая переход $e > i$, $a > e$ и т. д., если в следующем слоге был *i* или *j* (ср. др.-нем. gast „гость“, мн. ч. gesti „гости“; ср. др.-исл. gestr „гость“ < gastiR; др.-нем. berg „гора“, gabirgi „горная цепь“ и т. д.), была обусловлена спецификой фономорфологической структуры слова еще германского языка-основы. Хотя в готских текстах IV века эти процессы не получили отражения, но вестготские имена собственные последующих веков позволяют высказать предположение, что аналогичные процессы осуществлялись и в готском языке.

С другой стороны, как известно, и в кельтских языках, особенно в древнеирландском, наблюдались сходные явления ассимиляции гласного корня гласному окончания. Однако вопрос о том, имеются ли здесь независимые параллельные процессы или же эта близость тенденций развития вокализма кельтских и германских языков указывает на какие-то особые связи этих языковых групп, остается пока неясным. Очевидно, что ответ может быть дан только с учетом тенденций развития и других сторон языка.

При сравнительном изучении процессов развития фонетической системы языковых групп и отдельных языков очень важно строго отличать те процессы, которые могли быть обусловлены специфическими особенностями фонетической системы индоевропейского языка-основы, хотя они и выявились лишь в истории обособившихся языковых групп, от параллельных и возникавших совершенно независимо в различных родственных языках явлений. Именно первые явления представляют важнейший объект сравнительно-исторических исследований, они помогают изучению закономерностей развития родственных языков и служат одновременно материалом для более полного понимания фонетических особенностей языка-основы.

Однако такое изучение фонетической системы родственных языков не заняло еще соответствующего места в сравнительно-исторической фонетике индоевропейских языков.

§ 13. Сопоставляя различные формы отдельных языков в пределах целой группы или семьи языков, в целях рекон-

струкции исторически не засвидетельствованных форм, мы должны учитывать, что различные процессы, касающиеся разных сторон языка и в том числе звуковой стороны, обычно протекают не изолированно, но бывают связаны с целым рядом других явлений. Причинная связь состоит в том, что одно явление выступает как следствие другого, обусловлено другим.

Примером этой связи может служить редукция гласных в безударном положении, которая обычно является следствием наличия определенного типа ударения; этот тип ударения не существует в языке испокон веков, но устанавливается в какую-то эпоху. Обычно редукция наступает при сильном динамическом ударении, когда имеет место большое различие по интенсивности между ударным слогом и безударными.

Такая редукция, сопровождаемая качественными изменениями гласных, происходила на протяжении истории русского языка. С нею связано было возникновение аканья, представляющего собой результат редукции безударных гласных, который характеризует и в настоящее время южновеликорусские и средневеликорусские говоры, а также белорусский язык. Подобная же редукция имела место на протяжении истории ирландского языка, обнаруживаем мы ее и в древних италийских языках (в том числе и в латинском), где в результате развития динамического ударения на начальном слоге подверглись сильной редукции гласные всех остальных слогов. Динамическим ударением были вызваны и те особенности развития конечных слогов в германских языках, которые совершенно изменили характер фономорфологической структуры слова в этих языках.

Причинная связь позволяет вместе с тем раскрыть последовательность осуществления тех или иных фонетических процессов. Так, очевидно, что изменение характера ударения должно было предшествовать редукции безударных слогов. Таким образом, устанавливается относительная хронология изучаемых фонетических процессов. Однако временна́я последовательность может быть вскрыта и в тех случаях, когда отсутствует причинная связь. Так, например, выше приводились факты, касающиеся перехода *e* > *a* в древнеиндийском (см. § 4).

Изменение *e* в *a* в древнеиндийском языке не является следствием изменения задненебных согласных в шипящие перед гласными переднего ряда, но оно должно было осуществиться после изменения задненебных согласных, так как, если бы изменение *e* в *a* произошло до палатализации задненебных, то затем палатализация осуществилась бы только перед *i*, но не перед *a*, развившимся из *e* (*a* является гласным заднего или среднего ряда, в положении перед ним не было оснований для изменения задненебных согласных в шипящие).

В общеславянском языке-основе первая палатализация задненебных согласных должна была осуществиться раньше изменения *oį* и *aį* в *ě*, поскольку в *ě* изменилось также *e* долгое. Если бы монофтонгизация дифтонгов *oį*, *aį* произошла до наступления первой палатализации, то перед этим *ě*, так же, как и перед *ě* из *ē*, задненебные согласные изменились бы в шипящие с последующим изменением гласного в *a*, и в старославянском и древнерусском языках было бы, например, *čana, а не цѣна, как в действительности.

Проблема взаимоотношений различных фонетических явлений во времени или, как принято говорить, относительная хронология фонетических явлений в различных индоевропейских языках, а также в индоевропейском языке-основе, уже в течение более полувека находится в центре внимания лингвистов, разрабатывающих сравнительно-историческую фонетику этих языков. Когда речь идет об эпохах, не засвидетельствованных письменными памятниками, трудно установить абсолютную хронологию того или иного явления. Но относительная хронология различных явлений во многих случаях устанавливается достаточно точно. Она позволяет в более четком и соответствующем действительности виде представить звуковую систему как отдельных языков, так и языка-основы в различные эпохи их существования, не засвидетельствованные письменными памятниками. Она позволяет внести историзм в изучение языка-основы, поскольку реконструируемые факты не проецируются на одну плоскость, а между ними устанавливается историческая последовательность.

Так, например, еще на грани XIX и XX веков В. А. Богородицкий показал, что совпадение *ě*, *ŏ*, *ă* в одном *ă* и *ē*, *ō*,

ā в одном ā, отражающееся в древнеиндийском языке, осуществились не одновременно, но долгие гласные совпали значительно раньше, чем краткие[1]. Это можно заключить на основании следующих соображений. Повелительное наклонение от глагола as „быть" (1-е л. ед. ч. наст. вр. ásmi „я есмь") имеет в древнеиндийском форму 2-го л. ед. ч. ēdhí „будь". Им. п. ед. ч. старых именных основ на -o краткое, оканчивающийся в древнеиндийском вследствие изменения o в *a*, на *-as* (перед паузой *-aḥ*), перед начальным звонким согласным следующего слова изменяется в -ō, например: Nalō nāma „Наль по имени". Откуда взялись эти ē и ō? Поскольку корнем глагола в повелительном наклонении, как и в настоящем времени, является *as-*, восходящее к **es-* (ср. ст.-слав. ѥсмь), то первоначально рассматриваемая форма звучала, вероятно, *es-dhí, а в результате озвончения глухого согласного перед звонким — *ez-dhí. Звонкий фрикативный согласный перед последующим взрывно-придыхательным теряется, но после утраты согласного предшествующий гласный подвергается так называемому заменительному удлинению — происходит как бы компенсация по длительности, в результате чего и развивается форма ēdhí. Подобное явление имело место и в окончании старых основ на *-o*. Еще в то время, когда это окончание звучало **-os* (ср. греч. λύκος „волк"), *s* в положении перед звонким согласным следующего слова озвончался и давал *z*, в результате же утраты *z* перед следующим согласным предшествующий гласный o удлинялся в ō. Когда же возникли ē и ō в рассматриваемых формах? Ясно, что это произошло до изменения *e* и o кратких в *a* краткое и после того, как завершилось изменение ē и ō в ā. Если бы изменение *e* и o в ē и ō произошло до того, как завершилось изменение ē и ō в ā, эти ē и ō также изменились бы в ā.

Следует заметить, что и монофтонгизация дифтонгов с первым кратким компонентом осуществилась в древнеиндийском, повидимому, уже после того, как завершился процесс совпадения ē, ō, ā в ā. Эти дифтонги давали ē в том случае, если вторым их компонентом было *i̯*, и ō, если

---

[1] В. А. Богородицкий. К хронологии и диалектологии...

вторым их компонентом было *u̯*. Если бы монофтонгизация имела место до того, как завершилось изменение *ē*, *ō* > *ā*, эти *ē* и *ō* также изменились бы в *ā*. О сравнительно поздней эпохе монофтонгизации свидетельствует и тот факт, что перед *ē*, развившимся из дифтонга с первым компонентом заднего ряда, не происходит палатализации задненебных согласных. Ср., например, др.-инд. kētúḥ „знамя“, гот. haidus „образ“. Повидимому, монофтонгизация произошла здесь уже после прекращения действия закона палатализации задненебных в положении перед гласными переднего ряда.

В вопросах относительной хронологии фонетических явлений не только индоевропейского языка-основы, но даже и отдельных групп индоевропейских языков не всегда легко и просто разобраться. Славянские языки, например, образуют очень компактную группу и в начале эпохи, засвидетельствованной письменными памятниками, были очень близки друг другу. Строй общеславянского языка-основы, восстанавливаемый сравнением, близок к строю засвидетельствованных письменными памятниками старославянского и древнерусского языков. Между тем выяснение некоторых фактов относительной хронологии фонетических явлений общеславянского языка также наталкивается на известные трудности. Рассмотрим в качестве примера хронологические отношения первой и второй палатализации и монофтонгизации дифтонгов в славянских языках.

По первой палатализации *k*, *g*, *x* изменяются в *č'*, *ž'*, *š'* по второй в *c'*, *dz'*, *s'* (*dz'* еще в эпоху древнейших славянских памятников изменяется по говорам в *z'*, на месте же *s'* в западнославянских языках развивается шипящий согласный *š'*). Вторая палатализация в положении после гласных переднего ряда осуществлялась недостаточно последовательно, и в этих случаях мы, начиная с древнейших памятников, находим параллельные формы с задненебными и свистящими согласными в одних и тех же условиях. Ср., с одной стороны, *девица* (ст.-слав. и др.-русск. дѣвица), с другой стороны, *земляника*, *ежевика*; ст.-слав. двиꙁати, др.-русск. *двигати*). Наряду с обычными уже для древнерусского, как и для старославянского языка, формами вьсь, вьсꙑ, вин. п.

ед. ч. жен. р. **вьсѭ, вьсю** и т. д., в Новгородской грамоте Варлаама Хутынского после 1192 г. мы находим вин. п. ед. ч. жен. р. *вхоу* (без изменения $x > s'$ после *ь*; последний в слабом положении к концу XII века уже утрачен).

Выяснение относительной древности смягчения задненебных в шипящие и в свистящие является одним из достижений теории относительной хронологии фонетических явлений. Более поздний характер смягчения задненебных согласных в свистящие устанавливается на том основании, что это смягчение произошло лишь в положении перед вновь образовавшимися гласными переднего ряда, именно перед *ě* и конечным *-i* , развившимися из дифтонгов, первым компонентом которых был задний гласный. Ср. ст.-слав. **рѫка** — дат. п. ед. ч. **рѫцѣ** < *ronkāi; ст.-слав. **влькъ** — им. п. мн. ч. **вльци** < *vl̥qᵘoi̯ (ср. греч. χώρᾳ „стране", λύκοι „волки"), местн. п. ед. ч. **вльцѣ** < *vl̥qᵘoi̯ (относительно причин развития *oi̯* в местн. п. ед. ч. в *-ě*, а в им. п. мн. ч. тех же основ в *-i* существуют различные гипотезы, которых здесь не рассматриваем).

На основании сказанного ясно, что вторая палатализация в положении перед гласными переднего ряда происходила позднее, чем первая, осуществлявшаяся перед древними передними гласными, и что та и другая палатализация были разделены во времени монофтонгизацией разнородных дифтонгов *oi̯*, *ai̯*. Однако, по мнению некоторых лингвистов, вторая палатализация перед новыми передними гласными и вторая палатализация после некоторых передних гласных осуществлялась не одновременно. Вторая палатализация после передних гласных имела место раньше. Если это верно, встает законный вопрос, осуществилась ли и вторая палатализация после передних гласных позднее первой палатализации. На это мы также можем ответить утвердительно. В качестве доказательства приведем следующий пример. Формы 2-го и 3-го лица ед. ч. простого аориста от глагола **двигнѫти** в старославянском языке звучали **движе** (<*dvig-e-s, *dvig-e-t) при 1-м лице **двигъ** (<*dvig-o-m); *ž* здесь явилось в результате первой палатализации из *g* в положении перед гласным переднего ряда *e*. Но здесь оно находится также после *i*, т. е. в условиях, в которых осуществляется вторая палатализация. Если бы она

осуществлялась раньше первой, здесь было бы *dz'* и рассматриваемая форма звучала бы *dvidz'e, которое при наступлении первой палатализации (если предположить, что она имела место после второй) не могло бы измениться в dviže, так как в шипящие изменялись задненебные согласные, но не переднеязычные свистящие. Следовательно, вторая палатализация после определенных гласных переднего ряда осуществилась позднее, чем первая палатализация.

Но есть ли вообще основания полагать, что вторая палатализация после гласных переднего ряда осуществилась раньше второй палатализации перед передними гласными дифтонгического происхождения? Здесь дело обстоит сложнее. Некоторые лингвисты, утверждающие это, полагают даже, что следует говорить не о двух, а о трех палатализациях, причем называют второй палатализацией смягчение задненебных согласных после гласных переднего ряда, а третьей палатализацией — смягчение задненебных согласных перед передними гласными дифтонгического происхождения.

Основания для этого выдвигаются следующие. Если мы возьмем старославянское или древнерусское склонение имени с основой на *-o*, где конечному гласному предшествует *c'*, развившееся из *к* после *ь*, мы увидим, что местн. п. ед. ч. этого имени оканчивается на *-i*, как и у старых основ на *-jo*, т. е. издавна принадлежавших к мягкой разновидности основ на *-o*, ср., например, отьць — местн. п. ед. ч. отьци. Местный падеж в склонении с основой на *-o* до монофтонгизации дифтонгов оканчивался на *-oį*. Следовательно, первоначально эта форма должна была звучать *otьkoį. Если бы палатализация задненебных перед гласными дифтонгического происхождения наступила раньше, чем эта же палатализация после *ь*, эта форма должна была принять вид *otьc'ě и дальше уже не изменяться, так как сочетание *c'ě* вполне возможно (ср. цѣна, рѫцѣ и т. п.). Но если мы предположим, что раньше имело место изменение *к* > *c'* после *ь*, то форма отьс'і (отьци), какая в действительности и была, вполне понятна. Склонение этого слова до какой бы то ни было палатализации имело в единственном числе следующий вид: им. п. *otьkъ, род. п. *otьka, дат. п. *otьku, вин. п. *otьkъ,

тв. п. *otьkomь, местн. п. *otьkoį, зват. п. *otьke (для простоты здесь уже приняты как осуществившиеся изменения конечных -*os*, -*om* > -ъ, а также монофтонгизация *oų* > *u*, и вопрос об их хронологических отношениях к рассматриваемым явлениям не ставится). После наступления первой палатализации все формы сохранили прежний вид, кроме звательного падежа, который принял вид otьč'e и дальше уже не изменялся (ср. ст.-слав. и др.-русск. отьче). Когда задненебные согласные начали смягчаться в свистящие после известных гласных переднего ряда (в данном случае после ь), формы приняли следующий вид: им. п. *otьc'ъ, род. п. *otьc'a, дат. п. *otьc'u, вин. п. *otь'cъ, тв. п. *otьc'omь, местн. п. *otьc'oį. Но гласные заднего ряда еще на общеславянской почве смещаются в передний ряд в положении после мягких согласных (первоначально это смещение происходило после *j*, а затем и после вновь развившихся палатализованных согласных, к которым относится и *c'*). Поэтому происходят следующие изменения: им. и вин. п. *otьc'ъ > otьc'ь, тв. п. *otьc'omь > otьc'emь (эти формы и сохраняются), возможно, что и в род. и дат. п. звучали более передние гласные, а местн. п. *otьc'oį > *otьc'eį. Но дифтонг eį на почве общеславянского языка-основы монофтонгизуется в *i*, результатом чего и является форма otьc'i, которая засвидетельствована древнейшими памятниками.

Однако в древних славянских языках имеют место и факты, противоречащие высказанному предположению. Возьмем ст.-слав. и др.-русск. местоимение вьсь (совр. русск. *весь*). Второй согласный этого местоимения первоначально звучал *s*. В положении после *i*, давшего впоследствии ь, в общеславянском языке еще в очень раннюю эпоху развилось *x* (отражением его является приведенная выше форма *вхоу*). В эпоху наступления второй палатализации *x* после ь изменилось, по крайней мере, в большинстве славянских наречий, в *s'*, которое и проходит через всю парадигму этого местоимения. Но как объяснить такие формы, как род. п. мн. ч. вьсѣхъ или дат. п. мн. ч. вьсѣмъ? Здесь *ĕ* из дифтонга *oį*. Если бы здесь было старое долгое *e*, то *x* перед ним должно было дать шипящий согласный с последующим изменением

*ē > ā (*a*). Согласно тому, что было показано выше на примере формы otьc'i, форма типа *vьxoi̯*x*ъ (род. п. мн. ч.) должна была дать *vьs'oi̯*x*ъ > *vьs'ei̯*x*ъ > *vьs'i*x*ъ, а не vьs'ě*x*ъ, как в действительности. Отсюда как будто следует, что, напротив, раньше произошла монофтонгизация дифтонга, затем изменение *x* > *s'* перед *ě*, а затем уже изменение *x* > *s'* после гласного переднего ряда *ь*.

Как примирить эти противоречия, выступающие в результате анализа одних и тех же явлений на материале различных примеров? Все дело в том, что исследования одних фонетических отношений недостаточно. Должно учитываться также и взаимодействие морфологических форм, которое нарушает ожидаемые результаты звуковых изменений (это взаимодействие морфологических форм и представляет собой принцип аналогии). Форма типа otьc'i легко может быть объяснена подравниванием склонения otьc'ъ под формы старой мягкой разновидности склонения с основой на -о- (т. е. старого склонения с основой на *-jo-*). Ведь многие формы склонения типа otьc'ъ уподобились формам склонения на *-jo-* в результате чисто фонетических процессов. Правда, подравниванием под другой тип может объясняться и форма типа vьs'ěxъ. Здесь могло оказать влияние указательное местоимение **тъ** (род. п. мн. ч. **тѣхъ**). Но где вероятнее аналогическое воздействие других форм, в имени или в местоимении? Следует признать, что в имени. Местоимения представляют собой обособленный и весьма своеобразный класс слов. В местоименном склонении сохранились без подравнивания под местоимения с твердым согласным в основе (тип **тъ**) местоимения указательные, гораздо более близкие по значению к **тъ**, чем **вьсь** (ср. **ихъ**, **имъ** от указательного местоимения **и**, **ꙗ**, **ѥ**). К тому же странно предполагать, чтобы в очень ранний период местоимение, содержащее мягкий согласный в основе (*s'*), подравнивалось под местоимение с твердым согласным в основе. Оно скорее сблизилось бы с местоимением, содержащим мягкий согласный в основе (*j*). Между тем и этого не произошло.

Таким образом, у нас нет оснований считать, что палатализация в свистящие после известных передних гласных

осуществилась раньше палатализации перед передними гласными дифтонгического происхождения, и, следовательно, нет оснований для разграничения второй и третьей палатализации.

Изложенные выше факты приводят нас, кроме того, еще к одному очень важному общему положению: мы видим, с какой сложной совокупностью фактов приходится иметь дело в сравнительно-историческом исследовании. Недостаточно учитывать взаимоотношения явлений фонетических, но необходимо учитывать и отношения морфологические.

§ 14. При реконструкции дописьменных форм, в том числе и форм языка-основы, необходимо учитывать положение звуков в составе значимой самостоятельной единицы, именно в составе слова. В данном случае имеется в виду самостоятельное слово, как одно, так и с примыкающими к нему служебными словами. Слово представляет собой определенный комплекс звуков, имеющий значение, выражающий некоторое понятие. Но слово вместе с тем представляет и определенную единицу, характеризующуюся определенными фонетическими свойствами (например, ударением, правда, не во всех языках) и ограниченную фонетически. Вследствие этого во многих языках (и, в частности, в ряде индоевропейских) звуки подвергаются своеобразным изменениям на границе слова, т. е. в начале и в конце его. Изменения же звуков в конце слова теснейшим образом связаны с тем, в каких морфологических категориях они имеют место, поскольку в индоевропейских языках конец слова обычно представляет собой различные окончания или суффиксы.

В начале слова перед гласными легко развиваются различные протетические согласные. Это наблюдается в таких языках, где имеет место так называемый „мягкий приступ“, т. е. переход органов речи от состояния покоя к состоянию звучания осуществляется постепенно, например, в славянских. Поэтому еще на почве общеславянского языка-основы перед начальными гласными развиваются различные протетические согласные. Ср., например, ст.-слав. ѥстъ, др.-русск. *єсть* (3-е л. ед. ч. настоящего времени вспомогательного глагола),

лат. est, др.-инд. ásti; ст.-слав. и др.-русск. *выдра*, лит. údra (в первом случае протетическое *j*, во втором случае *v*).

Перед группами согласных в начале слова, напротив, легко развиваются протетические гласные. Это явление известно в различных индоевропейских языках в разные эпохи их исторического развития. Ср., например, фр. étoile, ст.-франц. estoile, лат. stella (перед начальным *st* во французском языке развилось протетическое *e*, впоследствии *s* перед *t* утратилось, а *e* сохранилось). Начальный гласный перед сочетанием *st* мог развиваться и в славянских языках. Ср., например, русск. *изба́*, др.-русск. *истъба* < др.-в.-нем. stuba. Впрочем, этот гласный развивается далеко не всегда (ср. др.-русск. *стати*, совр. *стать*).

Различным изменениям подвергаются согласные в конце слова (если они вообще сохраняются там в данном языке). Сопоставляя формы различных индоевропейских языков, мы должны принимать во внимание и эти изменения согласных. Так, во многих языках звонкие согласные на конце слова подвергаются оглушению. Это имело место, например, в древнеиндийском (там оно отражается и в орфографии). После падения редуцированных такое оглушение наблюдается и в большей части русских говоров (лишь в немногих русских говорах сохраняются на конце слова звонкие согласные, для украинского языка это сохранение нормально). В древнеиндийском, кроме того, придыхательные согласные на конце слова теряют придыхательность. Конечные же *r* и *s* там дают глухое придыхание (глухой гортанный фрикативный согласный). Ср., например, punaḥ < punar "опять", manaḥ < manas „дух, мысль". Подобные изменения обычно наблюдаются в языках, характеризующихся так называемым „тихим отступом", т. е. постепенным переходом органов речи от состояния звучания к состоянию покоя: голосовые связки прекращают работу раньше, чем заканчиваются ртовые артикуляции, а порой и ртовые артикуляции прекращаются раньше, чем заканчивается выдох, при помощи которого осуществляется акт речи.

В древнегреческом языке в результате различных изменений согласных в конечном положении, имевших место еще

в дописьменную эпоху, на конце слова из согласных возможны лишь три — *n*, *r*, *s*.

В древних славянских языках на конце слова вообще отсутствуют согласные. Но это не является специально особенностью конца слова, а отражает некоторую более общую закономерность, сложившуюся еще на почве общеславянского языка-основы, а именно так называемый закон открытых слогов. Согласно этому закону, все слоги должны были быть открытыми, т. е. не иметь замыкающих согласных. Следовательно, лишены были этих согласных и конечные слоги слова. Надо иметь в виду, что самый закон открытых слогов сложился постепенно и представляет собой результат целого ряда более частных звуковых изменений, некоторые из них были рассмотрены выше (например, монофтонгизация дифтонгов).

Различным изменениям подвергаются и гласные конечных слогов. Так, широко известны сокращения долгих гласных, осуществляющиеся на конце слова в ряде языков. В общеславянском языке-основе в определенную эпоху сократились все конечные гласные. Долгие гласные, наблюдающиеся на конце слова в отдельных славянских языках, сохранивших различия гласных по длительности, образовались позднее (обычно в результате стяжения).

Ниже, на материале общеславянского языка-основы, даются примеры изменений гласных в конечных слогах, связанных с определенными морфологическими категориями (результаты этих изменений отражаются затем и в отдельных исторически засвидетельствованных славянских языках).

Им. и вин. п. ед. ч. в склонении с основой на -о в эпоху древнейших дошедших до нас славянских памятников (старославянских и древнерусских) оканчивается в мужском роде на -ъ, а в среднем на *-о* (после мягких согласных соответственно на *-ь* и *-е*). Ср. ст.-слав. и др.-русск. **столъ**, **конь**, **село**, **поле**. Индоевропейские языки, сохраняющие конечные согласные и не знающие изменения конечного *-m* > *-n* (такое изменение характерно для греческого языка), указывают в данном случае на конечное *-os* для им. п. мужского рода и конечное *-om* для вин. п. мужского рода, им.

и вин. п. среднего рода. На основании этого предполагается, что в древнейший период развития общеславянского языка такие формы звучали *stolos, *konjos (им. п.), *stolom, *konjom (вин. п.), *selom, *poljom (им. и вин. п.). Как же объясняются исторически засвидетельствованные различия? Повидимому, еще до утраты конечных согласных имело место сужение гласного *o* в *u* в конечном закрытом слоге. Подобное явление знают и некоторые другие индоевропейские языки. Ср. лат. lupus, templum, др.-лат. lupos, templom (об этом уже говорилось выше). *U* краткое, как известно, еще в общеславянском языке-основе давало ъ. Но в каких условиях происходило это сужение в славянских языках, и чем объясняется, что в одних формах на конце является ъ, а в других о (*ь* и *е* соответственно после мягких согласных)? Существует три объяснения, причем в каждом из этих объяснений принимаются во внимание не только фонетические изменения, но и связь соответствующих звуков с определенными морфологическими категориями.

Согласно первому из этих объяснений, предполагается, что фонетически изменение о > *u* происходило не в любом закрытом слоге, но лишь в положении перед конечным *s*, в положении же перед конечным *-m* такого изменения не было, а лишь терялось конечное *-m* (в последующую эпоху, когда терялись все конечные согласные). Следовательно, фонетически изменялось -*o*s > -ъ, -**om* > -*o*. В таком случае непонятно, почему вин. п. имеет форму *столъ*, а не *stolo. Но -ъ здесь объясняется как результат сближения формы вин. п. с формой им. п., т. е. не фонетически. Предложенному объяснению как будто противоречит форма им. и вин. падежей существительного *слово*, относившегося к склонению с основой на согласный и в общеславянском языке звучавшего *slovos (ср. род. п. *словесе*). Фонетически эта форма должна бы была измениться в *slovъ. Но форма *слово* также объясняется не фонетически, а сближением с формой указательного местоимения среднего рода *то* < *tod.

Согласно второму объяснению, предполагается, напротив, что фонетически изменялось о > *u* > ъ лишь перед *-m*, перед *-s* же сохранялось о (*-s* впоследствии, как и все конечные

согласные, терялось). Таким образом, фонетически объясняются формы типа *столъ* в вин. п. и формы типа *слово*, формы же типа *столъ* в им. пад. и типа *село* требуют морфологического объяснения. Первая из этих форм объясняется как результат сближения с винительным падежом, формы же типа *село* как результат сближения с формой указательного местоимения *то*. С фонетической точки зрения второе объяснение вообще более удовлетворительно, чем первое: изменение o > *u*, связанное с бо́льшей лабиализацией гласного, легче могло осуществиться перед губным согласным *т*. Но слабым местом обоих объяснений является предположение о сближении им. и вин. падежей. Для такого предположения славянские языки не дают достаточных оснований. Ведь, если это сближение имело место в единственном числе мужского рода, почему его не было во множественном числе того же рода? Ср. такие формы, как *столи* — *столы*. Именительный и винительный падежи могли совпасть в результате фонетических процессов, но какие были семантические основания для утраты различия между падежом подлежащего и падежом прямого дополнения, до того различавшимися?

Наиболее правдоподобным является третье объяснение, согласно которому в определенную эпоху o изменялось в *u*, давшее затем ъ, в любом конечном закрытом слоге, т. е. фонетически дали -ъ как -*os, так и -*om. С этой точки зрения фонетически объясняются в мужском роде и форма именительного и форма винительного падежей. Формы же среднего рода — типа *село* и типа *слово* — объясняются воздействием формы указательного местоимения *то*. Эта последняя форма восходит к форме *tod (ср. лат. istud, illud < istod, illod „то“, др.-инд. tat < *tod). В форме местоимения *то* изменения o > *u* не было, так как на конце был взрывной согласный, а конечные взрывные согласные на славянской почве были, повидимому, утрачены раньше, чем фрикативные и сонорные (взрывные согласные на конце слова были утрачены не только славянскими, но и некоторыми другими индоевропейскими языками, например, наиболее близкими к славянским балтийскими, а также греческим). Установление -ъ для мужского, -o для среднего рода способствует более

дифференцированному выражению различий этих родов, которые раньше различались окончаниями *-m* и *-s*, а с утратой конечных согласных должны были совпасть. К тому же, с установлением формы на -ъ и для винительного падежа, существительные разных родов в склонении с основой на -о различаются не только в именительном падеже, как раньше, но и в винительном. Это различие выступает и для прилагательных, именные формы которых тождественны формам существительных.

§ 15. Реконструируя фонетический состав исторически не засвидетельствованных форм, мы должны осуществлять эту реконструкцию в определенной и строгой последовательности. Невозможно сопоставлять между собой соответствующие формы взятых наудачу любых родственных языков, особенно если речь идет о такой многочисленной и многообразно разветвленной семье, как индоевропейские языки. Эти сопоставления мало что дают. Возьмем, например, такие непохожие друг на друга формы, как русск. *мать* и франц. mère, или русск. *брат* и франц. frère. Что они могут дать нам для восстановления исторически не засвидетельствованных форм? А между тем каждая из приведенных пар восходит к общему первоисточнику.

Для того чтобы сравнение было плодотворным, необходимо осуществлять его в определенной последовательности. Прежде всего сравниваются формы наиболее близко родственных языков одной группы и восстанавливаются формы общего языка-основы данной группы. Так, например, сравнивая формы различных славянских языков, мы восстанавливаем формы общеславянского языка-основы, их звуковой состав, на основании чего определяем звуковую систему общеславянского языка-основы и характерные для этой системы закономерности. Но в результате сравнения славянских языков мы можем более или менее полно охарактеризовать общеславянский язык-основу лишь сравнительно позднего периода его развития. Для восстановления звуковых процессов, имевших место в этом языке до его разделения, нам большей частью недостаточно фактов только славянских

языков. Лишь некоторые изменения могут быть нами установлены на основании материала только славянских языков, да и они должны быть подкреплены фактами других индоевропейских языков.

Так, например, путем сравнения материала славянских языков мы установили, что звуковая система общеславянского языка-основы характеризовалась наличием главным образом открытых слогов (некоторые отступления от закона открытых слогов предполагать можно, но мы не касаемся здесь этого сложного вопроса) и отсутствием конечных согласных. Но в результате каких процессов были утрачены конечные согласные? Какие согласные были на конце слова до этой утраты? На эти вопросы материал славянских языков не может дать исчерпывающего ответа. Так, например, сопоставление формы именительного падежа типа *слово* с формами косвенных падежей — *словесе*, *словеси* и т. д. — дает основания для предположения, что основа слова когда-то оканчивалась на *s* и именительный падеж должен был утратить это *s* в определенную эпоху, когда начал действовать закон открытых слогов. Но можем ли мы сказать лишь на основе славянских фактов, что в форме *столъ* в именительном падеже на конце было когда-то *-s*, а в винительном *-m*? Нет, для установления этих фактов нам необходимо сопоставление с формами других индоевропейских языков.

Реконструируя исчезнувшие формы, необходимо в первую очередь восстановить формы ближайшего дописьменного этапа. Так, на основании сравнительного анализа форм славянских языков, известных по памятникам, а также по современным говорам, мы восстанавливаем звуковой состав форм, а также звуковую систему общеславянского языка-основы перед его разделением. Частью исследуя отношения внутри этой восстановленной звуковой системы, частью привлекая данные других индоевропейских языков, мы восстанавливаем предшествующее развитие этой звуковой системы и доходим до более древнего состояния общеславянского языка. И лишь восстановив первоначальный облик славянских форм этого раннего периода, мы должны на основе сопоставлений их с формами других индоевропейских языков,

восстановить звуковой состав форм индоевропейского языка-основы и его звуковую систему в целом.

При выяснении закономерностей звукового развития языка-основы отдельных языковых групп существенное значение имеет привлечение материала языков, наиболее близких к данной группе. Не все группы индоевропейских языков находятся в одинаковых отношениях друг к другу, одни из них образуют более тесные единства, другие же отстоят друг от друга дальше. Так, для выяснения особенностей развития звуковой системы общеславянского языка относительно раннего периода много дают балтийские языки, в особенности самый архаический из них, литовский. Балтийские языки в наибольшей степени близки к славянским. В сравнительно-историческом языкознании неоднократно дебатировался вопрос, до сих пор не получивший окончательного разрешения, не развились ли общеславянский язык, с одной стороны, и общебалтийский — с другой, из общего для обеих этих групп языка-основы.

Много дает литовский язык (а отчасти и другие балтийские языки) для выяснения особенностей исторического развития славянского ударения. В славянском ударении наблюдается много своеобразных закономерностей, отличных от других индоевропейских языков (хотя некоторые соответствия в ударении мы и обнаруживаем между славянскими языками и некоторыми другими индоевропейскими, в первую очередь древнегреческим и древнеиндийским). Эти закономерности во многих случаях являются общими с балтийскими.

Так, для общеславянского языка-основы восстанавливается на основании отношений ударения и длительности слоговых звуков в отдельных славянских языках различие на долгих слогах музыкально восходящего и музыкально нисходящего ударения (краткие слоги для общеславянского языка-основы все характеризуются нисходящим тоном). Определенные соответствия не только в месте, но и в качестве ударения обнаруживаются между славянскими и балтийскими языками (в первую очередь литовским). Но славянское восходящее ударение соответствует литовскому нисходящему и, напротив, славянское нисходящее — литовскому восходящему. Ср., на-

пример, русск. *воро́на*, серб. *вра̏на*, слов. vrána, общеслав. *vórna, лит. várna; русск. *во́рон*, серб. *вра̑н*, слов. vrȃn, общеслав. *vȍrnъ, лит. var̃nas. Ввиду такого соответствия в славянской и балтийской акцентологии применяются условные обозначения (по отношению к обеим группам языков): „акут" для обозначения славянского восходящего и соответствующего ему литовского нисходящего ударения, „циркумфлекс" для обозначения славянского нисходящего и соответствующего ему литовского восходящего ударения. Помимо этих соответствий, в славянских и балтийских языках обнаруживаются общие передвижения ударения (т. е. изменения места). Так, например, установлено общее для славянских и для литовского языков передвижение ударения в определенных условиях на один слог от начала к концу слова. Результатом такого передвижения является, например, различие в месте ударения, наблюдающееся между именительным и винительным падежами ед. ч. в склонении с основой на *-a*. Ср., например, русск. *рука́* — *ру̏ку* (общеслав. *ronká — *rónkām, точнее *ronká — *rõnkām), лит. rankà — rañką. Эти различия являются результатом передвижения ударения в именительном падеже по так называемому закону Фортунатова — де Соссюра (закон получил такое название вследствие того, что он был открыт Ф. Ф. Фортунатовым и Ф. де Соссюром независимо друг от друга).

§ 16. Восстановив путем сравнения языков-основ отдельных групп звуковую систему индоевропейского языка-основы позднего периода, предшествовавшего обособлению отдельных языковых групп, мы можем, на основании изучения отношений внутри этой системы, восстановить ее последовательное развитие и вскрыть более ранние его этапы. Как отмечалось выше, приемы этой дальнейшей реконструкции в значительной степени специфичны, поскольку на первый план выдвигается внутренняя реконструкция, сопоставление же материала родственных языков оказывается лишь вспомогательным приемом.

Различные этапы проходит в своем развитии ударение индоевропейского языка-основы. В более поздний период

оно, повидимому, было близко к тому типу, который мы застаем в ведийском языке (ударение древнегреческого языка уже подверглось известным изменениям сравнительно с древнейшей эпохой), т. е. ударный слог очень мало отличался от безударных по интенсивности, но характеризовался более высоким музыкальным тоном голоса. Поэтому многие лингвисты предпочитают применительно к общеиндоевропейскому ударению пользоваться термином не „ударение“, а „тон“. Исследование же отношений между гласными общеиндоевропейского языка и, прежде всего, исследование так называемых количественных чередований приводит нас к гипотезе, что не всегда индоевропейское ударение носило такой характер, но была эпоха, когда ударный слог отличался от безударных большей интенсивностью. Именно при таком ударении могла осуществиться редукция безударных гласных, результатом которой и являются количественные чередования.

Исследование вокализма и консонантизма, восстановленных для индоевропейского языка-основы сравнительно позднего времени, приводит к выводу, что они проделали также длинный путь развития, и мы можем в известной мере восстановить это развитие на протяжении существования индоевропейского языка-основы, выявить различные этапы в этом развитии.

Остановимся на индоевропейском вокализме. Сравнение индоевропейских языков показывает, как уже говорилось, что индоевропейский язык-основа характеризовался наличием трех гласных в собственном смысле слова, а именно *e*, *o*, *a* кратких и долгих. Что касается дифтонгов, то они представляют собой сочетание гласного с сонантом, а сонант является, как известно, таким элементом, который в соседстве с гласным в собственном смысле слова функционирует как согласный и является неслоговым, а в соседстве с согласным функционирует как гласный и является слоговым. Но исследование отношений, связывающих гласные в собственном смысле слова, приводит нас к заключению, что некогда этот вокализм был проще. Так, можно видеть, что гласные *e* и *o* находятся в определенном чередовании, играющем морфологическую роль. Это чередование, хотя и морфологизовалось

в достаточно глубокой древности, имеет, очевидно, фонетический источник: различия *e* и *o* были некогда связаны с положением их по отношению к ударению, причем, поскольку первоначально *e*, повидимому, находилось под ударением, а *o* в безударном положении, можно думать, что первоначальным гласным был *e*, а *o* развилось из *e* там, где ударение передвигалось с *e* на соседний слог. Ср. греч. φέρω „несу“ — φορέω „ношу“. Конечно, в эпохи, засвидетельствованные памятниками, мы находим, в результате морфологизации этих отношений, *o* и под ударением. Ср., например, греч. φόρος „дань, подать“.

Изменение *e* > *o* происходило, повидимому, в ту эпоху, когда ударный слог индоевропейского языка-основы характеризовался более высоким тоном: собственный тон *e* выше, чем тон *o*, вследствие чего *e*, оказавшееся без ударения и произносившееся более низким тоном, легко могло быть воспринято как *o*.

Правда, известны как будто формы, содержащие *o*, не чередующееся с *e*, но в данном случае формы со ступенью *e* могли быть просто утрачены.

В восстановлении как вокализма, так и консонантизма индоевропейского языка-основы большую помощь оказывает сравнительно недавно (на протяжении последних десятилетий) разработанный материал хеттского языка, обладающего среди индоевропейских языков наиболее древними памятниками.

Хеттский язык занимает вообще довольно обособленное положение среди индоевропейских языков; некоторые лингвисты предполагают даже, что следует восстановить прежде всего систему общеиндоевропейского языка без хеттского, а затем уже восстанавливать общий источник общеиндоевропейской и хеттской системы, т. е. восстанавливать, как говорят, индохеттскую систему[1]. Сопоставление фактов других индоевропейских языков с фактами хеттского приводит многих лингвистов к предположению о еще большей простоте индоевропейского вокализма на более раннем этапе его раз-

[1] На такой точке зрения стоял Э. Стертевант (см. E. Sturtevant. A comparative grammar of the hittite language, 1933). Однако она оспаривается большинством языковедов.

вития, но вместе с тем к предположению о наличии в общеиндоевропейской звуковой системе некоторых согласных, точнее — неслоговых элементов, утраченных на протяжении ее развития (следы некоторых из этих согласных сохранились в хеттском языке).

Для хеттского языка устанавливается наличие отсутствующего в других индоевропейских языках ларингального согласного, условно обозначаемого ḫ. Ср., например, хеттск. ḫanti „впереди", ḫantezzi „первый", греч. ἀντί. „против", лат. ante (< *anti) „перед", „до". Этот факт послужил одним из оснований для так называемой „ларингальной гипотезы", разработанной польским лингвистом Ю. Куриловичем и воспринятой затем многими европейскими и американскими лингвистами (см. приложение к данной главе).

§ 17. Все изложенное выше заставляет нас придти к выводу, что восстанавливая звуковой состав языка-основы, мы часто находимся в области гипотез. Выдвижение гипотез является законным в любой науке, они двигают науку вперед, то, что сегодня является лишь гипотезой, завтра может получить совершенно прочное обоснование. Но именно потому, что мы оказываемся в области гипотез, нам порой приходится иметь дело с гипотезами, противоречащими друг другу, с различными объяснениями одних и тех же отношений, и наша задача решить, какая из различных гипотез имеет под собой больше оснований, более вероятна.

В качестве примера разных точек зрения на одно и то же явление можно сослаться на различную трактовку фактов общеславянского и общеиндоевропейского ударения. Согласно классической теории, над которой много потрудились выдающиеся русские и зарубежные ученые — Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Ф. де Соссюр, Х. Хирт, А. Мейе, Н. ван-Вейк, Л. А. Булаховский и др., общеславянская звуковая система характеризовалась (по крайней мере, в более ранний период развития общеславянского языка) наличием музыкальных различий (восходящего и нисходящего движения тона) на долгих слогах, как ударных, так и безударных (при нисходящем характере всех кратких слогов, — ударных

и безударных). С точки зрения такого музыкального характера слогов общеславянского языка разъясняются и передвижения по закону Фортунатова — де Соссюра, о котором говорилось выше. Передвижения эти рассматриваются как передвижения ударения с предшествующего слога краткого или „циркумфлексно долгого" на последующий долгий „акутовый" слог. С точки зрения такой характеристики слогов рассматривается и обратное движение ударения от конца к началу слова, известное под именем закона Шахматова.

По классической теории, характер ударения неконечных слогов в славянских и балтийских языках связан с отношениями слогов по длительности, имевшими место в индоевропейском языке-основе (см. выше), характер же ударения конечных слогов отражает различия в качестве ударения, существовавшие на почве индоевропейского языка-основы, а именно славянские и балтийские акут и циркумфлекс отражают различия акута и циркумфлекса, существовавшие в индоевропейском языке-основе и отражающиеся также в древнегреческом языке.

В последние десятилетия выдвигается другая трактовка характера как общеславянского, так и общеиндоевропейского ударения. Выдвигается предположение, что в общеславянском языке-основе, как и в исторически засвидетельствованных славянских языках, знающих музыкальные различия в ударении, эти различия характеризовали лишь ударные слоги. Вместе с тем выдвигается предположение, согласно которому различия акута и циркумфлекса, выступающие в определенную эпоху в конечных слогах в славянских и балтийских языках, сложились на почве общеславянского и общебалтийского языков и не являются продолжением отношений индоевропейского языка-основы. Различия акута и циркумфлекса в греческом языке сложились, по этой второй теории, независимо от славянских и балтийских языков, в индоевропейском же языке-основе этих различий не было, и ударение характеризовалось лишь местом, но не музыкальным качеством[1].

---

[1] Такая трактовка славяно-балтийского и общеиндоевропейского ударения была предложена Ю. Куриловичем и изложена в ряде его статей и, наконец, в книге „L'accentuation des langues indo-européennes", 1952.

Какая из гипотез является более вероятной? И на каком основании можно вообще говорить о большей или меньшей вероятности той или другой гипотезы? Не следует думать, что развитие звуковой системы в далекие дописьменные времена было подчинено каким-то совершенно иным закономерностям, чем звуковое развитие языков, известных по памятникам, или таких, произношение которых мы можем непосредственно наблюдать на слух и даже изучать при помощи приборов. Всегда необходимо обращать внимание на реальные фонетические возможности, апеллировать к фактам живых современных языков. И в данном случае, хотя гипотеза относительно характера общеславянского и общеиндоевропейского ударения, предложенная Ю. Куриловичем, в деталях вызывает много возражений, на которых мы здесь не останавливаемся, в целом более вероятно наличие музыкальных различий в общеславянском языке-основе только на ударных слогах. Сравнение же славяно-балтийского и греческого материала приводит нас к выводу о том, что ударение по своему качеству в той и другой области не всегда обнаруживает соответствия и в конечных слогах. Ср., например, общеславянское *r̃onkām, лит. r̃anką без передвижения на конечный слог по закону Фортунатова — де Соссюра и греч. θεᾱ́ν „богиню“ (с акутом на конечном слоге).

* * *

Сравнительно-историческое изучение фонетической системы родственных языков включает в себя целый комплекс задач. Простейшая задача — это установление закономерных фонетических соответствий между родственными языками. Переходя к реконструкции отдельных явлений в языке-основе, к изучению фонетических процессов и закономерностей фонетических изменений как в языке-основе, так и в развитии родственных языков, мы применяем все более сложные приемы, учитывая взаимосвязь фонетических явлений друг с другом, во-первых, и взаимосвязь фонетики и морфологии, во-вторых.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ III

ЛАРИНГАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА

При реконструкции древнейших архетипов корней и аффиксов индоевропейского языка-основы многими современными лингвистами широко используется так называемая „ларингальная гипотеза“, зарождение которой связано с именем Ф. де Соссюра.

В 1879 г. Ф. де Соссюр в своем „Мемуаре“, констатируя, что чередования *ē*, *ā*, *ō* с *ə* (так наз. schwa indogermanicum) представляют полную аналогию чередованиям *ei̯*, *eu̯*, *en* с *i*, *u*, *n̥*, высказал предположение, что это *ə* первоначально было неслоговым элементом своего рода дифтонгов (с *e* в качестве слогового элемента), ослабление которых привело к тому, что первоначальный слоговой элемент исчез, а неслоговой стал слоговым. Иными словами, подобно тому как при исчезновении *e* в дифтонгах *ei̯*, *eu̯* и в сочетании *en* неслоговые *i̯*, *u̯*, *n* превратились в *i*, *u*, *n̥*, так и в сочетании *eə̯* после исчезновения *e* неслоговое *ə* превратилось в „неопределенный“ гласный *ə* или „шва“.

Однако, поскольку стяжение сочетания *eə̯* дало три разных результата (*ē*, *ā*, *ō*), нужно было предположить, что само *ə̯* должно было иметь три разновидности ($ə̯_1$, $ə̯_2$, $ə̯_3$). С полной четкостью Ф. де Соссюр этого не сформулировал, но это ясно вытекает из его изложения[1].

В дальнейшем датский лингвист Г. Мёллер, стремившийся обосновать исконное родство индоевропейских и семитских языков, принимал п я т ь „ларингальных“ звуков для „индоевропейско-семитского праязыка“[2] и утверждал, что гласное начало слов в индоевропейских языках стало возможным лишь после исчезновения ларингальных звуков (или их превращения в слоговые гласные в некоторых языках). Развивая идеи Мёллера, А. Кюни решительно высказался за наличие т р е х видов ларингальных звуков — согласных, но становящихся гласными в положении между согласными. Качество ларингального придыхания в этих трех звуках он

---

[1] Ср. „Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes“, 1879, p. 146, 239, 269.

То, что позднее называли „ларингальными согласными“, Ф. де Соссюр относил к числу сонантов или „сонантических коэффициентов“ (см. „Mémoire. . .“, Préface, p. 5) и обозначал знаками A и O̯.

[2] H. Möller. Die semitisch-vorindogermanischen laringalen Konsonanten, 1917.

определял как палатальное (ə, дающее *e*), велярное (ə, дающее *a*) и лабиовелярное (ə, дающее *o*)[1].

Ни Бругман, ни Фортунатов и Поржезинский, ни Хирт, ни даже Мейе (ученик и преемник Соссюра) этих предположений не приняли. Приняв соссюровский термин „сонанты", Мейе относил к ним только сонорные согласные и неслоговые *i̯* и *u̯*. Бругман объяснял *ī*, *ū*, *n̥̄*, *r̥̄* и т. д. как „ослабление" сочетаний *éi̯ə*, *éu̯ə*, *énə*, *érə* и т. д. через промежуточную ступень *ii̯ə*, *uu̯ə*, *n̥nə*, *r̥rə* и т. д. (ср., например, др.-инд. bhūtás: bhávitum, др.-гр. θνητός: θάνατος)[2]. Фортунатов объяснял *ī* и *ū* (в определенных случаях)[3] из *ḁi*, *ḁu*, считая последние „фонетическим сокращением" *αi̯*, *αu̯*, а *n̥̄*, *r̥̄* и т. д., объяснял из *ḁn*, *ḁr* и т. д., которые, в свою очередь, являлись „сокращением" *ă^e n*, *ă^e r* и т. д. Однако в то же время Фортунатов допускал существование в „праязыке" сочетаний *ăi̯ə*, *ău̯ə*, *an̥e*, *anə* и т. д., а также *ĭə* и *ŭə*[4].

Хирт предполагал в тех же случаях ослабление сочетаний *ei̯ā*, *eu̯ā*, *erā*, *enā* и т. д. в *ъi̯ə*, *ъu̯ə*, *ъrə*, *ъnə* и т. д. и далее в *i̯ə*, *u̯ə*, *rə*, *nə* и т. д.[5]

Стройность всех этих построений была видимой, однотипные явления попадали в разные категории, разнотипные явления иногда объединялись[6].

В 1927 г. Ю. Курилович[7] открыл, что хеттское *ḫ* в ряде случаев соответствует соссюровскому *A*[8], и „ларингальная гипотеза" получила здесь первое свое фактическое обоснование, независимое от признания генетических связей индоевропейских языков с семитскими (Мёллер, Педерсен, Кюни).

В ряде других статей Курилович[9] развивал свою теорию ларингальных звуков в индоевропейском языке-основе и подвел, наконец, итоги своим исследованиям в книге „Индоевропейские этюды", в главе „Об исчезнувших консонантных элементах"[10]. В таком приблизительно виде эта теория принимается и Бенвенистом в книге „Древнейшее индоевропейское именное словообразование"[11].

---

[1] A. Cuny. Notes de phonétique historique indoeuropéenne et semitique. „Revue de phonétique", 1912, t. 12, p. 101—125.

[2] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik. . ., 1904, S. 142.

[3] Например, ст.-слав. вити при др.-инд. *váyati*, др.-инд. dhū́mah и ст.-слав. дымъ при др.-инд. *dhavisyáti*.

[4] Ф. Ф. Фортунатов. Краткий очерк сравнительной фонетики. . ., 1922, стр. 70—71, 75—76, 89—90. См. также В. К. Поржезинский. Очерк сравнительной фонетики. . ., 1912, стр. 17—32.

[5] Знак ъ у Хирта соответствует фортунатовскому α (так наз. schwa secundum), являющемуся результатом ослабления не *ē*, *ā*, *ō*, а *ĕ*, *ŏ*, *ă*; см. H. Güntert. Indogermanische Ablautsprobleme, 1916.

[6] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. II, 1921, S. 124—138.

[7] J. Kurylowicz. ə indoeuropéen et *ḫ* hittite, 1927.

[8] Ср., например, хеттск. maḫlaš — др.-греч. (дор.) μᾶλον из *me $ə_2$ l-o-s/m.

[9] „Prace filologiczne" t. XI, 1927, str. 201—243; „Rocznik orjentalistyczny", t. IV, 1926, str. 196—218; „Eos", t. 30, 1927, str. 196—218.

[10] J. Kurylowicz. Études indoeuropéennes, I, 1935, pp. 27—76.

[11] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indoeuropéen, 1935 (русск. перевод с предисловием и примечаниями Б. В. Горнунга. М., 1955).

Курилович подчеркивает, что правильное истолкование „вокализации“ ə̥ должно по-новому осветить общую теорию индоевропейского корня. Свою концепцию он формулирует в следующих положениях:

1) все долгие индоевропейские гласные, считающиеся исконными, являются результатом очень древней контракции краткого *e* и ларингального ə̥, а именно: $eə̥_1 > \bar{e}$, $eə̥_2 > \bar{a}$, $eə̥_3 > \bar{o}$; а, кроме того, *o*, чередующееся с *e*, в соединении с $ə̥_1$ тоже дает $\bar{o}$; эта контракция наступала в положении перед согласным;

2) интервокальное ə̥ исчезало, приводя к контракции гласных в зиянии;

3) между согласными ə̥ исчезало (оставив следы только в греческом языке);

4) в положении между согласным и гласным ə̥ исчезало, вызывая редукцию следующего гласного (превращение его в слоговое ə, в дальнейшем $\breve{a}$ или $\breve{\imath}$), а в индо-иранских языках — после глухих взрывных — создавая глухие придыхательные (*kə, pə, tə* > *kh, ph, th*);

5) все индоевропейские корни, начинающиеся с гласного звука, начинались раньше с ларингального, т. е. $ə̥_1\breve{e} > \breve{e}$, $ə̥_2\breve{e} > \breve{a}$, $ə̥_3\breve{e} > \breve{o}$ (не чередующиеся с *e*); перед согласным начальное ə̥ исчезало, не оказывая влияния на согласный;

6) хеттское ḫ представляет результат видоизменения $ə̥_2$, хотя есть случаи, когда „исконному“ гласному $\breve{\bar{a}}$ в других индоевропейских языках в хеттском не соответствует ḫ [1].

Таким образом, сторонники ларингальной гипотезы считают, что древнейший индоевропейский вокализм состоял из одного только гласного (типа *e*), наряду с которым существовали *i* и *u*, как слоговые ступени сонантов. Голландский лингвист Я. Ван-Гиннекен сделал из этого вывод, что фонематический (смыслоразличительный) характер имели когда-то одни только согласные, а гласный *e* выступал как фонетический призвук [2].

Третий пункт концепции Куриловича вызывает необходимость нового объяснения чередований $\bar{e} : ə$, $\bar{a} : ə$, $\bar{o} : ə$ (т. е. в дальнейшем — чередований долгих гласных с $\breve{a}$ в индоевропейских языках Европы и с $\breve{\imath}$ — в индоиранских языках). Курилович считает, что ослаблением *eə̥* была нулевая ступень, а ослаблением *ə̥e* — редуцированный гласный в середине слова, тогда как в начале слова *ə̥e* давало полные гласные *e*, *o*, *a*. Следовательно, *ĝenə- не есть ослабление *ĝənē-, а оба вида основы суть две разновидности п о л н о й ступени по отношению к двум разновидностям ослабленной ступени (*ĝnə- и *ĝnē-), так как *ĝenē- восходит к $\hat{g}ə̥_1en\text{-}eə̥_1$-, а ĝenə- восходит к $^*\hat{g}ə̥_1en\text{-}ə̥_1$-; соответственно *ĝnē- и *ĝnə- восходят к $^*\hat{g}ə̥n\text{-}eə_1$- и $^*\hat{g}ə̥_1n\text{-}ə̥_1$-. Следовательно, далее, в видах корня *ĝenə-

[1] Курилович высказывает здесь с оговоркой предположение о таком ə, которое в сочетании с *e* якобы всегда давало *a* во всех индоевропейских языках, в то время как $eə_2$ в хеттском языке давало не *a*, а ḫ.

[2] См. J. van Ginneken. Ein neuer Versuch zur Typologie der älteren Sprachstrukturen. „Travaux du cercle linguistique de Prague», vol. 8, 1939.

и т. п. мы не имеем каких-то „двуслоговых баз“, и никакой разницы между чередованием *ĝə̯ə$_1$n-ə̯$_1$-: *ĝə̯n-eə$_1$- и, например, чередованием *u̯erg-: *u̯rēg (т. е. первоначально *, u̯ə̯$_1$er-ə̯-g: *u̯ə̯$_1$r-eə$_1$-g) по существу нет[1].

Следует отметить, что известный американский лингвист Э. Сепир выдвинул гипотезу о четвертом ларингальном звуке более решительно, чем Курилович, и, кроме того, пытался даже более точно определить фонетически каждый из ларингальных звуков, считая звуки, обозначаемые Куриловичем $ə_1$ и $ə_4$, взрывными согласными, а $ə_2$ и $ə_3$ — спирантами[2].

Однако поддержки среди большинства сторонников „ларингальной теории“ (за исключением Э. Стертеванта[3]) это расширение и „уточнение“ ларингальной теории не встретило.

Особую позицию занимает чешский лингвист Л. Згуста[4]. Он признает наличие в древнейшем звуковом составе индоевропейского языка-основы о д н о г о звука (H), который: а) в хеттском языке оставил рефлекс в виде ḫ; б) в положении после гласных *e*, *a*, *o* исчез, вызвав превращение этих гласных в *ē*, *ā*, *ō*; в) в известных положениях подвергся вокализации, дав индоевропейское *ə* (schwa indogermanicum). Так как артикуляционная природа этого звука неизвестна, то Згуста считает, что называть „ларингальным“ его можно только условно, но лучше сохранить соссюровский термин „сонантический коэффициент“.

Вместе с тем Згуста решительно выступает против положения, лежащего в основе исследований Куриловича, Бенвениста и их последователей, именно против гипотезы о том, что древнейший индоевропейский вокализм ограничивался только одним гласным (*e*), не могущим иметь неслогового характера (в противоположность парам *i* — *i̯*, *u* — *u̯*). Згуста считает, что *e*, *a*, *o* были изначальными гласными и что их контракция со следовавшим за ними о д н и м и т е м ж е неслоговым „ларингальным“ или „сонантическим коэффициентом“ (H) дала *ē*, *ā*, *ō*, а „ослабление“ сочетаний *eH*, *aH*, *oH* дало *H̥* или *ə*, откуда известные ряды аблаута *ē* : *ə*, *ā* : *ə*, *ō* : *ə*, давшие в большинстве индоевропейских языков *ē* : *ă*, *ā* : *ă*, *ō* : *ă*, а в индоиранских языках — *ē* : *i*, *ā* : *i*, *ō* : *i*.

---

[1] Звук *g* в корне *u̯erg-: *u̯rēg рассматривается здесь как „распространение“ (см. ниже, стр. 200 и сл.).

[2] E. S a p i r. The indoeuropean words for „tear“ („Language“, vol. 15, 1939, p. 180—187).

[3] E. H. S t u r t e v a n t. The Indo-Hittite laringeals. Baltimore. 1942, p. 31, 37, 46, 58.

[4] L. Z g u s t a. La théorie laryngale. „Archiv orientální“, t. 19, 1951, p. 428—472.

See the full bibliography on this subject, pp. 316-19.

Глава IV

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА

§ 1. Восстановление фактов языка, не засвидетельствованных письменными памятниками, имеет свои методические особенности, зависящие от того, реконструируются ли простые неразложимые единицы речи или сложные образования. Основной единицей, с которой имеет дело сравнительно-историческое исследование родственных языков, в первом случае является **морфема**. Здесь положение об условности или немотивированности связи между звуком и значением действует в полном объеме (с исключением только для небольшого числа корневых морфем звукоподражательного происхождения)[1]. При анализе же сложных образований принцип мотивированности не может не учитываться. Отсюда — огромные трудности, возникающие при выделении в родственных языках единиц речи общего происхождения, могущих быть возведенными к языку-основе; подобные единицы могут являться результатом самостоятельного параллельного развития лишь заложенных в языке-основе тенденций или же результатом скрещивания или заимствования. Возможность параллельного развития приходится учитывать в каждом случае производного, а тем более сложного слова. Так, на-

---

[1] В зарубежных этимологнческих словарях (н особенности в общеиндоевропейских словарях Вальде-Покорного н ноном, незаконченном словаре Покориого) звукоподражательным истолкованием корневых морфем очень злоупотребляют.

пример, сопоставляя др.-инд. *janitā* „родитель“ с др.-греч. γενετήρ „родитель“, мы можем с полной уверенностью утверждать реальность в языке-основе, к которому должны восходить оба эти языка, двух морфем, являющихся архетипами для *jani-* и γενε- (условно *$\hat{g}$*enə-*)[1], и для -ta и -τηρ (условно *-*tēr* : **tōr*). Но это сопоставление не дает нам прочных оснований для утверждения о реальности существования в языке-основе данного морфологического образования в целом (условно *$\hat{g}$*enətēr*), так как такое образование будучи вполне мотивированным (при уже закрепившихся за каждою морфемою значениях), легко могло возникнуть в обоих родственных языках самостоятельно в эпоху их уже обособленного существования[2].

Однако как бы ни были велики трудности применения сравнительно-исторического метода к анализу целых слов, мы не можем ограничиться лишь восстановлением морфем, существовавших в языке-основе, так как такое ограничение лишило бы наши реконструкции какой-либо реальности. Морфемы в любом языке (следовательно, и в не дошедшем до нас языке-основе) могли существовать реально только в составе слов, в которых им была присуща та или иная структурно-функциональная характеристика. Поэтому они восстанавливаются только как морфемы корневые, префиксальные, суффиксальные и т. п. и далее как морфемы или словообразовательного или формообразовательного (грамматического) характера.

Такой подход должен дать возможность установления основных морфологических типов, характерных для

---

[1] Архетип дается в традиционном виде „двуслоговой базы“, отвергаемой новейшими теориями индоевропейского корня (см. примеч. 52 и 54 к русскому переводу книги Э. Бенвениста „Индоевропейское именное словообразование“. М., 1955, стр. 253).

[2] См. А. И. Смирницкий. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании. „Вопросы языкознания“, 1952, № 4, стр. 9. Ср. также приводимое А. А. Белецким („Принципы этимологических исследований“, Киев, 1950, стр. 46—47) ново-греч. слово ἀνδρόγυνον > ἀντρόγυνο „супружеская чета“ (т. е. „муж“ + „жена“), бесспорно, созданное независимо от др.-греч. ἀνδρόγυνος „обоеполый“, хотя и из того же лексического материала.

данной семьи родственных языков или для более мелкой группы внутри ее. Для индоевропейских языков в этой области накоплен огромный материал, но общепринятых обобщений, касающихся морфологических типов слов, еще нет.

Чем больше мы углубляемся в область словообразования в собственном смысле, анализируя уже не закономерности изменений формы слова, связанных с его ролью в предложении, а закономерности тех изменений его внутренней структуры, которые вызываются потребностью в новых словах, тем очевиднее выступает принцип мотивированности изменения звуковой формы слова, тем сложнее и труднее становится применение сравнительно-исторического метода. И если наибольшую трудность из всех разделов сравнительно-исторического языкознания представляет систематическое построение сравнительно-исторической лексикологии (фактически еще не существующей), то и изучение в сравнительно-историческом плане процессов словообразования, связанное с изучением морфологической структуры слова и занимающее промежуточное место между морфологией и лексикологией[1], приближается по своим методическим трудностям к этой последней.

§ 2. Словообразование традиционно делится на словопроизводство (т. е. производство различных новых слов от одной и той же основы, включающее в себя и образование новых, производных основ) и словосложение (т. е. сочетание разных основ в процессе производства нового слова).

В первом случае мы имеем дело с одним носителем первоначального лексического значения, которое видоизменяется в процессе либо распространения его звуковой формы (путем аффиксации), либо ее видоизменения (путем аблаута). В этом

[1] Ср. у академика В. В. Виноградова: „То, что известно у нас под названием анализа морфологического состава слова, должно быть отнесено не только к морфологии, но и к лексикологии“ („Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии“. Сб. „Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию“, М. 1952, стр. 132).

случае, с формальной стороны, процесс образования нового слова (с новым лексическим значением) не отличается от процесса образования какой-либо формы того же слова (с тем же лексическим значением). Ср. лат. lego — lectum (из leg-tum) и lego — lector (из leg-tor); legit (Praesens) — lēgit (Perfectum) и tego — toga; др.-греч. λείπω — λέλοιπα и λείπω — λοιπός.

Во втором случае процесс образования нового слова не имеет аналогий в области формообразования и (по крайней мере, в индоевропейских языках) четко отграничивается от нее, не отграничиваясь зато иногда от области устойчивых словосочетаний, потенциально переходящих в сложные слова. Однако это последнее обстоятельство, крайне важное для истории новых индоевропейских языков, не особенно осложняет сравнительно-историческое исследование, имеющее дело в каждом языке прежде всего с его древним наследием, восходящим к эпохе существования общности языка-основы или к таким эпохам, когда заложенные в древности тенденции развития еще были в полной мере действенными. Принципы словосложения, которые выработались еще в языке-основе, получили наибольшее развитие в древних индо-иранских языках, но действовали в разной степени и во всех других языках индоевропейской семьи. Эти принципы долгое время препятствовали возникновению процессов перехода словосочетаний в сложные слова, которые продолжали создаваться только при помощи разных способов сочетания основ. Довольно редки такие случаи, как переход др.-греч. Διός κοῦροι „отроки Зевса“ в Διόσκουροι „Диоскуры“, где в состав сложного слова вошла в неизменном виде форма род. п. ед. ч. Διός от имени Ζεύς. Обычно же древнегреческий язык использует те основные способы словосложения, которые были выявлены древнеиндийскими грамматиками в санскрите.

Граница между словопроизводством (деривацией) и словосложением (композицией) является в индоевропейских языках тоже достаточно четкой, несмотря на то, что, конечно, значительная часть словообразовательных аффиксов в этих языках возникла в результате „стирания“ формы и потери самостоятельного лексического значения такими звуковыми комплек-

ксами, которые были когда-то самостоятельными словами. Эта двойная утрата (первоначальной звуковой формы и первоначального значения) привела к тому, что отношение семантического равновесия частей сложного слова сменилось почти таким же подчинением значения словообразовательных средств значению корневой морфемы, какое наблюдается в отношении к той же морфеме у суффиксов словоизменения.

Для индоевропейских языков крайне существенно семантическое различие между префиксальными и суффиксальными морфемами, состоящее в том, что первая категория, первоначально совершенно не используемая как средство словоизменения (в противоположность, например, некоторым кавказским и древним переднеазиатским языкам), сохраняет более ясно свой конкретно-лексический характер и лишь очень поздно и в редких случаях начинает применяться к системе глагола для выражения видо-временных значений (славянские приставочные образования с видовым значением типа *делать* — *сделать*; немецкий префикс *ge-* и т. п.). Наиболее обычный путь образования префиксальной морфемы таков: наречие (почти знаменательное слово) — предлог (служебное слово) — приставка (часть слова). Ср. лат. paucis diēbus ante „на несколько дней раньше“ — ante portas „перед воротами“ — antepōno „предпочитаю“ (букв. „ставлю впереди“).

Сравнительно-историческое изучение морфологической структуры слов в родственных языках, принадлежащих к флективно-синтетическому типу, сводится к следующим исследовательским приемам сопоставления, сравнительного анализа и реконструкции:

1) анализ соотношения между корневыми и аффиксальными морфемами в тех словах, общность происхождения которых обосновывается фонетическими и семантическими соответствиями (при этом под „корневой морфемой“ может пониматься как непроизводная основа, т. е. „корень“ в собственном смысле, так и различные виды производных, „опрощенных“ или „переразложенных“ основ);

2) анализ структуры производных слов: а) с точки зрения выделения в них аффиксов, „распространивших“ первоначаль-

ный корень[1]; б) с точки зрения выявления в них различных „ступеней“ аблаута, т. е. чередований коренного гласного;

3) анализ структуры самого корня и его вариантов, не связанных ни с аффиксальным его „распространением“, ни с различием „ступеней“ чередования коренного гласного, но обусловленных: а) наличием в этих вариантах разных „определителей“ („распространений“ неаффиксального характера), иногда препятствующих реконструкции единого архетипа корня; б) возможностью корреляции двух вариантов корня, представляющих собою результаты метатезы (например, **ter-* : **tre-*, **sen-* : **sne-* и т. п.)[2].

Сохранение указанной последовательности в использовании этих аналитических приемов обусловливает строгую последовательность в применении сравнительно-исторического метода к анализу морфологической структуры слов. Отсутствие этого приводило обычно к смешению процессов собственно словообразовательных, формообразовательных и словоизменительных там, где они в реальной языковой действительности не перекрещиваются. Но вообще такие перекрещивания наблюдаются, что создает дополнительные трудности для исследования. Эти качественные преобразования структурных единиц языка могут быть сведены к следующим типам:

1) превращение слов в формальные морфемы, о котором говорилось выше (таким может быть происхождение отдельных падежных или личных глагольных окончаний, но это ни в коем случае не может быть признано единственным путем происхождения „флексий“);

---

[1] О точиом различении собствеиио аффиксов и „распространеиий“ (по Бенвеиисту) см. ниже, стр. 176, примеч. 1, стр. 206—207.

[2] Так иазываемая „лариигальиая гипотеза“ (см. о ней приложеиие к гл. III) дает возможность зиачительно более широкого примеиеиии такого аиализа, впервые использованиого в киrге Э. Бенвениста „Origines de la formation des noms en indoeuropéen“ (1935), например в реконструкции таких коррелятивных видов корией, как *$*ə_1$én-u̯* : *$*ə_1$n-eu̯*, что позволяет проясинть соотиошение др.-арм. inn и др.-греч. ἐν(ν)ε Ϝα, др.-иид. nava, лат. novem и т. д.; *$*ə_2$ér-g* : *$*ə_2$r-ég* в соотиошеиии др.-греч. ὄργυια с ὀρέγω и лат. rego и rex (из *reg-s).

2) превращение формы слова в самостоятельное слово (например, происхождение наречий из падежных форм, субстантивация среднего рода имен прилагательных);

3) превращение форм разных слов в формы одного и того же слова (супплетивизм), имеющее много разновидностей, например: а) при образовании форм числа (*дитя—дети*, *цветок—цветы* и т. п.), б) при образовании видов глагола (*брать—взять*, *садиться—сесть* и т. п.);

4) превращение форм одного и того же слова в разные слова (например, лат. nōvi „знаю“ по своему происхождению есть перфект от nosco „узнаю“; таковы же др.-греч. перфекты, ставшие самостоятельными словами: οἶδα „знаю“, δέδοικα „боюсь“, μέμνημαι „помню“, ἐγρήγορα „бодрствую“, κέκτημαι „владею“, πέφυκα (= ἐστί) и др.)

Для того чтобы правильно понимать сущность такого рода качественных преобразований структурных единиц языка, необходимо четкое различение *формы слова* и *производного слова*, что далеко не всегда наблюдается в сравнительно-исторических исследованиях, так как последние отражают неясность постановки этого вопроса в трудах по общему языкознанию. Запутанностью вопроса о языковой форме языкознание обязано как идеалистическим концепциям В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, Г. Габеленца, А. Марти, Ф. де Соссюра и др., так и философской неискушенности многих лингвистов-эмпириков (прежде всего последователей младограмматической школы). Это сильно тормозило анализ морфологической структуры слова в сравнительно-историческом и генетическом плане. Много неясностей и недоговоренностей остается поэтому и в замечательных работах А. А. Потебни, а у некоторых его продолжателей эти неясности в рассуждениях об отношении между „корнем“, „основой“ и „словами“, произведенных от них, превращаются в целую систему ошибок[1]. Но особенно страдают этим недостатком сравнительно-исторические работы тех лингвистов, которые вслед за Ф. Ф. Фортунатовым относили формы числа, рода, степеней сравнения, деепричастий, соотно-

[1] Ср. в особенности А. Л. Погодин. Следы корней-основ в славянских языках. Варшава, 1903.

сительные видовые формы глагола к „формам словообразования“[1]. При этом отнесении игнорировался один факт, основополагающий как для морфологии, так и для лексикологии, а следовательно и для промежуточной между ними области словообразования: функциональная объединенность и системная соотнесенность всех форм одного слова (*белый — белому — белая — белой — белые — белых — белее — белейший* и т. д.; *считать — считает — считаем — считал — считала — считая — считающий — счесть — сочтёте — счёл — сочла — сочли* и т. д.). Эта системная соотнесенность форм резко отграничивает данные слова от других слов, любые формы которых находятся вне системы форм данного слова (*беленький, беловатый, белеть, белúть, белóк, белизна, бéлка, белила* и т. д.; *счёт, считалка, подсчитать, отсчитать, обсчитать, обчесть* из **обсчесть* и т. д.)[2].

Выпадение формы из системы форм одного слова и превращение ее в новое слово может иногда происходить в результате чисто семантических причин: например, *пребелый, пресветлый* — формы слов *белый, светлый*, но *прекрасный* стало не формой слова *красный*, а самостоятельным словом, после того, как слово *красный* потеряло значение „красивый“. Это выпадение происходит всегда, когда форма слова переходит

---

[1] См. изложение взглядов Фортунатова, например, у В. К. Поржезинского „Введение в языковедение“, изд. 4, стр. 145. Понимание форм вида глагола как „словообразовательных“ см. в литогр. курсе Ф. Ф. Фортунатова „Сравнительная морфология. Спряжение“, стр. 11—12. Отнесение степеней сравнения (συγκριτικὸν εἶδος) к области „деривации“ (παράγογον εἶδος) восходит к Дионисию Фракийскому (гл. „Περὶ ὀνόματος“).

На ошибочность этого положения указывали И. А. Бодуэн-де-Куртене и Л. В. Щерба, но и в работах самого Щербы полная ясность в постановке этого вопроса не была достигнута. См. В. В. Виноградов. Указ. статья, стр. 107—109.

[2] Особый случай представляют собой завершенные в своей структуре супплетивные ряды, например, лат. fallo — fefelli — deceptum, являющиеся основными формами одного и того же глагола, несмотря на вхождение супина deceptum и в систему глагола decipĕre; др.-греч. супплетивные ряды типа φέρω — οἴσω — ἤνεγκον — ἐνήνοχα, ὁράω — ὄψομαι — εἶδον — ὄπωπα. Ср. с ними полную незавершенность супплетивизма и беспорядочное нагромождение синонимических форм в ряду ἀγορεύω (λέγω, φημί) — ἐρῶ (λέξω) — εἶπον (ἔλεξα, ἔφην) — εἴρηκα — εἴρημαι (λέλεγμαι) — ἐρρήθην (ἐλέχθην).

в другую лексико-грамматическую категорию (часть речи): например, лат. domī и русск. *дома* — это не формы слов domus и *дом*, а новые слова (наречия), как и лат. domum, domō. У Фортунатова и его последователей грань между образованием степеней сравнения, причастий, деепричастий и образованием, например, наречий стирается. Ср. также нем. schreiben — das Schreiben, др.-греч. λέγειν — τὸ λέγειν. Сложнее вопрос о латинском Infinitivus praes. activi как именительном падеже в системе герундия.

Приведенные положения, относящиеся к общей теории словообразования и формообразования, очень часто игнорируются и нарушаются в сравнительно-исторических исследованиях по словообразованию в родственных языках и в этимологических исследованиях, где приходится сопоставлять различные формы деривации от одних и тех же „корневых морфем", сохранившиеся в разных языках[1]. Исключительная неясность в этом вопросе, проистекающая из непонимания слова как системы форм и непонимания разницы между формой слова и производным словом, встречается иногда и в этимологических словарях, особенно в словарях, охватывающих всю семью индоевропейских языков (словари Фикка, Вальде-Покорного, Покорного) или достаточно обширную группу родственных языков (например, балтийско-славянский словарь Траутмана, общеславянский словарь Бернекера).

§ 3. Любое сравнительно-историческое исследование отправляется от сопоставления в сравниваемых родственных языках реально существующих слов во всем многообразии их грамматических форм. Из сопоставления возможно большего количества слов с тождественным или сходным значением выводятся те или иные закономерные фонетические соответствия, которые затем сами служат основанием для сопоставления слов с далеко разошедшимися значениями, для построения „этимологий". Из сопоставления слов, находящихся в кон-

[1] См. об этом в автореферате диссертации: А. А. Асмаигулян. К вопросу о методике этимологических исследоваиий, М., 1952. Ср. также ее статью в „Докладах и сообщениях Ии-та языкозиаиия СССР", вып. X, стр. 29—44.

тексте в одинаковом или аналогичном отношении к другим словам в предложении, выводятся данные о правилах изменения слов и о правилах их сочетания в предложения, т. е. данные о сходстве и различиях в грамматическом строе сравниваемых языков, из чего затем делаются выводы о соотношении развития грамматического строя в отдельных родственных языках, о сохранении в них старого общего наследия, о различном параллельном развитии одних и тех же тенденций, о новообразованиях и их хронологии.

Таким же путем, от сравнения отдельных слов (тоже в принципе в возможно бóльшем их количестве) и сопоставления предварительно определяемых типов звуковых комплексов в соответствующих лексико-грамматических категориях, идем мы и к определению элементов морфологической структуры слова, их формального и семантического соотношения, мотивированности их сочетания, к выявлению закономерностей словопроизводства, к установлению словообразовательных категорий, являющихся результатом взаимодействия грамматических и лексических значений слов. Наконец, мы подходим к реконструкции соотношения словообразовательных систем сравниваемых языков в разные периоды их развития, к определению в каждой системе старого общего наследия, различного развития отдельных элементов этого наследия (продуктивные и непродуктивные словообразовательные типы), к определению хронологии появления тех или иных новых принципов словообразования. На этом пути мы широко используем выводы, добытые сравнительно-фонетическим и сравнительно-грамматическим исследованиями, обогащаем и уточняем их данными нашего раздела науки о языке и, наконец, подготовляем базу для сравнительно-лексикологического анализа родственных языков, который снова обращается к словам как таковым и к их лексическим значениям, но уже во всеоружии данных исторической фонетики, исторической грамматики и истории словообразовательных процессов.

Прежде чем перейти к вопросу о приемах сравнительно-исторического анализа морфологической структуры слова в индоевропейских языках, необходимо остановиться на чрезвычайно важном положении, которое тоже не всегда доста-

точно принимается во внимание, — на положении об исторической изменчивости самой этой структуры.

Наиболее простые и ясные случаи этой изменчивости, учетом которых и ограничиваются чаще всего сравнительно-исторические исследования, следующие:

1. Производные основы становятся (для системы языка в определенный момент его развития) непроизводными, т. е. неделимыми в сознании говорящих на морфемы. Некоторые лингвисты считают, что производная основа сохраняется как таковая до тех пор, пока в языке продолжает существовать непроизводная основа, являющаяся источником ее образования[1]. Если же слова с соответствующей непроизводной основой выпали из языка (как, например, древнерусские слова *вага*, *жасити*, *бела*, *доблий*, *хыз*), то в словах, образованных от них и продолжающих существовать, их основа, представляющая собою аффиксальное распространение, сопровождаемое иногда и изменением конечного согласного старой основы (*важн-ый*, *ужас*, *белк-а*, *доблесть*, *хижин-а*), начинает осознаваться как непроизводная. То же самое наступает и в тех случаях, когда слова с непроизводной основой продолжают существовать в языке, но семантическая связь с ними у слов, образованных от них, порывается, т. е. происходит их „деэтимологизация" (*крупный — крупа*, *наряд — ряд*, *добыть — быть*, *пир — пить*, *площадь — плоский*, *обруч — рука*, *обух — ухо*, *победа — беда*, *защита — щит* и т. п.)[2]. Изло-

---

[1] Ср. Г. О. Винокур. Заметки по русскому словообразованию. „Известия АН СССР, Отд. лит. и яз.", 1946, № 4, стр. 319. Положение Г. О. Винокура принимается и развивается в популярной брошюре Н. М. Шанского „Основы словообразовательного анализа" (М., 1953), где отмечается (на стр. 19), что эта точка зрения нашла отражение и в академической „Грамматике русского языка", т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 213 (о слове *скорняк*).

[2] См. Н. М. Шанский. Указ. соч., стр. 19—20. См. также статью Л. А. Булаховского „Деэтимологизация в русском языке" („Труды Ин-та русск. языка АН СССР", т. I, 1949, стр. 147—201), где, однако, вопрос об утере семантических связей с непроизводной основой во многих случаях разрешается не всегда убедительно (например: *опёнок — пень*, *блюдце — блюдо*, *клинок — клин*, *носок — нос*, *кошолка — кошель* и мн. др.).

женная точка зрения на соотношение производных и непроизводных основ в системе языка в определенный период его развития правильна в своей основе, но реальные процессы, с которыми приходится иметь дело при сравнительно-историческом исследовании морфологической структуры слов в родственных языках, много сложнее и, мы сказали бы, прихотливее. Поэтому вопрос об условиях, создающих возможность членения на отдельные морфемы **о с н о в ы** как части слова, которая остается неизменяемой при присоединении словоизменительных аффиксов (флексий), — вопрос, стоящий на грани грамматики и семасиологии, — должен быть признан не разработанным еще до той степени, которая позволила бы компаративистам исходить здесь из каких-то общепринятых теоретических установок. Так, например, в лат. tendo и лит. tempiù „протягиваю“ основы tend- (tent-)[1] и temp- (из *ten-p), от которых образованы лат. tendor „напряжение“, tendicula „ловушка“ и т. д. и лит. témpėti (синоним temptis „тянуться“), templ̃ė, temptývа „тетива“, tamprùs „упругий“ и т. д., являются в **о д и н а к о в о й с т е п е н и** непроизводными, несмотря на существование лат. глагола teneo „держу“ с его производными (tenax „цепкий“, „устойчивый“, tenor и т. д.) и отсутствие образований от основы *ten-* без „детерминатива“ *p* в литовском языке[2]. Наоборот, в др.-греч. τείνω (из *ten-i̯-ō) производность основы τειν-, омонимически случайно совпавшей

[1] Непронзводную основу tent- мы нмеем, напрнмер, в tentorium „палатка“, образованной от супина tentum (или от прнчастия ср. р. страд. зал. tentum), который получнлся из *tend-tum.

[2] В лнтовском эта основа в измененном виде может быть обнаружеиа только в tiñklas „сеть“; ср. ст.-слав. тенето, русск. pluralis tantum *тенёта*, латыш. tinu „мотаю пряжу“, tikls „сеть“. В словаре Траутмана (стр. 318) tempiù ошибочно связывается с лат. tempus „отрезок (временн)“, где основа — *tem-p-* (ср. др.-греч. τέμνω „режу“, τέμενος „надел“, ст.-слав. тьнѫ, тѧтн); такое поннмание происхожденvя лат. tem-pus представляется нам еднннственно правнльным, несмотря на то, что оно совсем не упомннается в словарях Буазака (см. под словом τέμνω) н Мейе-Эрну (см. под словом tempus), хотя нменно в последнем словаре (нзд. 3, стр. 1203—1204) дается достаточный фразеологический матернал, обосновывающнй значение tempus как **о т р е з к а** времени в протнвоположность aevum. Сопоставленне tempus — лит. tempiù приводнтся у Мейе-Эриу как возможное.

с основой аориста (ἔτεινα из *ἔτενσα), сохраняется благодаря наличию первоначальной основы в будущем времени τενῶ (из *τεν-έσ-ω) и образований непосредственно от основы τεν- (например, τένων „жила“, ἀτενής „тугой“), но формы τέτακα, τέταμαι, τατός (от слабой ступени корня **tn̥-* при *n̥ > ă*) осознавались как супплетивные, что и нашло себе выражение в школьно-грамматической традиции — в указании двух „корней“ глагола τείνω (τεν- и τα-)[1]. Нечеткость трактовки таких вопросов в компаративистике объясняется, с одной стороны, недостаточным вниманием к сложности структуры слова как системы соотносительных форм[2], а с другой — неразработанностью вопроса о структуре первоначального вида корней в индоевропейском языке-основе и противоречивостью относящихся к этому вопросу теорий (см. об этом ниже).

2. Несколько самостоятельных аффиксов могут слиться в один трудно поддающийся анализу аффиксальный комплекс. Так, например, общеиндоевропейские суффиксы названий орудия или места действия *-*dhro*- и *-*dhlo*-, возможно, включили в себя суффиксальный (или „детерминативный“) элемент *-*dh*-[3], сохраняющийся: а) в др.-греч. πέρθω „разрушаю“ (ср. др.-инд. bhára „битва“, ст.-слав. бορѭ), может быть и в др.-в.-нем. barta „топор“, а также с детерминативом -*g*- в готск. brakja „битва“, где корень **bher*-: **bhor*-; б) в лат. verbum (-*b*- из **dh*-), др.-прусск. wirds, лит. var̃das и готск. waúrd „слово“ (ср. др.-инд. vrá-ta „обет“, ст.-слав. рота „клятва“, др.-греч. ῥή-τωρ, εἴ-ρη-κα, ἐρ-ρή-θην), где всюду различные ступени чередования

---

[1] См., например. С. И. Соболевский. Греческий язык. М., 1948, стр. 191.

[2] Ср. высказывание И. А. Бодуэна-де-Куртене: „Нельзя говорить, что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них „переходит“. Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществуют. . . и друг друга обусловливают“ (цит. по статье В. В. Виноградова „О формах слова“ в „Известиях АН СССР, Отд. лит. и яз.“, 1944, № 1, стр. 36).

[3] См. P. Persson. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation, 1891, S. 43—49; H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III, 1927, S. 258.

одного и того же корня *uer- : *ure- : *urō : *uor- : *uro-, и в целом ряде других случаев.

Эти суффиксы *dhro и *dhlo- существовали наряду с аналогичными по функциям суффиксами *-tro- и -*tlo-, где элемент *-t- тоже являлся „детерминативом“ (например, в др.-инд. kṛta, kṛti, ст.-слав. чрьта, кратъкъ при др.-греч. κείρω, авест. kar-, лат. cer-n-o со значением корня „ker-, *ker-t-, *ker-n- „резать“). Ср. например, равнозначное применение этих суффиксов в др.-греч. ἄροτρον, лат. aratrum, ст.-слав. рало (из *ra-dlo, ср. чеш. rádlo) „плуг“; др.-инд. bharítra „рука“, т. е. „то, что несет“ (корень *bher- „нести“), др.-греч. θέατρον „зрелище“ (от θεάομαι „смотрю“) и т. п.[1] Особенно показательно тождество функций суффиксов со звонкой аспиратой (dh) и с глухим (t) в названиях места действия, ср. от корня *ĝenə- „рождаю“: др.-греч. γενέθλη и др.-инд. janítra-m „место рождения“[2]. При этом детерминатив *-dh- чередуется с детерминативом *-t- (например, др.-греч. ἶθμα — лат. iter; лат. ruber, rufus, др.-греч. ἐρυθρός — лат. rutilus)[3]. Так как наряду с суффиксами *-dhro-, *dhlo-, *-tro-, *-tlo- существовали суффиксы *-ro- и *-lo-[4], применявшиеся преимущественно для образования прилагательных отыменных (например, др.-греч. κρατερός, φοβερός) и отглагольных (например, готск. baitrs и др.-в.-нем. bittar „горький“ от корня *bhoid-: *bhid- „кусать“, ср. нем. beißen), для распространения уже существующих прилагательных (др.-греч. παχύς — παχυλός, πίων — πίαλος) или существительных (лат. oculus при ст.-слав. око, лит. akìs), то возможно предположение, что названные четыре суффикса

---

[1] Функционально тождественными считают эти суффиксы Бругман (см. „Kurze vergleichende Grammatik...“, S. 334—335) и Мейе (см. Введение..., стр. 282—283).

[2] K. Brugmann. Указ. соч., стр. 335.

[3] См. P. Persson. Указ. соч., стр. 48.

[4] H. Hirt (Indogermanische Grammatik, Bd. III, S. 186—187, 281—283), в противоположность Бругману (Kurze vergleichende Grammatik..., S. 327, 333, 338, 346) и Мейе (Введение..., стр. 278), — отрицает древность и первоначальность суффиксов *-ro- и *-lo- и считает их тематическим распространением плавных основ (присоединение -o к основам на -r и -l).

возникли из распространения суффиксами *-ro- и *-lo- основ, уже имеющих „детерминатив" *-dh- или *-t-. Однако возможно и другое объяснение: можно предположить, что суффиксальные образования с *dhro- произошли из сложных слов со второю частью -dhara „имеющий при себе", „несущий и т. п., распространенных в др.-инд. языке (например, durdháraḥ) и связываемых с корнем *dher-. Этот корень выводится из слов, существовавших в др.-греч. языке (по глоссам Гесихия): ἀθερές „непостижимый", ἐνθρέω „храню", θρήσκω „думаю", „понимаю", θράσκω „вспоминаю", а также из ст.-слав. мѫдръ, лит. mándras, mandrùs др.-в.-нем. muntar, из *men(dh)-dhro- „обладающий мудростью", ср. лат. men(t)-s „ум", авест. mazdah из *m̥ndh-tos, др.-инд. medhas „мудрость"[1].

Очевидно, что в вопросе об определении аффиксального (чаще всего суффиксального) звукового комплекса как единой аффиксальной морфемы или как сочетания таких же морфем (или суффикса с детерминативом) или, наконец, как результата „опрóщения" старой корневой морфемы (ср. гипотезу о суффиксе *-dhro- из корня *dher- „нести на себя", „держать")[2] перед исследователем, производящим сравнительно-исторический анализ, стоят огромные трудности, неизмеримо большие, чем те, которые стоят перед изучающим словообразовательные процессы в пределах истории одного языка (ср., например, вопрос о соотношении русских суффиксов -ик, -ник, -чик, -щик и т. д.[3]). Эти трудности тормозят не только развитие

[1] См. H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III, S. 223. Приводимое здесь же и в ие упоминаемой Хиртом статье Э. Швицера (Zeitschrift für vergleichende Sprachforsch., Bd. 37, S. 149 и сл.) др.-греч. σχυθρός как „обладающий гиевом" при гомеровских σχυθμαίνω и σκύζομαι „гиеваться" не обосновано, так как здесь скорее суффикс *-ro- в своей обычиой фуикции образоваиия прилагательных. Более обычио иное объяснеиие лат. слова mens, именно: кореиь men- (ср. memini) + суфф. -ti, как в ст.-слав. памѧть, лит. at-min-tis, готск. gamunds (ср., например, словарь Мейе — Эрну, изд. 3-е, стр. 703—704).

[2] Ср. также нерешенный вопрос о латииских словах с окончаиием -ceps (auceps, praeceps, princeps и т. д.) в их связях с capio и caput; ср. также лат. tubicen „трубач" в его отношении к cano „пою".

[3] См. В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947, стр. 98—102; Грамматнка русского языка, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 217—

сравнительно-исторической лексикологии, но и сравнительно-исторической морфологии, если последняя ставит вопрос о генезисе флективно-синтетического строя индоевропейских языков. При исследовании этого вопроса приходится углубляться в такие эпохи, когда соотношение между средствами словообразования и словоизменения могло быть совсем иным, чем в системах древнейших засвидетельствованных письменностью языков, а также и в тех реконструкциях языка-основы (у Бругмана, Фортунатова, Мейе), которые производились без достаточного учета того, что основные элементы грамматического строя древнеписьменных индоевропейских языков могли развиться уже после обособления отдельных диалектных групп языка-основы или даже зародиться лишь в отдельных его диалектах.

3. Одна и та же „корневая" морфема на различных ступенях чередования корневого гласного или в различных своих вариантах дает начало самостоятельному развитию нескольких основ еще в доисторический период, причем всякая семантическая связь между этими основами утрачивается. На первый взгляд это не создает особых трудностей для сравнительно-исторического анализа морфологической структуры слова, так как вопросы аблаута являются достаточно ясными для того периода, когда основные диалектные группы, лежащие в основе отдельных групп индоевропейских языков (индо-иранской, греческой, славянской и др.), начали обособляться от языка-основы. Полная неясность вопроса о возникновении аблаута и о его первоначальных семантических и грамматических функциях (или отсутствии таковых) и противоречивость гипотез, связанных с этим, повидимому, не влияют на то, что̀ относится к уже оформившимся в определенный исторический период рядам чередований различных звуковых видов одной и той же морфемы, включающим в себя элементы как качественного чередования

221; „Современный русский язык. Морфология" (курс лекций). М., Изд-во МГУ, 1952, стр. 98—101; П. Я. Черных. Историческая грамматика русского языка. М., 1952, стр. 291—293.

(типа *ĕ* : *ŏ* : нуль), так и количественного (типа *ĕ* : *ē*) и комбинированного (типа *ĕ* : *ō*).

Так, например, ряд чередований гласного второго слога основы **pətēr-*, засвидетельствованной в большинстве индоевропейских языков, дает в древнегреческом языке, при сопоставлении слов πατήρ „отец“ и εὐπάτωρ „происходящий от благородного отца“, шесть ступеней: πατρός (род. пад. ед. ч.): πατράσι (дат. п. мн. ч.): πατέρα (вин. п. ед. ч.): πατήρ (им. п: ед. ч.): εὐπάτορα (вин. п. ед. ч.): εὐπάτωρ (им. п. ед. ч.). В этом ряду комбинируются пять самостоятельных чередований: 1) πατρός : πατέρα : εὐπάτορα (*r* : *ĕr* : *ŏr*); 2) πατέρα : πατήρ (*ĕr* : *ēr*); 3) εὐπάτορα : εὐπάτωρ (*ŏr* : *ōr*); 4) πατέρα : πατράσι (*ĕr* : *r̥*, так как др.-греч. ρα здесь из *r̥*); 5) πατήρ : εὐπάτωρ (*ē* : *ō*) или четыре чередования, если мы объединим четвертое с первым (*r* : *r̥* : *ĕr* : *ŏr*) или со вторым (*r̥* : *ĕr* : *ēr*). Разумеется, далеко не во всех случаях дело обстоит так же ясно, как в приведенном примере. Нередко влияние аналогии нарушало закономерности чередования гласных уже в самом языке-основе индоевропейской семьи, но степень таких нарушений сильно преувеличивается некоторыми лингвистами (например, Хиртом)[1].

Не представляет трудностей и разграничение чередований, возникших до обособления отдельных языков или языковых групп, т. е. чередований, за которыми собственно и закрепилось со времен Я. Гримма название „аблаута“ (например, русск. *везу*: *во́з*, лат. tĕgo: tŏga), и чередований, возникших на почве развития отдельных языков (русск. *село́* : *сёла*, лат. velim: volo). Трудности, связанные с хронологизацией возникновения самостоятельных основ слов и с определением соотношения производных и непроизводных основ, вызваны здесь неясностью хронологического соотношения между формированием

[1] См. H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III. 1921, Vorwort, S. 5.

Второй том этого труда является переработанным переизданием его исследования „Der indogermanische Ablaut vornehmlich in seinem Verhältnis zur Betonung“ (Strassburg, 1900), оказавшего значительное влияние на разработку этой проблемы в XX в., хотя целиком схемы Хирта были приняты только немногими лингвистами. Некоторые положения, развитые Хиртом, имеются уже в работе Г. Гюбшмана „Das indogermanische Vokalsystem“. Strassburg, 1885.

рядов аблаута и развитием формы „корней“, их независимых от аблаута вариантов (см. об этом ниже) и наращиванием на них дополнительных элементов[1].

Так, например, латинский глагол meto „жну“ и его закономерные соответствия с тем же значением в кельтских языках (брет. middif и др.) дают основание предполагать, что глагольная основа *met-* со значением „жать“ существовала в тех диалектах языка-основы, из которых развились италийские и кельтские языки. За пределами этих языков основа *met-* встречается только в балтийских и славянских языках, но уже с иным значением — „бросаю“, „кидаю“. Ср. ст.-слав. **метѫ** — **мести**; русск. мечу́ — мета́ть; чеш. metu — mésti; слов. métem — mèsti; лит. metù — mèsti и итератив mẽtau (míetau) — mė̃tyti (míetyti); латыш. metu — mest, др.-прусс. po-mests „покоряться“. Установить какую-либо семантическую филиацию между „бросать“ и „жать“ очень трудно, и поэтому приходится либо допустить ничем не оправданную изначальную омонимию корней в индоевропейском языке-основе, как это делается в словаре Вальде — Покорного, либо предположить, что в одной из языковых групп (балтийско-славянской или итало-кельтской) одна из основ (вероятнее всего, технический термин, обозначающий уборку посевов при помощи серпа) была заимствована из неиндоевропейского языка[2]. Казалось бы, этот пример не

[1] Эти дополнительные элементы одними лингвистами рассматриваются как древнейшие словообразовательные суффиксы, утратившие затем свою семантическую функцию, а другими (из новейших ученых, в частности, Э. Бенвенистом) они уже по своему исконному значению и по своей роли в образовании производной основы резко противопоставляются суффиксам как „распространения корня“ (élargissements, Wurzelerweiterungen) или „определители корня“ (Wurzeldeterminativa). Полной четкости в этом разграничении пока не достигнуто. Особенная же нечеткость характеризует все работы Г. Хирта, в которых одни и те же звуковые комплексы выступают то как суффиксы, то как детерминативы.

[2] Это тем более вероятно, что земледельческие культуры на территориях, где расселялись кельты (и, возможно, предки италиков до их появления на Апеннинском полуострове), возникли очень рано. Кстати, лат. falx, falcula, как и дорич.-сицил. ζάγκλη, не имеют индоевропейских этимологий. См. M. N i e d e r m a n n. Essais d'étymologies et de critique verbale latines, p., 17, где falx и ζάγκλη рассматриваются как заимство-

имеет никакого отношения к морфологической структуре слова и к различным ступеням чередования коренного гласного в одной и той же основе: основа *met-* фонетически тождественна в обоих своих значениях, что и вызывает предположение об омонимии, а кроме того, в балтийских и славянских языках есть и другая ступень чередования — *mot-* в русск. *мотáю* — *мотáть*, чеш. motám — moci (motati), слов. motâm — motáti и, возможно, в лит. matúoti „измерять“ и mẽstas, mãstas, mãtas „мера“. Основа *mot-* как иная ступень чередования основы *met-* дала действительно начало самостоятельному словообразовательному гнезду, но трудностей для сравнительно-исторического анализа здесь нет. Однако возможно углубление этого анализа и в другую сторону — в сторону попыток разложения основы *met-*, выделения в ней отдельных морфем, исходя из сопоставления со словами других индоевропейских языков, имеющими то же значение. Поиски делались в разных направлениях. Пытались привлечь для сопоставления др.-греч. ἀμάω „жну“ [1] и хеттск. ḫam-ešḫa „лето“ [2]. Если предположить, как это делает Бенвенист [3], два

вания из языка лигуров, к которым обычно считаются близкими и сиканы (автохтоны Сицилии).

[1] В этимологической литературе обычно отмечалась связь ἀμάω с ἄμη (1. „лопата“, 2. „ведро“) и с ἀμίς, -ίδος (1. „лохань“, 2. *переносн.* „лодка“; ср. русск. *посудина*), но никакой семантической связи установить было нельзя. В свою очередь эти слова сопоставлялись с др.-инд. amatra-m „сосуд“, amatrakam „кубок“ (лат. ama, спорадически hama, считалось заимствованием из греческого, а нем. Ohm „бочка“ — уже из латинского).

[2] О хеттских образованиях на *-ešha* см. Sturtevant. A comparative Grammar of the Hittite language, § 176; о суффиксе имени действия *-šha* см. Фридрих. Краткая грамматика хеттского языка, § 50; о глагольных образованиях с *-eš-* там же, § 151 (этот суффикс образует отыменные глаголы).

„Лето“ очень часто обозначалось в индоевропейских языках словом „жатва“. Хеттск. ḫam-ešḫa не является родственным др.-инд. sáma, авест. ham, др.-арм. amarn, др.-ирл. sam-rad, др.-в.-нем. sumar „лето“, так как *ḫ* не соответствует и.-е. **s*, почему и в греч. яз. мы находим ἀμάω, и не [ἁμάω].

[3] См. его „Origines de la formation des noms...“, p. 157. „Ларингальная гипотеза“, которую он и здесь применяет, в данном случае нужна лишь для пояснения хеттского *ḫ*.

вида первоначального корня **em-*: **me-*, то мы получим полную возможность сопоставлять др.-греч. ἀμάω (тематическое распространение корня **em-* гласным *-a-*) и лат. meto и родственные ему слова (распространение корня **me-* согласным элементом *-t-*). Нераспространенную основу мы будем иметь в хеттской основе *ḫam-*, которую, правда, придется считать глагольной, а не именной (какой является основа **sam-* в приведенных выше словах, обозначающих „лето"). Необходимость допускать омонимичность основы *met-* при таком толковании отпадает, так как одинаково звучащие основы в итало-кельтских и балтийско-славянских языках оказываются имеющими совершенно разное происхождение.

Конечно, все это — такая же гипотеза, как и гипотеза о заимствовании латинского глагола meto у какого-то неиндоевропейского народа Западной Европы. Но это показывает возможность объяснения из внутреннего развития морфологической структуры слова таких явлений, для которых многие этимологисты не находят никакого объяснения, кроме признания „изначальной" омонимии корней. Это показывает также, насколько успехи этимологических исследований зависят от совершенствования методов сравнительно-исторического анализа морфологической структуры слова.

§ 4. Из характеризованных выше трех категорий изменений морфологической структуры слова две первые представляют собою дифференциацию того понятия, которое в некоторых популярных лингвистических пособиях называется „опрóщением"[1] морфологического состава слова (хотя этот термин скорее подходил бы к тому, что называют обычно „гаплологией", например, *знаменосец* вместо *знаменоносец*).

„Опрóщение" в указанном смысле связано с сокращением числа морфем, на которые слова членятся в сознании говорящих. От него можно отличать другой результат тех же

---

[1] См., например, В. А. Богородицкий. Лекции по общему языкознанию, изд. 2-е, Казань, 1915, стр. 159—161; А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1947, стр. 120.

процессов изменения морфологической структуры слова, когда число морфем не сокращается, — это обычно называется „переразложением". Такого рода результаты, широко известные из фактов исторических периодов развития языков[1], несомненно возникали и в подлежащие реконструкции доисторические периоды. Явления этого типа в доистории языков часто могут объяснить некоторые неясные факты исторических периодов и сделать возможным сопоставление таких слов в родственных языках, которые на первый взгляд кажутся несопоставимыми. Эти явления частично связаны с деэтимологизацией слов, как ее понимает Л. А. Булаховский, т. е. как „разрыв былых смысловых связей, сопровождавших близость слов по их звуковому выражению"[2], без возникновения таких связей с другими, гетерогенными по своему происхождению, словами (без так называемой „народной этимологии"). Частично же при этом возникают новые смысловые связи, которые обычно и называли „народной этимологией" или иногда „паронимической аттракцией" (термин французского лингвиста А. Доза). Особую точку зрения высказывает А. А. Белецкий[3]. Хотя он решительно отмежевывается от скептической позиции Ф. де Соссюра, отрицающего возможность строгой методичности этимологических исследований[4], однако и сам, исходя из правильного в общем положения, что „каждая языковая система имеет свои связи со-

---

[1] Примеры „переразложеиии" (changements dans la coupe des mots) из французского языка см. A. Dauzat, La vie du langage, Paris, 1910, p. 128—133.

[2] См. Л. А. Булаховский. Указ. соч., стр. 147.

[3] А. А. Белецкий. Прииципы этимологических исследований (на материале греческого изыка), Киев, 1950.

[4] См. Ф. де Соссюр. Курс общей лиигвистики, М., 1933, стр. 173; А. А. Белецкий. Указ. соч., см. стр. 6—7. Ср. также блнзкие к этому высказываиии Г. Шухардта в его письмах к Л. Шпицеру, опубликованные в „Revue des études basques", vol. 30, 1930 (отрывкн из этих писем в переводе С. Л. Быховской напечатаны в 7-м „Яфетическом сборике", Л., 1932, стр. 167—170). Блнзко к этому и утверждение Л. А. Булаховского (указ. статья, стр. 148), который считает, что „принитие илн иеприиитие миогих обращающихси в иауке этимологий в большой мере зависит от психологии высказывающегоси по этому поводу лица, от его, скажем условио, лингво-психологического опыта".

ставляющих ее элементов, которые могут вовсе не соответствовать связям, существовавшим между этими же элементами на пройденных ступенях развития данной системы"[1], утверждает, что „многие «ученые» этимологии отличаются от этих «народных» только тем, что они установлены не на основе чутья системы, а на основе досужих хитросплетений", и что „исследователь не должен безоговорочно отбрасывать, не изучивши, этот материал, но должен стараться сделать на основании его обобщения, которые могут пригодиться для понимания материала, относящегося к предшествующим системам"[2]. Мы не можем сейчас задерживаться на разборе этой оригинальной, но представляющей большую опасность точки зрения. Здесь указание на нее необходимо лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть исключительно важную и часто недооценивавшуюся связь лексикологии (в частности, этимологических исследований) с вопросами словообразования, важную именно потому, что слова̀ одного корня в различных родственных языках очень часто являются результатами различных словообразовательных процессов. А. А. Белецкий приводит прекрасный пример того, как „народная этимология", отразившаяся в орфографии слова (и, следовательно, отражающая связи, существующие в современной системе языка), способна затемнить происхождение слова: новогреческий глагол ξαίρω „знаю" (читается: ксéро) на самом деле происходит от аориста в перфективном значении ἐξεῦρον (от ἐξευρίσκω „изображать", „выдумывать")[3].

В этой связи надо также отметить, что так называемое „переразложение" слова может действительно настолько затемнить его подлинные этимологические связи, что и для „ученой" этимологии не останется никакой другой основы. Так, этимологически неясное др.-греч. слово παρθένος „девушка" К. Бругман разлагал на παρ(α)-θεν-ο-ς и -θεν. возводил

---

[1] А. А. Белецкий. Указ. соч., стр. 225.

[2] Там же, стр. 225—226.

[3] См. там же, стр. 49—50. Ср. колебания в русской орфографии XIX и начала XX века: *ветчина* и *вядчина*, *метель* и *мятель*.

к индоевропейскому корню **ĝhen-* „наполнять“[1], который мы находим в слове εὐ-θέν-εια „изобилие“, „полнота“, „благополучие“ и в глоссе Гесихия˙ εὐθενής˙ εὐπαθοῦσα („живущая в довольстве“), ἰσχυρά[2]. При сопоставлении с лат. praegnans, praegnās „беременная женщина“ (нулевая ступень корня — **ĝhn*), др.-греч. παρθένος получало смысл „не могущая быть беременной (наполненной)“; ср. παραγιγνώσκω „заблуждаюсь“ (т. е. „не могу познать“), παρακούω „не слушаюсь“, παράνομος „противозаконный“ и т. п. Вл. Георгиев дал, однако, недавно совершенно иное толкование этого слова и разложил его на παρθ- и -ενος, возводя παρθ- к индоевропейскому корню **pork̂-* в таком его виде, какой он (при переходе $\breve{o} > \breve{a}$ и $\hat{k} > \hat{k}h > th$) получил в том индоевропейском языке, откуда древние греки заимствовали ряд слов[3]. Обе эти этимологии останутся в равной мере гипотетическими до тех пор, пока мы не сможем уточнить наших представлений о словообразовательных процессах в древнейших индоевропейских языках, о развитии словообразовательных категорий, о становлении словообразовательной системы отдельных языков, подчиняющейся внутренним законам их развития. Если из-за фрагментарности материалов сравнительно-историческое языкознание не достигнет успехов на этом пути, то разные гипотетические этимологии одного и того же слова типа этимологий слова παρθένος останутся в очень многих случаях навсегда равноценными. Однако для такого пессимизма нет пока оснований, поскольку разработка строгой методики исторического исследования словообразовательных процессов еще только начинается.

---

1 Ср. ст.-слав. гєнѣти, лит. ganà „достаточно“.

2 Впервые у К. Бругмана в „Berichte d. Sächs. Gesellschaft, d. Wissenschaften“, 1906, S. 172; см. словарь Буазака, стр. 294 и 747; Покорный в своем словаре не приводит этих сопоставлений и вообще допускает только существование корня **ghen-* (с заднеязычным) и только с метатезой **ghne-* в ее различных вариантах (**ghnə-*, **ghnē-* и т. д., см. стр. 436—437).

3 См. Vl. Georgiev. Die Träger der kretisch — mykenischen Kultur. „Годишник на Софийския университет, Ист.-фил. факульт.“, т. 33, 1936—1937, гл. IV „Griechische Lehnwörter aus dem Illyrischen“, S. 66—108. Др.-греч. παρθένος сопоставлялось с др.-арм. harsn „невеста“ (где $s < {}^*\hat{k}$, $a < {}^*\breve{o}$, $h < {}^*p$; ср. hair „отец“).

В упоминавшейся статье акад. В. В. Виноградова „Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии"[1] достаточно ясно показано, насколько была слаба в прошлом теоретическая основа изучения процессов словообразования. Эта слабость теоретических основ изучения словообразования и полный отрыв его от проблем исторической лексикологии обусловили неудовлетворительность всех теорий индоевропейского „корня" от Ф. Боппа до наших дней (не исключая и работ А. А. Потебни) и подорвали (совершенно неосновательно) у многих лингвистов доверие ко всякой „теории индоевропейского корня", вызвав своего рода агностицизм в отношении проблемы, без разрешения которой не могут развиваться дальше ни сравнительно-историческая грамматика, ни сравнительно-историческая лексикология.

В современном зарубежном языкознании можно отметить серьезные достижения в вопросе о реконструкции древнейшей структуры слова в индоевропейских языках. Но эти достижения, даже в работах тех исследователей, которым принадлежат наиболее интересные наблюдения и выводы (Э. Бенвениста, Ю. Куриловича, В. Пизани, Ф. Шпехта), не стали еще решительным толчком к перестройке всей системы сравнительно-исторических исследований родственных языков. Кроме того существенным недостатком указанных исследований является то, что интереснейшие данные, извлекаемые из наблюдения над массой фактов, подгоняются иногда под заранее выработанные на основании немногих фактов схемы, чисто „алгебраические" по своему характеру[2]. Концепции

[1] Сб. „Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина", М., Изд-во АН СССР 1952, стр. 99—152.

[2] Таковы, например, некоторые исследования, построенные на основе „ларингальной гипотезы" (см. о ней выше, стр. 155—158), хотя самая эта гипотеза имеет в целом бесспорное положительное значение. Такова же концепция Ф. Шпехта о новообразованиях (главным образом в области суффиксального образования глагольных основ) в той группе диалектов индоевропейского языка-основы, которую он связывает с носителями археологических культур так называемой „шнуровой керамики" (см. F. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination, 1943, S. 1—9); ранее эта общая точка зрения высказывалась Шпехтом попутно в специальных статьях и рецензиях.

компаративистов XIX века, какими бы упрощенными и схематическими ни казались они нам сейчас (например, в разделах об образовании именных основ в большой и в краткой сравнительной грамматике индоевропейских языков К. Бругмана) заслуживали этот упрек в меньшей степени, так как строились на добросовестном исследовании более обширного материала, доступного исследователям в то время.

В следующем параграфе мы покажем, какими исследовательскими приемами может пользоваться сравнительно-историческое языкознание на современном этапе своего развития для реконструкций древнейшего вида корневых морфем в индоевропейских языках и для „разложения" тех именных и глагольных основ, которые в отдельных языковых группах индоевропейской семьи выступают как непроизводные не только в древнейших письменных памятниках, но и в схемах реконструкций, типичных для работ конца XIX— начала XX века. Эти схемы характеризуют этап развития нашей науки, нередко называемый „классической" индоевропеистикой (немецкие младограмматики, школа Ф. Ф. Фортунатова, А. Мейе). Без сомнения в этих работах не только фонетический, но и морфологический состав реконструируемого „праязыка" коренным образом изменился сравнительно со шлейхеровским периодом в истории нашей науки. Однако и после этого переломного в истории компаративистики момента (70-е годы) принципы анализа морфологической структуры слова, характерные для предыдущего периода (работы Г. Курциуса, А. Фикка и др.), в общем сохранились без существенных изменений. А эти принципы в шлейхеровском направлении[1] характеризовались прежде всего реакцией против „романтизма" Ф. Боппа и его современников (Потт, Бенфей, А. Кун и др.), каковым, начиная с 50-х годов, считалось стремление

---

[1] Здесь надо иметь в виду не столько самого Шлейхера, который еще не отказывался совсем от постановки генетических проблем в анализе морфологической структуры слова (см. В. Томсен. История языковедения до конца XIX века. М., 1938, стр. 82—88), сколько его ближайших учеников старшего поколения, против которых собственно и выступили в 70-х годах младограмматики и независимо от них И. А. Бодуэн-де-Куртенэ в России.

„проникнуть в тайну корней“, т. е. углубить анализ морфологической структуры слова (отнюдь не только „корней“), насколько это позволяется сравнением языков, для которых можно предполагать единого общего предка, хотя бы и не по прямой линии. Ср. неудачные попытки Ф. Боппа отыскать родственные связи индоевропейских языков с кавказскими и малайско-полинезийскими и в XX веке более солидно обоснованные попытки Мёллера (Indogermanisch und Semitisch, 1907) и А. Кюни установить такие же связи с семито-хамитскими языками [1].

§ 5. Понятие „корня“ в применении к языкам индоевропейского типа появилось в европейском языкознании лишь тогда, когда европейцы познакомились с грамматической литературой древних индийцев. Только тогда „корень“ как неразложимый звуковой комплекс, обладающий единым, хотя и весьма широким, лексическим значением, стали отличать от той части слова, которая остается неизменяемой во всех процессах формообразования данного слова. Было установлено, что эта неизменяемая при формообразовании часть слова может совпадать с неразложимым корнем (*нес-у — нес-ем — нес-и — нес-ла — нес-омый* и т. д.), но может представлять собою и расширение или распространение определенного корня посредством аффиксации и быть „производною основою“ (*перенес-ен-ие — принес-ла* и т. д.).

Античные грамматики разобрались лишь в наиболее простых случаях суффиксации и префиксации и даже изменений

---

[1] Типичное для младограмматического научного мировоззрения осуждение тенденций Боппа сквозит у В. К. Поржезинского („Введение в языковедение“, изд. 4-е, М., 1916, стр. 30, 35—36, 197—198), у В. Томсена (указ. соч., стр. 61 и особый параграф „Пересмотр понятия «корень»“, стр. 93—94), у А. Мейе („Введение в сравнительное изучение. . .“, М., 1938, стр. 449: „Бопп открыл сравнительную грамматику в поисках за объяснением индоевропейского языка, подобно тому как Христофор Колумб открыл Америку в поисках пути в Индию“) и в целом ряде других работ. В. Томсен объясняет склонность Боппа к „раскрытию тайн корней“ непреодолимым влиянием индийских грамматиков. О работах А. Кюни и его понимании „дограмматической“ (prégrammaticale) эпохи в жизни языков см. в следующем параграфе.

звуков, связанных с ними (**teg**-o — tec-tum из *****teg**-tum; condĕ-re из *con-**dă**-re — con-dĭ-tum из *con-**dă**-tum и т. д.), но останавливались в тупике перед более сложными фактами (homo — homĭnis, genus — genĕris и т. п.), не умея правильно выделить в таких случаях даже часть слова, остающуюся неизменяемой в процессах формообразования. Такие же ряды глагольных основ, как λαμβάνω — λήψομαι — ἔλαβον, считались „неправильными" и рассматривались наравне с супплетивными рядами типа φέρω — οἴσομαι — ἤνεγκον. Античные грамматики не могли правильно понять и таких отношений как tĕgō: *tŏga, φέρω — φόρος — φώρ, хотя замечали иногда аналогичные отношения и в менее ясных случаях типа fīdō — foedus.

Четкое понятие „корня" существовало в применении к языкам семитического типа у еврейских, сирийских и арабских грамматиков задолго до возникновения научного языкознания в Европе. Оно применялось с XVI века и европейскими исследователями этих языков. Но оно было неприменимо к языкам индоевропейского типа, так как „корень" в семитических языках трехсогласный, и между согласными этого корня, независимо от аффиксации, существующей и в этих языках, „вставляются" или „приставляются" в процессе формообразования различные гласные. „Корень" в семитических языках никогда не существует реально как часть слова — он всегда только „реконструируется" (qatala — qutila — aqtala — qutl — qitl и т. п. от корня *qtl* „убивать").

Теория индоевропейского „корня" и, следовательно, проблема структуры производных основ в древнейших индоевропейских языках содержит до сих пор так мало устойчивого и общепризнанного, что вопрос об исследовательских приемах сравнительно-исторического анализа в этой области нельзя трактовать без предварительного, хотя бы самого беглого, обзора различных подходов к ней, имевших место в истории нашей науки за последние 130—140 лет. В то время как в других областях индоевропейского сравнительно-исторического языкознания (особенно в фонетике) взгляды ученых даже третьей четверти XIX века давно уже стали достоянием истории, многообразные и порой противоречивые точки зрения в работах недавнего прошлого, относящихся

к данной области, продолжали иногда отражать многообразие и противоречивость взглядов, выдвигавшихся еще в XIX веке[1], хотя, конечно, общий прогресс науки и в этой области не подлежит сомнению.

Основоположники сравнительной грамматики индоевропейских языков, в первую очередь Ф. Бопп, (и даже их предшественники, бр. Шлегели) находились под сильным влиянием древнеиндийских грамматиков (в особенности Па́нини). В силу этого они с самого начала придавали большое значение выделению в слове его неразложимой части — „корня". Этот интерес к „корням" на первых порах отвлекал (в ущерб развитию нашей науки) внимание от анализа морфологической структуры слова в целом, от изучения процессов словообразования в отдельных родственных языках. Выводы индийских грамматиков толкали европейских исследователей и к анализу аблаута, проблема которого первоначально была поставлена Я. Гриммом лишь в применении к германским языкам[2]. На Я. Гримма, отправлявшегося непосредственно от наблюдений, сделанных в начале XVIII века Ламбертом Тен Кате[3], непосредственного влияния индийские грамматики с их учением об основном глагольном значении „корня" (санскр. dhātu-) и о „подъемах" корневого гласного (gúṇa и vṛddhi) не имели. Это учение он мог воспринять только сквозь призму

[1] В том, насколько крепко держались в науке многие прежние взгляды и после окончательной победы младограмматических принципов, дает представление не имеющая историографического характера первая глава упоминавшейся книги А. Л. Погодина „Следы корней-основ в славянских языках", Варшава, 1903.

[2] Непонимание этого явления Р. Раском не позволило ему понять сущность основообразования германского глагола, но, с другой стороны, Раск лучше, чем Гримм, разбирался в соотношении звука и буквы. В противоположность Раску и Гримму, М. В. Ломоносов на 60 лет раньше прекрасно разобрался в вопросах чередования коренных гласных в русском языке, не смешивая звуков и букв. (См. рец. П. С. Кузнецова на новое издание „Грамматики" в 7-м томе академического Собрания сочинений М. В. Ломоносова — „Вопросы языкознания", 1952, № 6, стр. 114—115).

[3] L. Ten Kate. Aenleiding tot de Kenisse van. . . der niederduitsche Spraeke („Введение в изучение. . . нижне-немецкого языка"). Амстердам, 1737).

идеалистической философии языка Ф. Шлегеля, уже отметившего, правда, что в индоевропейских языках „понятия отношения“ выражаются при помощи „внутреннего изменения“ (т. е. „флексии основы“. — *Б. Г.*)[1], или же через Боппа, о чем тот сам говорит: „Я не сомневаюсь, что явления наших звуковых чередований (Lauts und Ablauts) связаны с индийским изменением гласных путем guṇa и vṛddhi“ (Bopp. Lehrgebäude der Sanskrita-Sprache, S. 33)[2]. Характерной чертой взглядов Я. Гримма, от которых он как будто бы стал отходить в своих поздних работах (например, в „Истории немецкого языка“, 1848 г.), было резкое противопоставление аблаута другим установленным им изменениям корневого гласного в германских языках (Umlaut, Brechung), которые он считал чисто фонетическими явлениями[3]. Ошибка его заключается в том, что он, исходя из материала германских языков, связывал аблаут исключительно с глагольной системой и не обращал внимания на такие разнообразные соответствия между отдельными германскими языками, а также между ними и другими индоевропейскими языками, как, например, готск. măgus „мальчик“, „батрак“, готск. mēgs „зять“, др.-в.-нем. mâgs „родственник“; или готск. azgō, др.-в.-нем. asce „зола“; или др.-в.-нем. snuor, др.-англ. snot (ср. др.-греч. νεῦρον); или готск. full, нем. voll, др.-инд. purnas „полный“; или готск. mulda, др.-в.-нем. molda „пыль“, лит. miltai „мука“, или др.-англ. molda; др.-инд. murdhā „голова“ и т. п.

---

[1] Аффиксацию Шлегель считал „неорганическим“ элементом для индоевропейских языков, происшедших, по его теории, из древнеиндийского языка.

[2] J. Grimm. Deutsche Grammatik, Bd. I, S. 556. Книга Боппа, на которую ссылается Гримм, вышла в 1827 г. и вторым изданием в 1832 г. См. также А. В. Десницкая. Чередование гласных в германских языках (М.—Л., 1937, стр. 21), где подчеркивается, что для Гримма аблаут есть „внутренний структурный момент, лежащий в основе словообразования и уходящий своими корнями в глубокую древность, далеко за сохранившиеся памятники“ (разрядка наша. — *Б. Г.*).

[3] А. В. Десницкая в указанной работе (стр. 22—23) отмечает противоречивость взглядов Гримма в его поздних работах: понимание аблаута как „звукового закона“ (в домладограмматическом понимании как „Vokalgesetz“) и как структурной основы языка.

Поэтому Я. Гримм не подошел к проблеме структуры такого „корня“, от которого могли образовываться как глагольные, так и именные основы.

Лишь очень отдаленно приблизился к этому А. Потт в „Этимологических исследованиях“, где были впервые установлены многие точные звуковые соответствия между отдельными индоевропейскими языками, которым Бопп в „Сравнительной грамматике“ (особенно в первом издании 1833—1852 гг.) не уделял достаточного внимания[1]. Во втором издании своего труда, относящемся уже к следующему периоду в развитии сравнительного языкознания, Потт обратил внимание на соответствия типа лат. cūdō — др.-в.-нем. houwu — лит. káuju káuti, ст.-слав. коуѭ (ковѫ) — кокати с близким значением слов, но различным характером основы, не объясняемым фонетическими законами[2]. Никаких общих выводов из этого Потт не делал, как впоследствии не делали их и Г. Курциус и А. Фикк, отметившие аналогичные явления[3]. Может быть, в наибольшей степени влияние индийских грамматиков на исследование вопроса о „корнях“ в других индоевропейских языках сказалось на „Греческом корневом словаре“ Т. Бенфея[4].

Развив намеченную уже у бр. Шлегелей и В. Гумбольдта „морфологическую классификацию“ языков, А. Шлейхер (1821—1868), крупнейшая фигура второго этапа истории

---

1 A. W. Pott. Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, Bd. I—II, 1833—1836; издание 2-е в 6 томах, 1859—1876. Раньше Потта такие точные звуковые соответствия были установлены для славянских языков в „Рассуждении о славянском языке“ А. Х. Востокова, 1820.

2 Ср., например, 2-й том 2-го издания (1871), стр. 460. И у Потта выпадали в таких случаях из поля зрения именные словообразования, например, лит. kūgis, ст.-слав. коун „молот“, кыи „палка“. См. также А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 22, 176 и 407—408.

3 См., например, G. Curtius. Grundzüge der griechischen Etymologie, 5-te Aufl., 1879, S. 59; ср. также 2-е издание „Этимологического словаря“ Фикка, 1871, стр. 927 и сл.

4 Th. Benfey. Griechisches Wurzellexikon, 1839—1842, где автор допускает иногда фактические ошибки, что вызвало сильные нападки филологов-классиков.

развития сравнительного языкознания, продолжал держаться взгляда, что морфологические типы, преобладающие в той или иной семье родственных языков, отражают различные этапы „мирового глоттогонического процесса“, если воспользоваться термином Н. Я. Марра, который воспринял без всякого критического отношения эту универсальную схему Гумбольдта — Шлейхера, дополнив ее лишь вульгарно-социологическим истолкованием „всемирных“ этапов развития языка.

Исходя из того, что образованию флективного строя „индоевропейского праязыка“ должно было предшествовать существование иного типа грамматического строя и, следовательно, иного типа морфологической структуры слова, предполагая для самого „праязыка“ (после формирования его флективного строя) два периода развития — период „роста“ и период „упадка“ — и, наконец, считая древнеиндийский язык наиболее архаичным из индоевропейских языков и прозрачно сохранившим структуру „органического“ периода, Шлейхер подошел к проблеме древнейшей морфологической структуры слова в индоевропейских языках[1]. Как и его предшественники, Шлейхер придавал большое значение учению индийских грамматиков о „ступенях подъема корня“, т. е. о чередованиях корневого гласного.

Примыкая к взглядам Боппа на происхождение формативов из ранее самостоятельных слов, Шлейхер рассматривал, например, форму латинского перфекта scripsi или форму латинского будущего времени amābo как результаты сращения некогда самостоятельных корней (*scrib-*, *amā*) и форм имеющего две самостоятельные основы (**es-* и **bhū-*) глагола „быть“ (*esi и *bhuo или *bhuam). Что же касается самих „корней“, то Шлейхер продолжал развивать здесь взгляды Боппа, который, признавая изначальное существование во всех индоевропейских языках только трех гласных *a*, *i*, *u* (из них *a* отсутствовало на низшей ступени „подъема“) и двух плавных согласных *ṛ* и *ḷ*, могущих выступать в роли слогообразующих

[1] Таблица шлейхеровских формул строения слова приведена в упоминавшейся книге В. Томсена (русск. перев., стр. 83).

звуков[1], принимал, вслед за индийскими грамматиками, следующую схему этих „подъемов“:

Низшая ступень	—	i	u	r̥	l̥
Первый подъем (guṇa)	ă	ē	ō	ar	al
Второй подъем (vṛddhi) . . .	ā	āi	āu	ār	āl

Шлейхер отступил от этой схемы лишь в том, что поместил *ă* на низшую ступень подъема, а *ē* и *ō* для „праязыка“ заменил **краткими** дифтонгами *ai* и *au* (из которых „стянулись“ древнеиндийские *ē* и *ō*), а также исключил *r̥* и *l̥* из числа гласных.

Таким образом, по Шлейхеру, „корень“ каждого индоевропейского слова мог существовать в „праязыке“ в трех видах, в связи с чем во **всех** языках устанавливались чередования, которые должны были восходить к „праязыковым“ чередованиям *ă* : *ā*, *i* : *aį* : *āį*, *u* : *aų* : *āų*[2]. Почти без изменений шлейхеровские схемы чередования гласных (и в корне, и в формативах) сохранялись и у Г. Курциуса, и у специально занимавшегося аблаутом Амелунга, и в ранних работах А. Фикка. Амелунг в своей работе „Образование основ глагольных времен посредством подъема гласных в немецком языке“[3] пытался максимально уточнить законы аблаута для отдельных групп индоевропейских языков, но неверное исходное положение исторической фонетики (признание изначальности только для гласных *a*, *i*, *u*) не позволили и ему сделать существенных шагов вперед[4].

---

[1] В такой роли могли в действительности выступать и носовые сонорные (*n̥* и *m̥*).

[2] Подчеркиваем еще раз, что, по Боппу и Шлейхеру, гласных *ĕ* и *ŏ* и дифтонгов *eį* и *oį* (и кратких и долгих) в „праязыке“ не было. По Шлейхеру, не было и гласных *ē* и *ō*. Появление этих гласных в различных индоевропейских языках не только Шлейхер, но и Г. Курциус (вплоть до начала 80-х годов) объясняли „случайным“ изменением „окраски“ (Umfärbung) первоначального *a*. (Теория Курциуса о „расщеплении“ *a* на *e* и *o* устанавливала лишь **частичную** закономерность, оставляя все остальное на произвол случая).

[3] A. **Amelung**. Die Bildung der Tempusstämme durch Vokalsteigerung im Deutschen, Berlin, 1871.

[4] Подробнее о Г. Курциусе и Амелунге см. у А. В. **Десницкой**. Указ. соч., стр. 58—67.

Наряду с установлением трех возможных видов любого корня, уже Шлейхер в различных изданиях своего „компендиума“ предлагал различать корни „глагольные“ и „местоименные“, а позже корни с лексическим значением (Begriffswurzeln) и корни с грамматическим значением (Beziehungswurzeln). К последним он возводил большинство формативов индоевропейских языков. Более развитую концепцию морфологической структуры индоевропейского „праязыка“ (исходя еще из идеи его „роста“ и „убывания“) дал Г. Курциус[1]. Но проблема „корня“ отступает у него на задний план сравнительно с вопросом о последовательности образования грамматических категорий. Однако именно у Курциуса впервые появляется идея существования первоначально корней в чистом виде, затем корней, осложненных различными дополнительными согласными элементами, и, наконец, тематических основ[2].

Полный переворот во взглядах на фонетический состав индоевропейского „праязыка“, произведенный работами „младограмматиков“ на протяжении 70-х годов и завершенный в исследовании Ф. де Соссюра об индоевропейском вокализме[3], не мог не отразиться и на понимании чередований корневых гласных, а следовательно, и на вопросе о разновидностях первоначальных корней. В названном исследовании Ф. де Соссюра много внимания уделено выяснению первоначальных рядов аблаута, затемненных впоследствии в жизни отдельных языков влиянием различных, не связанных с ним явлений (звуковые изменения, влияние аналогии и т. д.).

Ф. де Соссюр впервые ставит вопрос о фонетическом строении индоевропейского корня и, выделяя в особую группу

---

[1] G. Curtius. Zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung, 1867. Отличие взгляда Курциуса на разаитие „праязыка“ заключается а том, что он период „упадка“ или „распада“ иазывает более сдержанио „убыаанием“ (Abnahme).

[2] В русском языкознаиии последоаательным проаодииком аиалогичных азглядоа был А. Л. Дювернуа (см. его „О методе и успехах сравиительиого языкоаедения“. Отд. оттиск из „Московских униаерситетских изаестий“, 1867, № 11, стр. 15—16).

[3] F. de Saussure. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes, 1879.

немногочисленные корни, представляющие собою открытый слог (*se-, *dhe- и т. п.), делит все остальные возможные типы корней на три категории:

1) оканчивающиеся на i̯, u̯ или сонорный (*sreu̯-, *bher-, *men- и т. п.);

2) оканчивающиеся на смычный (или придыхательный) согласный с предшествующим i̯, u̯ или сонорным (*dei̯k-, *derk-, *bhend- и т. п.).

3) оканчивающийся на один из согласных, кроме i̯, u̯ и сонорного (*pet-, *sek- и т. п.).

В каждой категории любой корень может иметь три вида, соответствующие трем ступеням аблаута; позже эти ступени были определены как *e* : o: *нуль*[1], но у Ф. де Соссюра они еще затемнены тем, что у него в центре исследования остается, как и в ранних работах Бругмана, гласный *a*[2].

„Младограмматики" (и в первую очередь К. Бругман) решительно отказались от использования схемы индийских грамматиков при изучении индоевропейского аблаута. Однако на ранних работах того же Бругмана[3] лежит еще сильный отпечаток прежних воззрений. Это показывает, что, за исключением двух наиболее важных вопросов, решение которых и создало новую лингвистическую школу („звуковые законы" и „принцип аналогии"), отход от прежних воззрений совершился не сразу. Отказ от признания двух периодов в развитии „праязыка" долгое время носил чисто декларативный характер, и даже в более поздних сравнительных грамматиках Бругмана („Grundriss..." и „Kurze vergleichende Grammatik...") его отражение можно видеть в том, что реконструируется (почти целиком в одной плоскости) лишь самый последний

---

[1] У Соссюра еще нет четкого разграничения нулевой и редуцированной (ə, r̥, l̥, n̥, m̥) ступеней чередования.

[2] Мы оставляем сейчас совершенно в стороне вопрос о соссюровских „сонантических коэффициентах" A и O̭, фигурирующих у него в редуцированной ступени корней. Выделение этих коэффициентов явилось через полвека отправным пунктом для так называемой „ларингальной гипотезы" (см. приложение к гл. III).

[3] K. Brugmann. Zur Geschichte der stammabstufenden Deklination, 1879.

этап языковой общности, непосредственно предшествующий обособлению отдельных языковых групп, как бы момент завершения „роста“, а от всяких попыток углубиться в историю этой общности Бругман (как и все другие младограмматики, а также представители фортунатовской, а отчасти и бодуэновской школы в России) отказывается. Поэтому и схема чередований индоевропейских гласных в работах Бругмана ничем принципиально не отличается от схемы Амелунга, кроме того, что гласные *e* и *o* включены в число исконных основных гласных „праязыка“ и ни к какому *a* не возводятся[1]. Всякий же интерес к вопросу о первоначальном виде „корней“ постепенно пропадает, и в „Краткой сравнительной грамматике индоевропейских языков“ Бругмана (1900—1904), отражающей в общем состояние науки, охарактеризованное во 2-м издании его большого „Grundriss'а“ (1897—1916), мы не найдем даже раздела, специально посвященного проблеме индоевропейского корня. Ему уделено буквально несколько фраз во „вводных“ замечаниях (Vorbemerkungen) к разделу „Учение о формах слова и их употреблении“[2].

Концепция Ф. де Соссюра (1879) никак не учитывается в работах К. Бругмана. Она получает развитие только в работах ученика Соссюра, А. Мейе (см. ниже). Бругман же просто снимает вопрос об аблауте как особую проблему. Это видно из его собственного изложения, имеющего чисто описательный характер[3]. Тем самым он должен был отказаться от разработки проблемы индоевропейского корня. Для него аблаут — „количественное или качественное, иногда также зависящее от ударения различие связанных друг с другом сонантических (т. е. слогообразующих. — *Б. Г.*) элементов в

---

[1] См. ниже об отличии взглядов Ф. Ф. Фортунатова от взглядов К. Бругмана в этом вопросе (стр. 194—195).

[2] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, S. 281—296, § 367; § 367, специально посвященный корням и их определителям, занимает одну страницу и начинается с отсылки к этимологическим словарям, в которых, как известно, никакого изложения системы взглядов нет и в которых произвол в обращении с „корнями“ достигал иногда крайних пределов.

[3] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik. . ., S. 138—150

различных формах слов, которое коренится в исконном различии звуков в индоевропейском праязыке"[1]. Систематизация фактов аблаута, по мнению Бругмана, сейчас же тянет за собой вопрос о его происхождении, которое Бругман связывает с влиянием ударения и других причин, не определяемых им точнее. И так как этот вопрос, возможно, никогда не будет прояснен, то и от установления строгих закономерностей в данной области приходится, по его мнению, воздерживаться.

Весьма характерно, что один из главных борцов за строгость „звуковых законов" (как законов спонтанного или комбинаторного перехода одного звука в другой), отстаивавший отсутствие „исключений" в действии этих „законов", сознательно становится на противоположные позиции в вопросе, касающемся структурной роли звуков в образовании форм слова[2]. В силу этого, он и не ставит проблему морфологической структуры слова в широком генетическом плане, ограничивая ее совокупностью частных вопросов, относящихся к образованию производных основ (Stammbildung) и суффиксации (Suffixbildung), и растворяя эти вопросы в анализе форм словоизменения и их употребления (Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch). С л о в о п р о и з в о д с т в о как раздел языкознания Бругман не выделяет по принципиальным соображениям: грань между процессами словообразования и формообразования у него сознательно стирается.

Близкие к Бругману позиции занимал и Ф. Ф. Фортунатов, об отрицательном влиянии положений которого относительно разграничения форм словообразования и форм словоизменения говорилось уже в § 2 настоящей главы. В своих курсах сравнительной морфологии Фортунатов говорит о „неслабых" и „слабых" „звуковых видах корня", нигде не ставя вопроса об их закономерном соотношении, а в курсе сравнительной фонетики (читанном в последний раз в 1898/99 г.) уделяет вопросам аблаута лишь две страницы (глава VII). Соотношение различных звуко-

[1] K. B r u g m a n n. Kurze vergleichende Grammatik. .., S. 138.

[2] Можно, пожалуй, сказать, что Бругман даже делает шаг назад по сравнению с Амелунгом, который, при неверном исходном положении (о составе общеиндоевропейского вокализма), все-таки пытался нащупать некоторые закономерности аблаута.

вых видов корней у Ф. Ф. Фортунатова не выступает как особая проблема, и это „воздержание“ от ее постановки характерно и для большинства его учеников и последователей[1].

Не ставя, как и его учитель, самостоятельной проблемы закономерности вариантов корневой морфемы, В. К. Поржезинский, однако, давал в своем упомянутом „Кратком очерке сравнительной фонетики“[2] более подробное изложение вопросов аблаута. Он высказывает свои соображения о некоторых специальных работах XX века и указывает, например, на связь аблаута с „соотношением п о п р о и с х о ж д е н и ю нетематических и тематических образований“ (стр. 41, разрядка наша. — *Б. Г.*), на возможность разного в морфологическом отношении происхождения разновидностей основ с „протяженным“ корневым гласным (так наз. Dehnstufe). В. К. Поржезинский определенно высказывается также за бо̀льшую древность качественных чередований сравнительно с количественными, что̀ важно для проблемы р а з в и т и я различных видов основ. Наконец, вплотную к современной постановке вопроса о видах корня он подходит (окончательно выходя за рамки фонетического рассмотрения вопроса), когда указывает (стр. 43) на возможность чередований типа **eu̯-* :**u̯e-* (например, лат. aurora, др.-греч. ἠώς из *ausos : др.-инд. *vas-* „светить“, vāsara „день“, vasanta- „весна“, др.-греч. ἔαρ из Fεσαρ, ст.-слав. весна; др.-инд. gárbha- „плод“, ст.-слав. жрѣбѧ из *gerbh-en:

---

[1] Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в. Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков. Посмертное издание, Пг., 1922. Существенно, что до конца своей профессорской деятельности Ф. Ф. Фортунатов исходил, в отличие от К. Бругмана (кроме его ранних работ) не из исконных *ĕ, ŏ, ă*, а из „общеиндоевропейских кратких гласных *a* разного качества“, сближаясь в этом со взглядами, изложеными в „Мемуаре“ Ф. де Соссюра. От этого отошли, принимая окончательно позиции младограмматиков, ученик Фортунатова — В. К. Поржезинский („Краткий очерк сравнительной фонетики“, М., 1912) и ученик Соссюра А. Мейе („Введение в изучение. . .“, изд. 1, 1904).

[2] На стр. 80 этого курса содержится, однако, прямое указание на важность „вопроса о чередовании сильного и слабого корня“, которому В. К. Поржезинский в своих (неизданных) специальных курсах послереволюционных лет уделял достаточно внимания, знакомя слушателей с историей вопроса.

др.-греч. βρέφος „детёныш" и т. п.) и необоснованность сведе́ния таких явлений к чисто фонетическому преобразованию так называемых „двуслоговых баз" (т. е. корней с двумя корневыми гласными, например, *ĝenə-, *bherə и т. п.)[1].

В зарубежной компаративистике к концу первой четверти XX века господствовал взгляд, что каждая корневая или суффиксальная морфема потенциально может иметь шесть ступеней чередования — две основные (ĕ : ŏ), две редуцированные или „ослабленные" (*редукция* : *нуль*) и две „протяженные" (Dehnstufe, ē : ō); см. выше (стр. 175) пример ряда πατήρ : εὐπάτωρ и т. д. Но вопрос о закономерности соотношения этих ступеней и тем более соотношения ступени корневой морфемы со ступенью суффиксальной морфемы не ставился. Чисто условно называлась „основной", „нормальной" или „полной" (Vollstufe) ступень ĕ или же ступени ĕ и ŏ признавались равноправно „основными" (Vollstufe I и Vollstufe II).

Проблема древнейшего вида индоевропейского корня не может вместе с тем сводиться к проблеме качества корневого гласного. Хотя гипотезы о первоначально консонантном характере этого корня при современном состоянии науки не могут быть достаточно обоснованы, неясным остается и то, с самых ли начальных моментов выделения индоевропейской (или „протоиндоевропейской") языковой общности из какой-то предшествовавшей ей общности гласный элемент играл такую же решающую роль в оформлении древнейшего типа слова, как и согласные. Бесспорно, что роль согласных в звуковом оформлении корня и значение возможных типов их расположения по отношению к корневому гласному исключи́тельно важны. Этой проблемы немецкие младограмматики и современные им господствующие направления в компаративистике либо совсем не ставили, либо намечали ее в самых общих чертах (Ф. де Соссюр, И. А. Бодуэн-

---

[1] В. К. Поржезинский. Указ. соч., стр. 38—44. Более подробно этот вопрос разобран в неизданной специальной работе М. Н. Петерсона „О двуслоговых базах".

де-Куртене)[1]. А. А. Потебня подчеркивал важность генетического рассмотрения вопроса о форме корней[2], но не разрабатывал его систематически[3].

§ 6. Отодвинутая на задний план младограмматиками и фортунатовской школой и не развиваемая дальше Ф. де Соссюром, проблема индоевропейского корня была поставлена вновь во „Введении в сравнительное изучение индоевропейских языков" А. Мейе (1904) и получила совершенно новое освещение в работах П. Перссона[4].

Развивая приведенное выше (стр. 191 и сл.) положение Ф. де Соссюра о трех видах фонетической структуры индоевропейского корня, Мейе детализировал и уточнил его, установив невозможность существования в языке-основе некоторых звуковых сочетаний в качестве корней (например, сочетаний с начальным и конечным простым звонким типа *beg-*, *ged-*, *deb-* и т. п.; сочетаний с начальной звонкой аспиратой и конечным простым глухим типа *bheut-* и наоборот, типа *teubh-*; сочетаний, начинающихся или оканчивающихся на группу из двух взрывных согласных и др.). Мейе твердо установил, что „тематическая гласная является элементом,

---

[1] См. И. А. Бодуэн-де-Куртене. Заметка об изменяемости основ склонения. (Пробная лекция 1870 г., опубликованная лишь через 32 года). Варшава, 1902. Ср., например, на стр. 6 резкие выпады против „приверженцев теории неподвижных деревянных основ". „Зачем же, — говорит автор, — отвергать возможность их (т. е. основ) развития и перерождения в языках первичных, наподобие развития и перерождения корней, суффиксов и окончаний?" (разрядка наша. — *Б. Г.*).

[2] См., например, А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике т. I, стр. 21. Реконструируемые сравнительным языкознанием общеиндоевропейские корни Потебня считал „посылками начатого языкознанием, но не доведенного до конца умозаключения о корнях как действительных словах, о свойствах языка, не известного нам исторически".

[3] Систематизация разрозненных высказываний А. А. Потебни о генезисе и развитии „корней" в четырех томах его труда „Из записок по русской грамматике" могла бы быть темой специальной работы.

[4] P. Persson. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation (1891); его же. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Upsala, 1912.

служащим для образования форм, и не входит в состав корня"[1].

Из этого вытекают два чрезвычайно важных для методики реконструкции положения, которые, как это ни странно, не проводились еще достаточно четко ни в сравнительных грамматиках Бругмана, ни в курсах Ф. Ф. Фортунатова[2]:

1) гласные основы не являются корнями и подлежат обязательному разложению;

2) несоответствие согласных или их групп в начале или в конце звукового сочетания, принимающегося за „корень", должно побуждать исследователя к дальнейшему анализу (поиски выпавшего гласного, сросшегося аффикса и т. д.).

Однако у Мейе еще попадали в число самостоятельных общеиндоевропейских „корней" такие сочетания, как **terp-* и **trep-*, **tu̯ois-* и т. п. Лишь в некоторых случаях, когда Мейе находил, например, что основы в др.-греч. ἐλπίς „надежда" и ἔλδομαι „желаю" можно свести к корню **uel-* путем сопоставления с лат. velle, готск. wiljan, лит. vilìù „надеюсь" и ст.-слав. велѣти, он говорил об „определителях корня", заимствуя, очевидно, этот термин из названных работ П. Перссона, о которых будет идти речь ниже. Но в целом он довольно скептически относился к выделениям таких „определителей" как к приему сравнительно-исторических исследований. „В сущности, — писал он, — говорить об определителях корней можно только в том случае, когда „распространенный" корень дает одновременно и глагольные, и именные основы; в противном случае речь может итти лишь

---

[1] А. Мейе. Указ. соч., русск. перев., М., 1938, стр. 192. Под „тематической гласной", Мейе понимает здесь *-ĕ*, чередующееся с *-ŏ* (и нулем), но то же самое следует сказать и об *-ā*, *-ē*, *-ō* с их ослаблением в *-ə*, и об *u*, чередующемся с дифтонгами (ср. лат. fructŭs — fructūs, лит. sūnùs — sunaus). Основы на -о (-о : *-e*) и на *-u* образовывались от одного и того же корня, повидимому, еще в языке-основе: ср. др.-греч. δόμος при ст.-слав. домъ, смешанный характер парадигмы лат. domus (по 2-му и 4-му склонению), а также др.-внд. damū́nas „домашний" при dámaḥ (из *domos) „дом".

[2] Можно указать, например, на § 365 (стр. 282 и сл.), §§ 382—383 (стр. 312—313) труда К. Бругмана „Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen", 1904.

о глагольных и именных суффиксах. Но в большинстве случаев нет возможности различить то и другое"[1]. В качестве примеров Мейе указывает на лат. plectō и др.-в.-нем. flehtan при др.-греч. πλέκω „плету" и лат. duplex „двойной" (из „сплетенный"), на лат. pectō „чешу" и др.-греч. πέκτω „чешу", „стригу" при πόκος „остриженная шерсть" и считает, что „корней" **plekt-* и **pekt-* не могло быть, так как „корень" не мог оканчиваться на сочетание двух глухих согласных. Однако вопроса о том, является ли *-t-* „определителем" или суффиксом, он не решает. Общее же его заключение, что индоевропейский корень не есть элемент неразложимый и застывший, не дает ровно никаких указаний для методики сравнительно-исторических исследований.

Значительно кардинальнее был поставлен (более чем за десять лет до появления кратких компендиумов Бругмана и Мейе) вопрос о структуре индоевропейского корня П. Перссоном в упомянутых выше „Исследованиях о распространениях и вариациях корня" (1891). Однако не только эта, но и более поздняя его работа („Исследования по индоевропейскому словообразованию", 1912) представляли собою прежде всего богатейшее собрание тщательно систематизированного материала. Основная цель автора, как указывается и в предисловии, состояла в том, чтобы обновить и дополнить приложение „Корни и определители корней" к „Этимологическому словарю" А. Фикка (4-й том 3-го изд., 1876, стр. 1—120). Материал этот использовался другими исследователями (в том числе в обоих компендиумах Бругмана), но четкого различия между „определителями", или „распространениями" (Erweiterungen, élargissements), и суффиксами никому не удавалось провести. Эта нечеткость проходит через весь второй том „Grundriss'a" Бругмана. Мейе, как мы уже видели, прямо декларирует невозможность строгого различения детерминативов и суффиксов. Наконец, сам Перссон во второй своей книге (стр. 589) заявляет, что разница между ними лишь относительная, что детерминативы — это те же суффиксы, но утратившие свое значение. В этом плане материал

[1] А. Мейе. Указ. соч., стр. 193.

Перссона использовался и в этимологических словарях, прежде всего в общеиндоевропейском словаре Вальде — Покорного, но такая неопределенность подхода к детерминативам и вела к произвольности и субъективизму в реконструкции разновидностей корней и в сведéнии их к одному архетипу[1]. Наиболее осторожно поступали авторы больших этимологических словарей древнегреческого языка (Э. Буазак) и латинского языка (А. Мейе и А. Эрну): они просто ограничивались перекрестными ссылками от слов, образованных от „нераспространенного“ корня, к образованиям с „распространениями“ и обратно (например, τρέω и τρέχω, teneo и tendo и т. п.).

Повидимому, ни Г. Курциус, которому принадлежал самый термин „определитель корня“ (Wurzeldeterminativ), ни автор первой обзорной работы о детерминативах, А. Фикк, ни разработавший этот вопрос с исключительною полнотой П. Перссон не сознавали всей важности поднимаемого ими вопроса для углубления исторического подхода к исследованию р а з в и т и я индоевропейской семьи языков, для преобразования методики сравнительно-исторических исследований. Авторы компендиумов, Бругман и Мейе, не выдвигают этого вопроса в качестве самостоятельной проблемы, разработка которой должна отразиться и на морфологической, и на лексиколого-этимологической проблематике.

С чем-то вроде протеста против недооценки этой проблемы выступил лишь в 1927 г. Г. Хирт в третьем томе своей „Индоевропейской грамматики“ (стр. 236—242). Указав, что Бругман, признавая существование детерминативов как особой категории словообразовательных явлений, не сумел их использовать для разработки сравнительной грамматики, Хирт вместе с тем присоединился к мнению Перссона и др., что детерминативы — это суффиксы с утраченным в сознании говорящих значением, и таким образом как бы сразу снял с обсуждения проблему, которую он сам, казалось, настой-

[1] Новый (еще не закончениый) словарь Ю. Покориого отличается от редактированного Покориым труда Вальде, как указывается и в предисловии, отказом от многих иеобосноваииых рекоиструкций кориевых морфем, ио надо отметить, что и рекоиструируемые кории, вводимые Покориым впервые, иногда столь же мало обосиоваиы и убедительны.

чиво выдвигал. Исходя из нескольких априорных идей, признания которых он тщетно добивался, Хирт заявил, что проблема определителей корня может быть успешно разработана лишь при условии принятия его идеи, что имя как грамматическая категория древнее глагола. Следовательно, при образовании слов-имен „определители корня“ ничем не отличались от древнейших детерминативных суффиксов, которые противопоставлялись Хиртом суффиксам, происходящим из самостоятельных слов, и „позднейшим“ именным суффиксам (возникшим уже после четкого разграничения имени и глагола не только как чисто грамматических, но и как словообразовательных категорий). Отличие „определителей“ от именных и глагольных суффиксов возникло лишь в связи с тем, что значительная часть имен, от которых образовались глаголы (а по Хирту, все первичные глаголы имели отыменное происхождение), вообще исчезла из языка. Не говоря уже о бездоказательности тезиса об отыменном происхождении всех первичных глаголов, в исследовании Хирта нет никакой возможности уловить принципиальную разницу между детерминативными суффиксами и детерминативами корня. Ясно лишь, что возникновение и тех и других Хирт относит к д о ф л е к т и в н о м у периоду в развитии индоевропейского языка-основы, никак, впрочем, не доказывая того, что флективность грамматического строя развилась только после обособления индоевропейской языковой общности, а не была унаследована ею от какой-то другой, предшествовавшей общности. Однако, навязывая этот свой априорный тезис, Хирт утверждает, что такие древнейшие словообразовательные суффиксы, как *-om*, *-i*, *-u*, *-ā* одновременно были использованы и как элементы словоизменения, как падежные окончания, хотя и допускает, что эти элементы, выступающие в двух функциях, могли иметь иногда разное происхождение, приведшее затем к суффиксально-флексийной омонимии.

Никакой строгой методики установления древнейших типов индоевропейского корня, никаких попыток установления относительной хронологии явлений, никаких выработанных приемов исследования мы и у Хирта не найдем, хотя его сводки относящегося сюда материала, дополняющие иногда

материал Перссона, от которого он отправляется, могут быть в отдельных случаях использованы.

Идя несколько иным путем и от других отправных пунктов (преимущественно от анализа глагольного словообразования с традиционным признанием первичного глагольного значения древнейших корней), пришел к постановке аналогичных вопросов Ф. Шпехт в своих многочисленных статьях и рецензиях и, наконец, в своей книге „Происхождение индоевропейского склонения“ [1]. Его выводы о различных хронологических слоях в индоевропейском языке-основе, основанные первоначально на наблюдениях над образованием основ дуративных глаголов путем суффиксации первичных глагольных корней посредством *-ē-*, якобы имевшим место только после обособления индо-иранских, армянского и греческого языков [2], в общем не лишены интереса и могут быть сопоставлены с аналогичными историко-лексикологическими наблюдениями (так называемая „северо-западная лексика“ у Мейе [3]). Ф. Шпехт в упомянутой книге пытался отчасти подкрепить свои положения новыми доказательствами, отчасти развить их в применении к еще более отдаленным периодам, предшествующим обособлению названных выше групп индоевропейских языков, т. е. к эпохе индоевропейской языковой общности, еще не начавшей распадаться. К этой же эпохе Шпехт относит и два связанных, по его мнению, друг с другом явления: возникновение тематических основ (у него только на *-ŏ* и *-ā*) и смену древнего, так называемого гетероклитического склонения той многопадежной системой, которая реконструируется в общих чертах для „эпохи распадения“ языка-основы посредством сравнения между собой систем склонения древнейших письменных памятников индоевропейских языков с „внутренней реконструкцией“ падежей, исчезнувших к началу исторической эпохи. Ставя все эти вопросы,

---

[1] F. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination, 1943.

[2] См. F. Specht. Zur Geschichte der Verbalklasse auf -ē. Ein Deutungsversuch der Verwandtschaftsverhältnisse des Indogermanischen, „Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch.“, Bd. 62, 194. . ., S. 108.

[3] См. A. Meillet. Les dialectes indoeuropéens, 1908, Chap. I. Le vocabulaire du nord-ouest.

Шпехт не мог не придти к вопросу о структуре корня, о его „распространениях“ и древнейших суффиксах.

Сопоставляя такие пары возводимых им к одному и тому же первичному корню слов, как: лат. pi-n-gu-is „толстый“ — др.-сканд. fei-t-r; лит. žar-n-à „кишка“ — др.-греч. χορ-δ-ή; готск. spar-w-a — др.-греч. σπορ-γ-ίλος: лат. rī-u-us „ручей“ — ст.-слав. рѣ-к-а и т. п., Шпехт считает, что путь к пониманию значения этих древнейших суффиксов лежит через исследование вопроса о происхождении индоевропейского флективного словоизменения (Flexion). В частности, сюда относится вопрос об образовании тематических именных основ, в значительной степени вытесняющих более древние согласные основы, которые уже включали в себя древнейшие суффиксы, являющиеся „распространением“ корня. Важнейшими из таких „распространений“ Шпехт считает *-k-*, *-g-*, *-t-*, *-d-*, *-s-*. Свой анализ Шпехт ведет, беря в качестве объектов не любые слова, как это было и у Перссона, и у Хирта, а слова определенных лексических категорий. В этом заключается методический интерес его исследования, хотя выделение самих лексических категорий у него очень спорно и часто основано на нелингвистических критериях. Шпехт пытается показать на анализе этих лексических категорий, что древнейшие „распространения“ *-k-*, *-g-*, *-t-*, *-d-*, *-s-* в процессе дальнейшего развития языка-основы совпали по своей основообразовательной функции с более поздними суффиксальными „распространениями“ *-e-/-o-*, *-i-*, *-u-*, *-men-*, *-l-*, *-r-*. Оставляя в стороне вопрос о фактической обоснованности данного утверждения, можно и здесь отметить методический интерес постановки вопроса о характере основообразовательных процессов, в которых старый значащий звуковой материал, оставаясь в целом продуктивным средством, получает новые функции, приспособляясь к новой системе.

Шпехт в общем присоединяется к взгляду Перссона и Хирта относительно одинаковой природы и функций древнейших детерминативов и позднейших суффиксов и даже, в отличие от Хирта, не выделяет суффиксов, происшедших от самостоятельных слов. Однако тем самым и он как бы снимает с обсуждения вопрос о с и с т е м е древнейшего

индоевропейского словообразования, в освещение которого его книга, при всей своей спорности, вносит кое-что новое и ценное [1].

С исключительной остротой вопрос о противопоставлении „распространений“ и „суффиксов“ как элементов, имеющих совершенно разную природу и разные словообразовательные функции, ставится в книге Э. Бенвениста „Индоевропейское именное словообразование“ (1935)[2], одна из основных глав которой (глава IX) целиком посвящена „теории индоевропейского корня“. Как и менее систематически изложенная „теория корня“ Ю. Куриловича[3], она, во-первых, имеет чисто фонетический характер, полностью отрешенный (в отличие от концепции Шпехта) от лексико-семантического анализа слов; во-вторых, она целиком исходит из принятия так называемой „ларингальной гипотезы“ и без нее остается не только ничем не обоснованной, но и непонятной.

Корень для Куриловича и Бенвениста — это только часть фонетической структуры слова. Если, например, сочетание *-kt-* не может (как считал еще Мейе) быть завершением корневой морфемы, то, следовательно, в словах, обозначающих „ночь“, — лат. nox (род. п. noct-is), др.-греч. νύξ (род. п. νυκτ-ός) и т. д. корнем будет только ***nok***^{w}-, и эти слова, независимо от их значения, можно сопоставлять с лат. noceo „врежу“, noxa „вина“, др.-греч. νέκταρ „нектар“, ἀνάγκη „необходимость“, „судьба“ (с протетическим α- и носовым инфиксом) и т. д.

Вопроса о соотношении между обладающим обязательной фонетической структурой „корнем“ и „словом“ как носителем

[1] В самое недавнее время, отправляясь от исходных положений Шпехта, но не разделяя его конечных выводов, Ганс Кун подверг анализу смену словообразовательных типов в индоевропейском языке-основе на материале древнейших терминов скотоводства и земледелия и отчасти на материале речной топонимики Европы (см. H. Kuhn. Ablaut *a* und Altertumskunde. — Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch., Bd. 71, H. 3/4, 1954, S. 129—161). В целом работа Г. Куна страдает большой односторонностью, но вносит ряд ценных частных коррективов в методику изучения словообразовательных процессов.

[2] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indoeuropéen 1935 (русск. перев., М., 1955).

[3] J. Kuryłowicz. Études indoeuropéennes 1935, Chap. V. La dérivation nominale, p. 169—251.

суммы лексических и грамматических значений Курилович совсем не ставит. С точки зрения его теории, индоевропейские корни в том виде, как они могут быть восстановлены для наиболее древнего этапа развития языка-основы, возникли только в определенный исторический момент. Причиной их возникновения было, по Куриловичу, чисто фонетическое явление — „первое ослабление гласных“ [1]. Даже если эта гипотеза окажется вероятной, это не спасет фонетическую теорию корня, так как „ослабление гласных“ (если оно имело место) могло произойти не само по себе, а в реально существующих словах реального языка, служившего средством общения в каком-то человеческом коллективе. Язык изначально был языком слов, как бы примитивна ни была их морфологическая структура. Поэтому фонетическая теория к о р н я сама по себе не может служить основой для разработки методики советского сравнительно-исторического языкознания: она должна быть соотнесена с теорией морфологической и семантической структуры древнейшего индоевропейского с л о в а.

Однако следует максимально использовать отдельные исследовательские приемы, применяемые новейшими учеными, включая эти приемы с известным переосмыслением их в систему нашей сравнительно-исторической методики. К ним, в частности, надо отнести прием различения „распространений“ и „суффиксов“ в упомянутой книге Э. Бенвениста.

Продолжая исследования многих компаративистов (в последнее время Х. Педерсена и В. Петерсена), Бенвенист, как и Шпехт, придает огромное значение реликтам „гетероклитического“ склонения, в рамках которого, как системы именного словоизменения, должны были существовать в индоевропейском языке-основе древнейшие типы корневых морфем, изменявших конечный звук при склонении (ср. др.-греч. ὕδωρ — ὕδατος, умбр. utur — une, — чередование *r/n*; др.-инд. ásthi — asthnáḥ, др.-греч. ἄλφι — ἄλφατος, — чередование *i/n*). Это можно считать новым и достаточно обоснованным исследовательским приемом в области ретроспективного анализа

[1] Здесь Курилович во многом следует Г. Хирту, опираясь иа одну из самых спорных частей его компаративистской концепции — историю индоевропейского вокализма в связи с ударением.

морфологической структуры слова — приемом, который является частным случаем „внутренней реконструкции".

Взаимосвязь между развитием процессов словоизменения и процессов словообразования, которую правильно пытается нащупать Шпехт, не приходя, однако, к ощутительным результатам, у Бенвениста выступает значительно яснее. Оказывается, что те же чередования *r/n* и *i/n*, которые в гетероклитическом склонении служили для образования падежных форм, использовались и для целей словообразования: ср. др.-греч. ἔαρ „весна" (из Ϝεσαρ), лат. vēr (из *u̯eser), лит. vāsara „лето" и др.-инд. vasantáḥ, ст.-слав. весна; др.-греч. χειμών „зима" и χειμέριος „зимний", χίμαρός „годовалый" и т. п. Таким образом, свойственное индоевропейским языкам перекрещивание словообразования и формообразования, о котором шла речь в § 2 настоящей главы, было свойственно им и на очень ранних этапах развития индоевропейской языковой семьи.

Применяя „ларингальную гипотезу", согласно которой гласный *a* и не чередующийся с *e* гласный о, как краткие, так и долгие, являются результатом различных сочетаний *e* с ларингальным *ə*, имеющим не гласный, а (как указал еще Ф. де Соссюр в 1879 г.) согласный характер и несколько разновидностей ($ə_1$, $ə_2$, $ə_3$), Бенвенисту удалось найти точный критерий для различения суффиксов и тех элементов, которые называли „детерминативами" или „распространениями". Суффикс как морфема, включающаяся в состав слова, возникает лишь после возникновения аблаута, который, в свою очередь, мог возникнуть лишь после образования *e*, о, *a*, *ē*, *ō*, *ā* из различных сочетаний *e* и *ə*. Аблаут создал возможность появления новых типов словопроизводства (*везу* — *воз*, φέρω — φόρος) и формопроизводства (fŭgio — fūgi, λήσω — ἔλαθον, πεύσομαι — ἐπυθόμην). В результате превращения ранее самостоятельных слов в суффиксы, сращения их с корневыми морфемами явление аблаута распространилось и на суффиксальные морфемы: ср. образование основ на *-e*:-о, *-es*:*-os*, *-u*:*-eu* (*-ou*). Следовательно, подчиняясь законам аблаута, суффикс должен был обязательно иметь „огласовку" (хотя бы нулевую), тогда как „распространение", или детерминатив, являясь средством словообразования и формообра-

зования *до возникновения аблаута* и даже до создания развитой системы вокализма, всегда было и осталось чисто консонантным элементом. Под новые закономерности аблаута и развития вокализма подпали все чисто корневые слова, изменяющиеся по правилам языка, если не „дофлективного“, то во всяком случае сильно отличающегося от развитого флективного строя, непосредственно реконструируемого сравнением исторически засвидетельствованных систем грамматического строя индоевропейских языков[1]. Но под эти закономерности подпали и производные образования, являющиеся *лексическими* вариантами корневых слов, создавшимися путем присоединения к ним чисто консонантных элементов, или *грамматическими* формами их в пределах того относительно примитивного грамматического строя, которым должен обладать всякий язык для выражения отношений между понятиями. Таким образом, одни и те же консонантные детерминативы могли действительно иметь и словообразовательные и словоизменительные функции, как это правильно подметил Хирт, хотя он и оказался совершенно беспомощным в систематизации относящегося сюда материала. Так как, повидимому, большинство суффиксов словоизменения восходит к некогда самостоятельным словам, как полагали еще Бопп и Шлейхер, то более сложные отношения долгое время при невозможности вариации корневых морфем и бедности консонантных элементов суффиксации (детерминативов) выражались сочетанием знаменательных слов, часть которых постепенно превращалась в служебные и далее вообще переставала быть словами. Равным образом более сложные процессы производства новых слов осуществлялись при помощи словосложения (типа dvandva, tatpuruṣa, bahuvrīhi и др.). В процессе этого развития функции консонантных элементов (детерминативов), а позже —

[1] К этому раннеиндоевропейскому грамматическому строю надо относить гетероклитическое (повидимому, двухпадежное) склонение, систему двух грамматических родов (одушевленного и неодушевленного), систему презенса-претерита, начавшую затем осложняться перекрещиванием с системою инфекта-перфекта (без выделения аориста) и модальными категориями, и некоторые другие явления.

функции ступеней чередования корневых и суффиксальных морфем и тематических гласных в словообразовании и словоизменении не могли не быть связаны с формированием тех или иных лексико-семантических категорий, как на этом правильно настаивал Шпехт, хотя и он, применяя преимущественно нелингвистические критерии, оказался не в состоянии систематизировать относящиеся сюда факты.

Бенвенисту удалось (и в этом, может быть, его главное достижение) открыть бесспорный закон морфологической структуры индоевропейского слова, сложившийся в результате взаимодействия законов аблаута (каково бы ни было их происхождение — акцентологическое или иное) с процессами превращения самостоятельных слов в аффиксы, сросшиеся с корневыми морфемами. Этот закон, подводящий прочную фактическую базу под изложенную выше концепцию переломного периода в развитии индоевропейского языка-основы (длившегося, вероятно, многие столетия и представлявшего собой долгую борьбу нового с отмиравшим или приспособляющимся старым) состоит в следующем: ступени чередования корневой и суффиксальной морфем в производной атематической основе всегда находятся в строгом соотношении между собою, и полной огласовке корня (*e* : *o*) может соответствовать только нулевая огласовка суффикса, а нулевой ступени корня может соответствовать только полная огласовка суффикса.

На этом законе, широко используя „ларингальную гипотезу", строит Бенвенист свою теорию двух обязательных видов каждого индоевропейского корня. Концепция Бенвениста в той интерпретации, которая была дана выше (с использованием того рационального зерна, которое есть в работах Хирта и Шпехта), является, при всех ее спорных моментах, серьезным основанием для разработки новой методики сравнительно-исторического изучения развития морфологической структуры слова в родственных языках.

Для этого нужна проверка ее о с н о в на значительно бо́льшем материале, чем тот, каким мы пока располагаем, но общие контуры ее, как нам кажется, могут быть ясны уже из предшествовавшего изложения.

Глава V

ПРИЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ

§ 1. Применение сравнительно-исторического метода при изучении морфологии родственных языков определяется теми общими принципами, которые были сформулированы в вводных главах настоящей работы.

Морфология является опорой изучения языкового родства. Входя в наиболее устойчивую сферу языка, морфология, вместе с тем, образует и наименее проницаемую его область: система словоизменительных формативов менее всего подвергается воздействию иноязычных влияний. Поэтому материальная общность таких формативов у ряда языков служит наиболее ярким доказательством их генетической общности. Как известно, „открытие" индоевропейской семьи языков было сделано Боппом в связи со сравнительным анализом глагольного спряжения древнеиндийского, греческого, латинского, персидского и германских языков[1]: сравнительный анализ выявил материальную общность грамматических формативов в парадигме глагольного спряжения названных языков и тем самым послужил базой для утверждения генетической общности индоевропейских языков.

§ 2. Предметом изучения сравнительно-исторической морфологии является система формообразования данной группы или семьи родственных языков в ее историческом развитии.

[1] F. Bopp. Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen. Frankfurt a. Main, 1816.

В индоевропейских языках система словоизменительных показателей тесно переплетается со словообразовательными формативами: нередко тот же форматив в одних языках служит средством образования новых слов, в других же выступает в качестве показателя формы слова, а в некоторых случаях какой-либо показатель в пределах одного языка выполняет обе функции.

Так, в индоевропейских языках имелся показатель *-ē-*, сообщавший глагольной основе значение глагола состояния. Например, в латинском языке нередко от одного корня образуются парные глаголы типа iacĕre „бросать" и iacēre „лежать", pendĕre „вешать" и pendēre „висеть", где *-ē-* выступает в функции глагольного суффикса состояния. В германских языках глаголы на *-ē-* образуют так называемый третий класс слабых глаголов, часть которого составляют отыменные образования: см. др.-нем. sorgēn „заботиться" от sorga, sworga „забота"; другие типа др.-нем. dagēn „молчать" (лат. tacēre), являются, повидимому, глаголами первичного образования; большинство глаголов этого разряда обозначают состояние. В славянских и балтийских языках тот же показатель выступает лишь как форматив определенной видовременно́й основы: см. в старославянском основу инфинитива **мьнѣ-ти** „думать", **мьн-ѣ-хъ** „думал", при **мьн-и-тъ** „думает". В греческом же этот суффикс получил двойное развитие. Во-первых, он выступает в показателе сильного аориста на *-ην* (1-е л. ед. ч. ἐρρύην от ῥέω „течь", ἐχάρην от χαίρω „радоваться", ἐμάνην от μαίνομαι „беситься"), образование которого первоначально было связано с ограниченной группой глаголов; у Гомера засвидетельствовано только 25 случаев такого образования, в них сохраняется первоначальная связь этого показателя с обозначением состояния как результата действия. Во-вторых, этот же суффикс используется в качестве своеобразного чисто формального элемента при образовании различных временны́х основ (кроме презентных), на что указал еще П. Шантрен[1].

---

[1] P. Chantraine. Le rôle de l'élargissment *ē/o* dans la conjugaison grecque. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris", 1928, v. 28, Chap. 2, p. 9 и сл.

О тесном переплетении словоизменительных и словообразовательных формативов свидетельствует и использование формативов *-*to*, *-eto, *-no, *-eno в индоевропейских языках. Суффиксы эти связаны исторически с различными именными образованиями. Особенно продуктивны они были в производстве прилагательных от именных и глагольных основ. Сюда может быть отнесено образование прилагательных типа русского *речной* от *река*, *холодный* от *холод*, *славный* от *слава*, *голодный* от *голод*, *бородатый* от *борода*, *рогатый* от *рог*; латинского eburnus „из слоновой кости“ от ebur „кость“; aenus „медный“ от aes „медь“; scelestus „преступный“ от scelus „преступление“; греческого ἀλγεινός „тяжкий“, от ἄλγος „боль“, κλυτός „славный“ и т. д. Наиболее продуктивны были эти суффиксы в греческом языке в образовании прилагательных, связанных с глагольными основами, типа στυγνός „ненавистный“, „отвратительный“ — στυγέω „чувствовать отвращение, ужас“, σεμνός „почтенный“ — σέβω, σέβομαι „почитать“, ἁγνός „святой“, „священный“ — ἅζω, ἅζομαι „благоговеть“, „бояться“, δεινός „страшный“ — δείδω „бояться“, μικτός „смешанный“ — μίγνυμι „мешать“, φατός „сказанный“ — φημί „говорить“, δεκτός „приятный“, „угодный“ — δέχομαι „принимать гостеприимно“, ἀγαστός „достойный удивления“ — ἄγαμαι „удивляться“ и т. д.

Вместе с тем, в некоторых индоевропейских языках — в славянских, германских, латинском и др., — формативы эти используются для образования причастий и тем самым включаются в систему глагольного словоизменения: так, в русском же языке, наряду с *речной* от *река*, *славный* от *слава*, представлены *написанный* от *писать*, *сделанный* от *сделать*, *прочитанный* от *прочитать* и т. д., и наряду с прилагательными *бородатый*, *носатый* — причастия *поднятый* от *поднять*; *взятый* от *взять* и т. д.

Точно также в немецком языке эти же формативы используются для образования причастия II сильных и слабых глаголов: geschrieben „написан“ от schreiben „писать“, gelesen „прочитан“ от lesen „читать“, bearbeitet „обработанный“ от bearbeiten „обрабатывать“ и т. д.

В латинском языке причастие страдательного залога на

-to — laudātus „прославленный" от laudāre „прославить", ornātus „украшенный" от ornāre „украшать" образованы, в свою очередь, при помощи одного из указанных формативов. Как показал Э. Бенвенист в своей известной работе об именном словообразовании, чередования *r/n*, *i/n*, характерные для образований падежных форм гетероклитического склонения, использовались также в словообразовании: ср. греч. χειμών „зима", χειμέριος „зимний", χιμαρός „годовалый".

В приведенных выше примерах связь словоизменения и словообразования осуществлялась в том, что один и тот же форматив иногда в разных языках, а иногда и в одном языке выступал в функции как средства словоизменения, так и средства словообразования. Нередко старый словообразовательный показатель использовался в дальнейшем развитии индоевропейских языков в качестве словоизменительного форматива, вследствие чего в системе одного языка, являющейся результатом развития в течение ряда эпох, отлагались явления, относящиеся к разным периодам: так было, повидимому, с формативом *-ē-* в греческом языке. Не следует здесь забывать и того обстоятельства, что для древнейшего этапа истории индоевропейской семьи приходится предполагать бо́льшую обособленность так называемых словоизменительных форм в пределах одной парадигмы, так что эти формы нередко приближались по характеру существовавших между ними связей к группе производных слов, образованных от одного корня при помощи системы словообразовательных аффиксов.

Чем глубже проникает исследователь в историю индоевропейской семьи языков, тем сложнее переплетение словообразовательных и словоизменительных формативов.

Тесная связь словоизменения и словообразования проявляется также в древних индоевропейских языках в той зависимости оформления склонения имен от структуры именной основы, которая и создавала большую дробность классов в системе именного склонения. Наличие или отсутствие основообразующего суффикса в склонении имен, характер этого основообразующего суффикса обусловили в древних индоевропейских языках образование многочисленных классов

склонения: ср. в греческом первое склонение типа χώρα, соответствующее ему первое склонение в латинском языке типа terra, склонение имен существительных женского рода типа жєна в старославянском, *жена* в русском языке, склонение имен существительных типа giba „дар" в готском, представляющие в этих языках единый класс индоевропейского склонения основ на *-ā-*, ср. также второе склонение в греческом типа φίλος, в латинском — hortus, в старославянском склонение типа влькъ, в готском типа dags, представляющие, в свою очередь, единый класс индоевропейского склонения основ на *-o-* и т. д.

Таким образом, изучение системы словоизменения индоевропейских языков тесно связано с вопросами словообразования. Эта связь настолько тесна, что нередко трудно четко разграничить данные области.

§ 3. Сравнительно-исторический метод при изучении системы словоизменения родственных языков применяется для решения целого комплекса вопросов: 1) выделение и описание общих словоизменительных показателей, изучение структуры словоизменительных форм в отдельных языках с восстановлением исходной формы; 2) раскрытие системных отношений внутри восстановленных словоизменительных парадигм, определявших функционирование и развитие отдельных показателей; 3) установление системы грамматических категорий, характеризующих язык-основу; 4) познание внутренних противоречий в восстановленной словоизменительной системе в целях объяснения процессов развития и изменения этой системы в родственных языках; 5) раскрытие закономерностей развития словоизменения в родственных языках. Таков вкратце тот комплекс вопросов, который должен быть поставлен в этом разделе сравнительной грамматики.

Вопросы эти представляют собой не простую сумму не связанных друг с другом проблем, а единый комплекс, в котором решение одного вопроса образует как бы предварительную ступень для решения более сложных проблем и, вместе с тем, разрешение этих более сложных проблем позволяет полнее и глубже изучить ранее поставленные вопросы. Конечная цель — познание закономерностей развития слово-

изменения родственных языков — может быть достигнута лишь при условии успешного освещения более простых и частных вопросов (например, состава словоизменительных показателей), последовательное изучение которых позволяет постепенно все глубже проникать в историю языков данной семьи.

Само восстановление общих форм является как бы многоступенчатым. Первой, наиболее простой задачей является установление той словоизменительной системы, которая, существуя до выделения отдельных родственных языков, образовала непосредственную основу их развития.

Но сама эта восстановленная словоизменительная система, в свою очередь, являлась результатом длительного развития; в ней имелись как явления старые, связывающие ее с еще более отдаленным прошлым, так и ростки нового, в развернутом виде нередко выступающие лишь в позднейшей истории отдельных родственных языков. В этой связи особое значение получает принцип относительной хронологии, позволяющий исследовать так называемый язык-основу не как нечто застывшее и неподвижное, а как исторически развивающуюся категорию.

Установление общих словоизменительных формативов, восстановление древней системы словоизменения, раскрытие общих закономерностей развития словоизменительной системы родственных языков должно проводиться на фоне изучения того специфического, что составляло своеобразие развития отдельных родственных языков. Необходимо иметь в виду, что даже эпоха индоевропейской языковой общности знала дублетные формы, а также диалектные расхождения в оформлении новых категорий; это особенно важно учитывать при реконструкции системы словоизменительных показателей.

§ 4. Необходимой базой для сравнительно-исторического изучения словоизменения родственных языков, материальной основой сравнительного анализа и восстановления словоизменительных показателей является исследование закономерностей фонетического строя.

Общность отдельных словоизменительных показателей обнаруживается обычно в родственных языках в многообразии

фонетических вариантов: так, например, общий для всех индоевропейских языков показатель третьего лица множественного числа настоящего времени *-*nti* имеет следующие варианты: в древнеиндийском -*nti* (bháranti „несут“), в дорийском диалекте греческого языка -ντι (φέροντι), в аттическом диалекте -ουσι (φέρουσι), в латинском языке -*unt* (vehunt „везут“), в древнерусском -*уть* (*беруть*), в хеттском -*nzi* (u̥u̥adanzi).

Варианты эти обусловлены специфическими особенностями развития фонетического строя отдельных языков. Так, неизменным старый показатель оставался в древнеиндийском языке и дорийском диалекте греческого. Изменения, происшедшие в форме аттического диалекта, объясняются тем, что τ перед ι переходило в σ, а ν перед этим новым σ выпадало, вызывая удлинение предыдущего гласного (т. е. $o > \bar{o}$, которое графически изображалось как ου). В латинском языке конечное -*i* отпадало (ср. архаичную форму tremonti, засвидетельствованную около 205 г.). В русском, как и в других славянских языках, гласный глагольной основы + носовой давали в закрытом слоге носовой гласный ǫ (Ѫ), который в древнерусском переходил в *у*; редуцированный -ь соответствует конечному -*i* в других индоевропейских языках. Наконец, хеттский вариант -*nzi* объясняется фонетическим законом, согласно которому индоевропейское *t* переходило здесь в *z*.

На фоне этих фонетических закономерностей, объясняющих звуковые варианты общего показателя, с очевидностью выступает генетическое тождество всех этих вариантов, восходящих к единому общему показателю.

Поэтому сопоставление отдельных словоизменительных показателей, установление их общности, восстановление предполагаемого архетипа, изучение закономерностей его изменения в отдельных языках невозможно без привлечения материала фонетики, без знания фонетических процессов и фонетических соответствий между родственными языками[1].

---

[1] Следует отметнть вместе с тем, что матернал словоизмеиительных показателей, в свою очередь, используется наряду со словарем при нзученни фонетических процессов и устаиовленин фонетических соответствнй между родственными языкамн.

Никакое функциональное сопоставление словоизменительных показателей родственных языков не может служить доказательством общности их происхождения до тех пор, пока различия в их материальном составе, не получат своего объяснения, как проявление более поздних фонетических изменений. Функциональная общность словоизменительных формативов родственных языков неотделима от их материальной общности.

В приведенном выше примере анализ показателя 3-го лица множественного числа был основан на сопоставлении форм, объединенных общим значением во всех индоевропейских языках, т. е. форм функционально тождественных, но установление генетического тождества этих форм, их сводимость к единому показателю, реконструкция материального состава этого показателя основывалась на определенных, ранее установленных фонетических соответствиях и закономерностях. Именно поэтому исследование исторических закономерностей фонетического строя, установление фонетических соответствий образует базу сравнительно-исторического изучения словоизменения в родственных языках.

Функционально тождественные показатели нередко оказываются генетически не тождественными; так, например, показатели именительного падежа множественного числа имен существительных мужского рода основ на *-o-* в греческом и древнеиндийском генетически не тождественны; в греческом λύκοι „волки“ и в древнеиндийском vṛkāḥ окончания не могут быть сведены к единому источнику, так как никакие фонетические закономерности не дают соответствия греческого -οι и древнеиндийского *āḥ* < *a* + *aḥ*. Это два различных по своему происхождению показателя, хотя они и выступают с одинаковой функцией в обоих языках и, повидимому, существовали параллельно в языке-основе (см. подробнее § 9).

Даже показатели функционально тождественные и на первый взгляд тождественные материально могут при проверке их истории в свете данных сравнительно-исторической фонетики все же оказаться генетически не тождественными. Так, например, показатели 3-го лица единственного числа настоящего времени в латинском языке lauda-t и в старославянском бєрє-тъ,

в современном русском *берёт* не возводятся к одному источнику, несмотря на то, что они совпадают и функционально, и по своему звучанию. Фонетические закономерности развития конечных слогов в этих языках в сопоставлении с формой этого же показателя в древнеиндийском и хеттском доказывают несводимость русского и латинского формативов: латинский показатель возводится к форме **ti*, тогда как русский показатель к этой форме возведен быть не может (см. § 8).

С другой стороны, генетически тождественные показатели могут оказаться функционально различными в разных языках: в результате обособленного развития родственных языков некий единый показатель, существовавший в эпоху индоевропейской общности, мог получить в истории отдельных родственных языков различное использование. Например, показатель **-nt* во всех индоевропейских языках, кроме хеттского, функционировал в качестве форматива причастия действительного залога настоящего времени; в хеттском же при помощи этого показателя образовывались также и страдательные причастия (kunanza „убитый“, adanza „съеденный“, но ḫuišuanza „живущий“); определяющей для залогового осмысления этой формы была переходность или непереходность глагола. Повидимому, в хеттском сохранилось использование этого показателя, отражающее нормы грамматического строя индоевропейских языков, предшествовавшие выработке залоговых противопоставлений (действительный — страдательный залог), тогда как закрепление за **-nt* функции показателя причастия действительного залога было обусловлено закономерностями более поздней эпохи.

Ср. также характер и употребление отдельных форм индоевропейского перфекта, включенных в парадигму германского претерита (см. простое прошедшее современного немецкого языка) и не имеющих здесь функционально ничего общего с перфектом греческого и древнеиндийского языков. Это не мешает при установлении генезиса таких форм как современное немецкое ich nahm, er nahm сопоставлять их с греческими формами οἶδα, οἶδε, поскольку их структура, отсутствие какого бы то ни было показателя лица в немецком получает

свое объяснение именно на основе этого сопоставления: во всех германских языках старые перфектные окончания *-е*, *-а* отпали согласно закону конечных слогов еще в дописьменную эпоху.

При установлении генетического тождества словоизменительных показателей надо учитывать как материальный состав показателя, так и его значение. Реконструкция словоизменительной формы предполагает восстановление не только ее материального состава, но и ее исходного значения. Однако сложное соотношение в процессе развития родственных языков между функциональной стороной показателя и его материальным составом требует особенной тщательности при проверке любой реконструкции в свете установленных фонетических закономерностей и соответствий. Только такая проверка может оградить от беспочвенных сопоставлений и реконструкций.

§ 5. Первое звено сравнительно-исторического изучения словоизменения в родственных языках составляет в ы д е л е н и е и о п и с а н и е о б щ и х с л о в о и з м е н и т е л ь н ы х п о к а з а т е л е й, изучение структуры словоизменительных форм, включая сюда восстановление исходной формы и исследование ее судьбы в истории отдельных языков.

Первостепенное значение этого звена объясняется многими причинами. Уже само установление родства языков, отнесение определенной группы языков к одной семье основывается в значительной степени на выявлении общности словоизменительных показателей сравниваемых языков. Вместе с тем ни один из более сложных вопросов сравнительно-исторического изучения словоизменения родственных языков, начиная от выявления системных отношений в пределах отдельных парадигм и кончая установлением тенденций развития грамматической системы языка-основы или определением общих внутренних законов развития грамматического строя родственных языков, не может быть исследован до тех пор, пока не изучена сама система словоизменительных показателей и структура словоизменительных форм. Результаты этого изучения дают тот материал, дальнейшая обработка и обобщение которого

и создает научную основу для постановки более общих проблем.

Однако решение этой задачи отнюдь не просто, оно требует большой точности, высокой техники лингвистического анализа, осуществляемого путем применения комплекса исследовательских приемов, объединяемых понятием сравнительно-исторического метода. В каждом отдельном случае речь идет не о выявлении какого-то общего сходства, не о простом сопоставлении материально-сходных показателей, а о научно-обоснованном доказательстве возможности или невозможности их сведе́ния к единой форме; речь идет прежде всего об обосновании наличия или отсутствия генетического тождества этих показателей. При этом во многих конкретных случаях одинаково важным является как установление наличия генетического тождества, так и показ несводимости определенных показателей, засвидетельствованных материалом письменных памятников и живых языков, к единому показателю: при наличии генетической общности многих показателей, свидетельствующей о том, что их происхождение уходит своими корнями в эпоху существования языка-основы, несводимость некоторых показателей может указывать на наличие в ту эпоху дублетных форм, диалектных расхождений.

Всем сказанным выше определяется важность техники анализа, комплекса приемов, используемых при решении того круга вопросов, который был определен нами, как первое звено сравнительно-исторического изучения словоизменительной системы родственных языков. Выделение трудностей, в одних случаях преодолимых, в других неразрешимых, с которыми сталкивается исследователь, рассмотрение этих трудностей обнаруживает вместе с тем и границы применения сравнительно-исторического метода.

Начиная изложение с простейших случаев выделения общих показателей и переходя постепенно ко все более сложным фактам, мы стремимся вместе с тем показать, что в ряде случаев изолированный анализ отдельного показателя не может дать необходимых результатов: в этих случаях приходится обращаться к сопоставлению целого парадигматического ряда,

а иногда и нескольких парадигматических рядов, но и здесь мельчайшей единицей грамматического анализа, „начальной ячейкой“ является изучение отдельных словоизменительных морфем.

§ 6. Как было отмечено выше, сущность сравнительно-исторического изучения словоизменительных показателей отнюдь не заключается в простом установлении сходства их в родственных языках. Так, например, простое указание на то, что во всех индоевропейских языках в формах 3-го лица единственного числа имелся сходный личный показатель (ср. др.-инд. bhárati „несет“, латинское laudat „хвалит“, хеттское ekuzi „он пьет“, древнерусское *береть*, греческое ἔστι, дорийское δίδωτι „дает“ в атематическом спряжении[1]), — еще недостаточно. Только установление исконного тождества показателей отдельных языков может обеспечить полную уверенность в том, что в этих языках представлены различные варианты одного и того же форматива. Однако такое утверждение возможно, в свою очередь, лишь в том случае, если расхождения в звучании этого форматива в разных языках получат свое объяснение. Так, в приведенном примере должно быть объяснено, почему один и тот же показатель имеет в древнеиндийском звучании *-ti*, в хеттском *-zi*, в древнерусском *-ть*, в латинском *-t*, в греческом *-ti*. Иными словами, должна быть обоснована сводимость всех этих показателей 3-го лица настоящего времени, представленных материалом разных индоевропейских языков, к одному общему показателю, их генетическое тождество.

Обоснование этого казалось бы простого и довольно прозрачного для истолкования случая требует предварительного установления целой системы фактов. Прежде всего, гипотетически должна быть восстановлена та форма показателя, которая может быть предположительно определена как исходная для всех приведенных выше личных показателей; в качестве такой формы устанавливается **-ti*. Данная реконструкция основы-

[1] Форма 3-го лица тематического спряжения в греческом не соответствует непосредственно формам других индоевропейских языков.

вается на том, что в преобладающем большинстве языков, представляющих различные группы внутри индоевропейской семьи, а именно в древнеиндийском, греческом, латинском, старославянском согласный элемент показателя представлен звуком *t*; что касается соответствующего согласного в хеттском, то он объясняется специфическими особенностями консонантизма этого языка (*t* перед *i* давало аффрикату *z/ts*); второй же компонент показателя 3-го лица представлен в древнеиндийском, хеттском, греческом, древнерусском гласным *i/ь*, в латинском этот гласный отсутствует, так как в абсолютном конце слова он имел тенденцию отпадать еще в древнейшую эпоху истории латинского языка.

Все приведенные факты позволяют восстановить для рассматриваемых нами показателей 3-го лица единственного числа в различных индоевропейских языках общую форму **-ti*.

Исключение составляют некоторые формы славянских языков: ни старославянское -тъ, ни современное русское *-т* в литературном языке не являются соответствием или развитием древнерусского *-ть* и не сводимы к общеиндоевропейскому показателю **-ti*. Не обнаружено в истории славянских языков или специально русского языка таких фонетических закономерностей, которые подтвердили бы возможность перехода индоевропейского **-ti* в славянское -тъ, или древнерусского *-ть* в современное русское *-т*. Эти показатели должны получить особое объяснение (см. § 8). С точки зрения закономерного развития в славянских языках индоевропейского **-ti*, необъяснима и форма без *-т*, типа сербского *плете*, широко распространенная в диалектах русского языка.

Отклоняется от общей формы и показатель 3-го лица тематического спряжения в греческом, ср. φέρει — где показатель лица ει не может восходить к индоевропейскому **-ti*; в аттическом, согласно особенностям его фонетики, здесь следовало ожидать окончания -σι (см. выше относительно перехода τ в σ, § - 5), и, действительно, оно сохранилось в этом диалекте в атематическом спряжении: δίδωσι „он дает“; однако это -σ- после краткого слога могло выпадать (см. стр. 227), что давало убедительное разрешение этого вопроса в отличие от славянских форм типа *плете*.

Все это указывает на то, что наряду с показателем *-*ti*, наличие которого в языке-основе подтверждается фактами огромного большинства языков, существовало еще иное оформление 3-го лица, возможно, связанное в какой-то степени с первоначальным различием тематической и атематической парадигмы.

Первоначальная гипотетическая реконструкция выдержала проверку, опорой для которой послужила система фонетических соответствий между индоевропейскими языками и установленные на основе этих соответствий закономерные изменения звуков.

Таким образом, установление общности одного словоизменительного показателя, являющееся первым и простейшим звеном сравнительно-исторического изучения морфологии родственных языков, происходит путем использования целой системы приемов: 1) сопоставления близких форм, 2) реконструкции, 3) привлечения фактов исторического развития отдельных языков.

Реконструкция исконной формы показателя осуществляется в приведенном примере путем отбора среди наличных вариантов такого варианта, который мог лежать в основе развития засвидетельствованных форм отдельных языков. Отбор предполагает прежде всего наличие этой формы в нескольких языках, принадлежащих к различным группам внутри индоевропейской семьи; последнее должно служить подтверждением того, что форма, определяемая как общая для всей семьи языков, не являлась лишь особенностью одной узкой группы.

§ 7. Приведенный выше анализ показателя 3-го лица единственного числа представляет собой простейший пример реконструкции, поскольку восстанавливаемая общая форма сохранилась в некоторых языках в неизмененном виде. Но возможен и такой случай, когда искомая форма в первоначальном своем составе не представлена ни одним языком. Например, обычно восстанавливаемый вторичный показатель 3-го лица множественного числа *-*nt*, *-*ont*, **ent* не сохранился в таком виде ни в одном из индоевропейских языков. В древне-

индийском это окончание представлено формами *-n*, *-an*, ср. ás-an „они были“, ábhar-an „они несли“, так как, согласно древнеиндийскому закону конца слов, группа согласных в исходе слова сокращалась и сохраняла лишь один согласный; ср. еще древнеиндийское vak при латинском vox (ks) „голос“ и др. примеры с отпадением номинативного *-s* после согласного. В греческом точно так же это окончание не имело *-t*: ср. ἔφερον „они несли“, так как *-t* в конце слова отпадало в этом языке. В готском, где дентальный отпал еще в дописьменную эпоху, также выступал показатель *-n*, ср. berun; в старославянском конечное *o* + *n* в закрытом слоге давало *ǫ*, а *t* в исходе слова отпадало, поэтому закономерным вариантом интересующего нас окончания было -ѫ, ср. падѫ.

Реконструкция формы **-nt* основывается на том, что 1) согласно нормам синтаксической фонетики древнеиндийского языка перед частицей *u* — *t* сохранялось; 2) в германских языках носовой, стоявший в абсолютном конце, должен был отпасть, следовательно, его наличие свидетельствует в пользу того, что в эпоху отпадения конечных носовых этот согласный был „защищен“ другим звуком; 3) характер гласного в некоторых формах греческого языка, а именно его краткость (например, гомеровское δάμεν, дорийское ἔγνον вместо долгого *-ην, *-ων), свидетельствовал об исконном наличии после носового еще одного согласного, впоследствии отпавшего в абсолютном конце слова. Качество этого отпавшего согласного во всех приведенных примерах устанавливалось на основании указанных выше данных древнеиндийского языка, но главным образом на основе системных отношений внутри парадигмы личных окончаний: подобно тому как в единственном числе первичным окончаниям 2-го и 3-го лица **-si*, **-ti* противостояли вторичные окончания **-s*, **-t*, так и первичному окончанию 3-го лица множественного числа **-nti*, засвидетельствованному, например, в древнеиндийском, предположительно должно было соответствовать вторичное окончание **-nt*.

Несмотря на известное различие реконструкции в первом и втором случаях, основные приемы здесь те же. Генетическое тождество вторичных показателей 3-го лица множественного числа устанавливается точно так же: 1) путем сопоставления

сравниваемых показателей; 2) путем восстановления с учетом специфических особенностей отдельных языков) той общей формы, которая могла явиться основой происхождения показателей этих языков, и 3) последующей проверкой реконструкции путем привлечения фактов исторического развития родственных языков.

Реконструкция занимает существенное место в указанной системе приемов. Но она неотделима от анализа процессов, которые характеризуют развитие отдельных родственных языков и тем самым объясняют соотношение между реконструируемой и засвидетельствованными формами. Без этого невозможна и сама реконструкция.

Таким образом, реконструкция составляет единый комплекс с другими приемами исторического рассмотрения родственных языков.

Специфика приемов сравнительно-исторического метода в обоих рассмотренных примерах заключалась в том, что объектом изучения являлся отдельный показатель. Правда, даже здесь анализ искомой формы показателя осуществлялся во втором случае с опорой на систему соотношения первичных и вторичных показателей, т. е. в пределах двух отличных парадигм. Но в обоих случаях морфологические элементы относительно легко могли быть сведены к одному, причем приведенные варианты довольно прозрачно раскрывали закономерное фонетическое развитие общего для всех языков показателя.

Подобные „идеальные“ случаи, как известно из опыта построения сравнительной грамматики индоевропейских языков, отнюдь не многочисленны.

Установление генетического тождества даже простейших словоизменительных показателей, восстановление их архетипов встречается с рядом трудностей и препятствий, коренящихся в самой специфике исторического развития изучаемых языков, в особенностях их структуры. Задача осложняется, когда от анализа и изучения отдельных показателей переходят к описанию словоизменительной системы и тенденций ее развития, к восстановлению, например, именных и глагольных категорий, характеризующих строй индоевропейских языков до их обо-

собления, причем необходимым оказывается восстановить не только наличие той или иной грамматической формы, но и ее значение и характер ее применения. Так, например, недостаточно установить, что наличие сигматических образований характеризует строй глагола эпохи существования языка-основы, важно выяснить, какое значение имели эти образования. Только таким путем можно получить ответ на вопрос, являлся ли, например, сигматический аорист категорией общеиндоевропейского глагольного строя или он характеризовал собой только строй глагола ограниченной группы языков.

Восстановление этой стороны словоизменительной системы языка-основы представляет также свою специфику. Наконец, новые трудности возникают при осуществлении указанной выше задачи исторического изучения самого языка-основы.

Очевидно, что, оставаясь в принципе одним и тем же, сравнительно-исторический метод должен совершенствоваться применительно к каждой новой задаче.

В последующих параграфах мы остановимся на тех трудностях, с которыми сталкивается исследователь словоизменительной системы индоевропейских языков, и на тех лингвистических приемах, которые используются для преодоления этих трудностей. Как отмечалось, трудности возникают уже при решении простейшей задачи — при изучении общих словоизменительных показателей.

§ 8. Характерно, что даже в системе личных показателей настоящего времени, генетическая общность которых была установлена еще Боппом, ряд форм отдельных языков не может быть так просто сведен к реконструируемой форме. В качестве примера можно указать в греческом на форму 2-го лица φέρεις „несешь", которая не может быть сведена к общему источнику с древнеиндийской формой того же лица bhárasi: в греческом остается необъясненным отсутствие конечного гласного; ср. гомеровскую форму ἐσσὶ[1] „ты еси". Непонятен

---

[1] Обычная форма 2-го лица ед. числа этого глагола в греческом εἶ из *εἰσι.

характер огласовки ει перед конечным ς, поскольку тематический гласный должен был здесь выступать в ступени *e*; поэтому φέρεις никак не могло непосредственно развиться из *φέρεσι, т. е. из формы, которая дала бы закономерное соответствие древнеиндийскому bhárasi. Вследствие этого в сравнительной грамматике индоевропейских языков был выдвинут ряд гипотез, объяснявших несводимость греческого и древнеиндийского показателей.

Так, рассматривая *-si* как общеиндоевропейский показатель 2-го лица, Бругман[1] пытался объяснить отклонения, представленные в греческом языке показателем -εις (как и в аттическом показателем 3-го лица тематических глаголов -ει-см. φέρει), на основе сопоставления с формами инъюнктива типа древнеиндийского aj-ai-s; иными словами, он полагал, что в греческом языке старое образование типа гомеровского ἐσσί было вытеснено формой, заимствованной из другой системы окончаний.

Иное объяснение давал особенностям греческих личных окончаний А. Мейе[2]. Рассматривая показатель 2-го лица, Мейе, в отличие от Бругмана, полагал, что древнеиндийское окончание *-*si* не отражает общеиндоевропейского состояния показателя 2-го лица тематических глаголов; по его мнению, таковым был показатель *-*ĕ̄i*, на что, якобы, указывает литовское neši < *nešē. В греческом к этой форме было присоединено *-s* по аналогии с показателем 2-го лица в системе так называемых вторичных окончаний, в древнеиндийском же и некоторых других языках было обобщено окончание атематических глаголов *-si*.

Это предположение было связано со всей системой взглядов Мейе на структуру личных окончаний индоевропейского глагола. Тот параллелизм парадигм активных и медиальных окончаний, а внутри активной парадигмы — параллелизм первичных и вторичных окончаний, который младограмматики реконструировали

---

[1] K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. II, 2, S. 1342.

[2] А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938, стр. 242.

для индоевропейской общности[1], Мейе считал весьма сомнительным. По мнению Мейе, оформление глагольной парадигмы в древних индоевропейских языках, на основе которых обычно реконструировалась система личных окончаний индоевропейского глагола, явилось результатом неоднократных процессов обобщения и аналогизации. Эпоха индоевропейской общности не давала, следовательно, той стройной системы личных окончаний, как, например, в древнеиндийском языке.

Вместе с тем Мейе полагал, что в древнем строе индоевропейского глагола существовали значительные расхождения между личными показателями тематических и атематических глаголов, следы этих расхождений во 2-м и 3-м лице Мейе и пытался обнаружить в особенностях греческих показателей.

Наконец, согласно третьей гипотезе, греческая форма φέρεις является закономерным развитием общей формы *bháresi > φέρεσι, где затем -σ выпало в интервокальном положении (фонетическое явление, широко распространенное в греческих диалектах), а конечное -ς было присоединено по аналогии с системой вторичных окончаний (ср. ἔφερες „ты нес").

Несмотря на расхождения в приведенных точках зрения на природу рассматриваемой формы, общим для них оставалось замечание, что окончание -ς выпадало из системы первичных показателей индоевропейского глагола и должно быть соотнесено с системой окончаний вторичных; отсюда следовал вывод, что данное окончание оказалось включенным в парадигму настоящего времени изъявительного наклонения по аналогии с показателем 2-го лица другой парадигмы (прошедшее

---

[1] Ср., например, таблицу реконструированных форм в сравнительной грамматике индоевропейских языков Бругмана—Дельбрюка.

Наст. время изъяв. накл. действ. залога, темат. спряж.: 1. *bhérō „я несу", 2. *bhéresi, 3. *bhéreti; мн. ч.: 1. *bhéro-mos(i), 2. *bhére-te (-the), 3. *bhero-nti. Прош. время изъяв. накл. действ. залога: 1. *(é) bherom „я носил", 2. *(é) bhero-s, 3. *(é) bhere-t; мн. ч.: 1. *(é) bherō̯-mŏ̆ (m), 2. (*é) bhere-te, 3. *(é) bhero-nt.

Наст. время изъяв. накл. страд. мед. залога: 1. *bhérō (оконч. -mai, только для атематических), 2. *bhére-sai̯, 3. *bheretai̯; мн. число: 1. *bhero-medhai̯, 2.? (неясно), 3. *bherontai̯. Прош. время изъяв. накл. мед. залога: 1. ? (неясно), 2. (-e) bhere-so (-se?), 3. *(e) bhereto (te?); мн. ч.: 1. *(e) bhero-medhə, 2. ? (неясно), 3. *(e) bhero-nto.

время, инъюнктив и т. д.), оканчивавшегося на -ς. Иными словами, влияние одного парадигматического ряда на другой, известное обобщение того или иного личного показателя как бы нарушали закономерность соответствия отдельных форм в родственных языках.

Вместе с тем, следует отметить, что и старославянский показатель 2-го лица единственного числа настоящего времени -ши (берешн) не может быть сведен к постулируемому общему индоевропейскому показателю *-si и генезис его материального состава остается до настоящего времени неясным.

Можно указать также на первичное окончание 3-го лица -тъ в старославянском и *-т* в современном русском литературном языке; характерно, что большинство современных славянских языков имеют формы без *-т*: ср. в сербском языке *плете*, лит. русское *плетёт;* в русском языке отсутствие *-т* — явление довольно древнее. Оно наблюдается в древнейших русских памятниках (ср. напише, Остр. ев.). Ни показатель -тъ, ни отсутствие -тъ в напише не могут быть объяснены как простое фонетическое развитие показателя *-*ti*, о котором писалось выше. Ф. Ф. Фортунатов рассматривал показатель -тъ в системе настоящего времени славянских языков как образование по аналогии с формой 3-го лица аориста, где это окончание, в свою очередь, должно было появиться относительно поздно. Старое окончание 3-го лица аориста -тъ, соответствующее вторичному окончанию индоевропейских языков, должно было отпасть согласно закону конца слов славянских языков; -тъ в аористе (ср. питъ) по своему происхождению являлось указательным местоимением тъ. Аналогичные примеры сравнительно позднего присоединения местоименной основы к глагольной форме прослеживаются и в истории других индоевропейских языков; так, современный немецкий показатель 2-го лица единственного числа *-st* состоит из старого показателя 2-го лица *s* + местоимение *tu* (*du*). Процесс слияния местоимения и глагольной формы в немецком языке прослеживается по письменным памятникам.

Таким образом, показатель 3-го лица единственного числа *-т* в современном русском литературном языке не является гене-

тически тождественным индоевропейскому *-*ti*, несмотря на кажущуюся материальную близость обоих показателей. Русское *т* невозможно свести к индоевропейскому *-*ti*, так как нет таких фонетических закономерностей, которые могли бы показать возможность перехода *-*ti* в *т*. Но, конечно, можно предположить, что сам показатель *-*ti* в индоевропейских языках был по своему происхождению связан с местоименной указательной основой, характерной для индоевропейских языков (ср. древнеиндийское *ta*, греческое τo, русское *то*, готское þa); такое предположение высказывал еще Бопп. Если это предположение справедливо, то славянское -тъ и индоевропейское *-*ti* могли представлять собой подобные параллельные, но разновременные образования, не связанные друг с другом генетическим тождеством. Следует отметить, что возможность параллельных образований нередко вообще затрудняет отнесение того или иного явления к эпохе индоевропейской общности.

Таким образом, при решении первой и простейшей задачи сравнительно-исторического изучения морфологии родственных языков, а именно при установлении общности отдельных словоизменительных формативов возникает ряд сложных вопросов, связанных с реконструкцией древнейшей формы, а также с выяснением соотношения формативов по отдельным родственным языкам. Показательно, что даже в морфологии, в той области сравнительной грамматики индоевропейских языков, которая считается наиболее разработанной, и поныне остаются „белые пятна", притом как раз в той ее части, которая являлась исходным пунктом сравнительного изучения индоевропейских языков: в системе личных показателей глагола.

Чем больше сравнительное изучение глагольной парадигмы индоевропейских языков, отправляясь от простого сопоставления и установления материальной общности словоизменительных формативов, приближалось к их историческому исследованию, включающему реконструкцию исходной формы и изучение закономерностей ее изменений в отдельных языках, тем больше сложных вопросов вставало перед сравнительной грамматикой.

§ 9. В словоизменительной системе имен существительных индоевропейских языков наряду с формами, исконное тождество

которых легко устанавливается путем использования приемов сопоставления, реконструкции, проверки на основе закономерностей исторической фонетики отдельных языков, имеются многочисленные аналогические образования, проникновение компонентов одного парадигматического ряда в другой и т. п.

Так, например, в системе падежных показателей легко устанавливается общность формативов именительного падежа тематического склонения. Древнеиндийское vr̥k-a-ḥ „волк“, хеттское antuḫšaš „человек“, греческое λύκος „волк“, литовское vilk-a-s, латинское lup-u-s, готское wulf-s с очевидностью указывают на общность показателя *-s*, который в древнеиндийском переходил в *ḥ*[1]. Звук, предшествующий этому *-s*, является тематическим гласным, основообразующим суффиксом, характеризующим данный тип склонения. В качестве древнейшей формы этого суффикса реконструируется *-o-, представленное в чистом виде только в греческом языке, что связано с общей устойчивостью древнего вокализма этого языка; в древнеиндийском, литовском и германских языках это *a*; в готском оно выпадало, в связи с особенностями вокализма безударных слогов данного языка; в латинском в слабоударном положении это *-o-* перешло в III веке в *-u-*, ср. в ранних памятниках формы manios, praefectos.

Однако древнейшая засвидетельствованная форма именительного падежа мужского рода тематического склонения в славянских языках влькъ не может быть возведена в форме типа *vr̥kos, хотя отпадение конечного *-s* соответствует фонетическим нормам славянских языков. Затруднение вызывает ъ, который не мог развиться из *o перед *s*. В этой связи выдвигаются различные предположения[2].

Замена одних падежных форм другими (ср. частую замену форм именительного падежа винительным в германских языках, в древнеславянском и др.), влияние одного типа склонения на другой (см. ниже), — все эти факты, характеризующие развитие

---

[1] В германскнх языках, в связи с особенностямн развития консонантизма этнх языков, данный показатель мог быть как глухим, так и звонким; определяющим являлось место удареиия в слове. В дальиейшем в этнх языках был обобщен звонкий вариант типа *wulfaz, о чем говорит форма древних рунических надпнсей dagaR, где R < *z.

[2] См. нзложение вопроса в гл. III.

индоевропейских языков с древнейшей поры, не только затрудняют выявление общности тех или иных именных показателей, но в ряде случаев делают невозможным изолированное рассмотрение отдельных формативов и требуют привлечения комплекса словоизменительных форм. Например, в тематическом склонении мужского рода, в именительном падеже множественного числа сопоставление показателей различных индоевропейских языков выявляет наличие двух групп форм. Первая группа представлена древнеиндийским vṛk-āh, хеттским attaš „отцы", готским wulfōs, где, повидимому, *-o-* основы слилось с гласным падежного показателя **-es*, чем и объясняется долгота гласного перед *-s*. Характер гласного в падежном показателе наиболее ясно обнаруживается в склонении с основой на согласный, где не происходило слияния. Ср. в литовском им. п. мн. ч. основ на *-r* — moteres, в хеттском им. п. основ на *-nt* — appa-nt-eš „пленные", hu̯išu̯ant-eš „живущие".

Вторая группа форм представлена греческим λύκοι, литовским vilk-aĩ, старославянским влъц-и, латинским lup-ī. Ни одна из этих форм не включает показателя **ōs < *o + es*. Но все они обнаруживают общность другого показателя: в латинском *-ī* развилось из дифтонга *-oi* (в архаичной латыни *-oe* — poploe, позже *-ei* — Foideratei, во II веке *-ī*); в старославянском дифтонг **-oi* в конце слова мог переходить, как и **ei* в *i* (ср., например, дат. п. личных местоимений *ми*, *ти*, *си* — греческие μοί, τοί, [σοί], οἷ), таким образом, окончание и в форме влъци также восходило к дифтонгу. Тем самым греческий, латинский, литовский и славянский показатели именительного падежа множественного числа в тематическом склонении могут быть сведены к одному показателю **-oi*. Соотношение этого показателя с показателем **-ōs* (из *o + es*) не может быть разъяснено без сопоставления с образованием именительного падежа множественного числа других классов склонения и, более того, без сопоставления с формативами прилагательных и местоимений. Иными словами, сопоставление изолированных словоизменительных форм, даже при учете исторических изменений, которые произошли в отдельных языках после их обособления, не всегда дает достаточно материала для реконструкции общей

формы. И хотя, как указывалось выше, сопоставление отдельных словоизменительных показателей, выявление их общности, реконструкция той формы, к которой они восходят, является первым этапом сравнительно-исторического изучения родственных языков, но эти частные вопросы нередко не могут быть решены без учета сложной системы взаимодействий и взаимовлияний внутри словоизменительной системы в целом.

Так, в приведенном выше примере соотношение двух, казалось бы, равнозначащих показателей именительного падежа множественного числа раскрывается следующим образом. При сопоставлении с формами именительного падежа множественного числа в других классах именного склонения обнаруживается широкое распространение первого показателя. Имена существительные с основой на *-ā-* имели формы: в древнеиндийском áçv-āḥ „кобылы", в готском gibōs „дары", в литовском rānk-os „руки"; древнеиндийская, готская и литовская формы явно указывают на показатель, имевший в исходе *-s*. В славянских языках это *-s* в абсолютном конце слова отпадало; что касается предшествующего гласного, то в нем, повидимому, слились гласный основы и гласный показателя: -ы в славянском жены рассматривается обычно как результат редукции *ō* в *ы* (ср. еще личные местоимения ны, вы по отношению к латинскому nōs, vōs). В латинском и греческом языках и в этом типе склонения имелись принципиально отличные по своей структуре формы; так, в греческом выступает показатель -αι — χῶραι, в латинском *-ae* — terrae „земли", более древняя форма этого показателя *-ai*, т. е. та же, что и в греческом.

В других классах склонения с основами на *-i-*, *-u-* и согласные всюду преобладает первый показатель: ср., например, в основах на *-u-* древнеиндийское sūn-áv-aḥ „сыновья", хеттское kutr-u-ēš „свидетели", готское sunjus (из *sun-ew-es), старославянское сын-ов-е (с отпадением конечного *-s*), латинское fruct-ūs (где *-ūs* < **oues*).

Таким образом, для большинства языков в качестве наиболее распространенного показателя именительного падежа множественного числа всех типов склонения может быть определен **-es*. Характерно, что даже в тех языках, где в склонении с основой на *-o-* выступал другой показатель, за пределами

этого класса склонения мы встречаем формы, восходящие в конечном итоге к тому же *-*es*. Ср. приведенные выше материалы старославянского, литовского языков и латыни.

Поэтому появление второй группы форм в греческом, литовском, старославянском и латинском языках рассматривается обычно как нечто вторичное, более позднее. Сам показатель этой второй группы форм *-*oi* сопоставляется с показателем множественного числа указательного местоимения: ср. в греческом λύκοι „волки" и гомеровское τοί „эти", литовское vilkaĩ и древнепрусское stai „эти", старославянское влъци и ти „эти", латинское lupī и istī.

Можно предполагать, что проникновение местоименных показателей в парадигму именного склонения определило в отдельных индоевропейских языках отход от общего индоевропейского показателя именительного падежа множественного числа на *-*es*. Перед нами один из многочисленных примеров взаимодействия и переплетения элементов различных словоизменительных парадигм; в этом случае основой для реконструкции архетипа показателя служит материал не всех индоевропейских языков, а лишь тех, в которых в результате анализа и сопоставления р а з н ы х классов именного склонения обнаружилась бо́льшая близость к первоначальному типу.

Однако остается, повидимому, открытым вопрос, следует ли наличие местоименного показателя множественного числа в именном склонении латинского, греческого, литовского и славянских языков рассматривать как более позднее образование по аналогии или же можно предположить, что взаимодействие парадигм именного и местоименного склонений восходит еще к состоянию языка-основы, отражая наличие диалектных расхождений, обусловивших появление дублетных форм. Общие процессы развития именной флексии как будто бы говорят в пользу второго предположения.

Таким образом, последовательности и стройности реконструкции отдельных показателей как бы „мешает" взаимодействие различных словоизменительных парадигм. Оно характерно для развития любого языка, поскольку в нем реализуется связь отдельных языковых явлений, без чего невозможно и само функционирование языка. Поэтому необходимо при трактовке

даже самых частных и узких вопросов иметь в поле зрения языковую систему сравниваемых языков в целом.

§ 10. Возможность взаимодействия отдельных парадигматических рядов должна учитываться при сравнительно-историческом изучении не только индоевропейской языковой семьи; точно так же наличие дублетных форм и диалектных расхождений возможно не только в индоевропейском языке-основе. Но есть специфические особенности языкового строя индоевропейской семьи, частично связанные с их флективностью, которые создают особые условия для применения указанных выше приемов и должны быть поэтому специально учтены.

Главные трудности, встречающиеся при установлении тождества словоизменительных формативов отдельных индоевропейских языков и при сведéнии этих формативов к единому показателю, связаны с самой материальной спецификой словоизменительных показателей и структурой слова большинства индоевропейских языков.

Характерным для всех словоизменительных показателей индоевропейских языков является их малый объем; как в системе имени, так и в системе глагола показатели главным образом состояли из одного, двух, трех звуков: ср., например, в системе глагола личные показатели 1-го лица **-ō*, **-mi*, *-*m*, 3-го лица **-t*, **-ti*, в системе имени падежные окончания именительного падежа **-s*, дательного падежа **-ei*, **-i*, отложительного падежа **-ed*, винительного падежа *-m* и т. д. Эти малые по объему показатели стояли в индоевропейских языках в конце слова и подвергались ряду изменений. Прежде всего, конечные слоги во всех индоевропейских языках так или иначе подвергались разрушению. Так, например, в славянских языках конечные согласные, а именно смычно-зубные, носовой *-n* и фрикативный *-s* исчезли, поэтому до падения слабых редуцированных всякое самостоятельное слово славянского языка оканчивалось на гласный; позже исчезли и редуцированные гласные (так называемое падение глухих). В германских языках конечные *-t*, *-n* отпали еще в дописьменную эпоху; гласные, стоящие в конце третьего слога, также исчезли еще до создания письменности на германских языках; исчезли *-a*, *-e* в абсолютном исходе двусложных слов, гласные безударных

слогов подвергались интенсивной редукции. В латинском языке конечное *-d* отпадало, краткие гласные конечных слогов могли также отпадать и т. д.

Эти фонетические процессы нередко вызывали полное исчезновение словоизменительного форматива в том или ином языке. В славянских языках конечные *-s*, *-t* в системе глагольных вторичных окончаний не сохранялись совсем, ср. ст.-слав. падє „ты упал“, „он упал“, исчезли *-s* — показатель именительного падежа и *-m* — винительного падежа и т. д.; в германских языках был утрачен вторичный показатель 3-го лица ед. числа, ср. в готском оптатив nimai „чтобы он взял“; в связи с отпадением конечных гласных трехсложные формы в дательном падеже потеряли старое падежное окончание: ср. готское namin из *namini, где *-i-* — старый падежный форматив, а *-n* суффикс основы; отпадение **-e*, **-a* в абсолютном конце слова привело к тому, что старые перфектные формы 1-го и 3-го лица потеряли личные показатели: ср. wait „я знаю“, wait „он знает“ при древнеиндийском véda, греческом οἶδα (в 3-м лице οἶδε).

При сопоставлении материала различных индоевропейских языков нередко показатели греческого или древнеиндийского языков, в которых конечные слоги в наименьшей степени „пострадали“ от разрушения, как бы противопоставляются „нулевым“ показателям других индоевропейских языков.

Такое положение приводило в прошлом часто к переоценке данных греческого и индо-иранских языков для реконструкций общеиндоевропейского состояния, к непосредственной проекции структурных особенностей этих языков в эпоху индоевропейской общности. С этим было связано, например, совершенно ошибочное представление о древней структуре индоевропейского глагола, так как вся система глагольных форм греческого и древнеиндийского языков переносилась в эпоху, предшествовавшую обособлению отдельных индоевропейских языков. Подобное нарушение исторической перспективы было характерно для работ по сравнительному языкознанию представителей младограмматического направления, особенно для трудов по сравнительной грамматике индоевропейских языков Бругмана и Дельбрюка. Лишь более углубленный сравнительно-исторический анализ, проведенный в работах

Мейе, Бенвениста, Куриловича, Педерсена, Шантрена, Эрну и других, а особенно изучение новых языковых материалов тохарского и хеттского языков помогли восстановлению правильной исторической перспективы не только в отношении индоевропейского глагола. Многие особенности греческого и древнеиндийского языков, рассматривавшиеся ранее как исконно индоевропейские, оказались вторичными образованиями, характерными только для этих языков.

Малый объем словоизменительных показателей и их положение в конечном слоге приводили в ряде языков к стиранию старого формматива или даже к его полному исчезновению, что, естественно, предельно затрудняло восстановление общей формы. Вместе с тем, в результате различных фонетических изменений развивалось значительное число омонимичных форм, что также вело к искажению исторической перспективы.

Восстановление древнего показателя в неменьшей степени затруднялось теми изменениями, которые словоизменительный показатель претерпевал в процессе слияния с основой. Разнообразные формы слияния, стяжения элементов основы и компонентов словоизменительного показателя затемняли первичный состав самого показателя. Весьма часты были такие стяжения в тех случаях, когда основа кончалась на гласный, а первым компонентом словоизменительного показателя был тоже гласный, т. е. в системе словоизменения так называемых тематических основ. Так, из приведенных выше примеров можно сослаться на формы именительного падежа множественного числа тематического склонения, типа древнеиндийского vŕ̥k-āḥ, готского wulfōs, где основообразующий суффикс -o- стянулся с гласным элементом падежного показателя *-*es*, что и дало *-*ō̃s*; только этим стяжением может быть объяснена долгота *ā* в древнеиндийском и ō в готском языках. В данном случае показатель *-*es* и слияние гласных элементов могли быть легко обнаружены при помощи сопоставления с формами именительного падежа других типов склонения (см. выше). Слиянием гласного основы с гласным элементом того же показателя объясняются в некоторых индоевропейских языках и формы именительного

падежа множественного числа склонения с основой на *-ā-*; ср. древнеиндийское balāḥ „девушки" с долгим *ā*, готское gibōs „дары", где *-ōs* должно было развиваться из *-ōs*, причем *-ō-* получилось из стяжения *ā* + *e* (*es*).

Однако, если в этих случаях стяжение элемента основы и окончания не препятствует реконструкции падежного показателя, поскольку восстановленный показатель **-es* не вызывает сомнения, то можно указать на некоторые случаи, где это стяжение в сочетании с разрушением конечных слогов не позволяет с полной достоверностью восстановить искомый словоизменительный показатель.

В качестве примера остановимся на показателе дательного падежа единственного числа. Характерно, что мнения отдельных компаративистов расходились по вопросу о структуре этого показателя.

Бругман в своих работах неоднократно указывал, что показателем этого падежа в эпоху существования индоевропейской общности являлся дифтонг **-ai* [1], который подвергался изменению в связи со стяжением с конечным гласным элементом основ: *-o-*, *-ā-* и т. д. Иной точки зрения придерживались Хирт и Мейе. Так, Хирт [2] утверждал, что древнейшим вариантом показателя этого падежа являлся не дифтонг **-ai*, а дифтонг **-ei*, стяжением которого с конечным гласным элементом основы следует объяснять засвидетельствованные формы этого показателя в отдельных индоевропейских языках. Вместе с тем, тот же автор в греческой грамматике, изданной много раньше, писал, что показатель дательного падежа имел два варианта: **-ai*, **-i* [3]. Некоторые авторы полагали, что следует говорить о вариантах **-ei*, **-ai*. Мейе еще в 1911 г., рассматривая **-ei* как древнейшую форму показателя дательного падежа, высказал предположение о том, что в индоевропейских языках в качестве показателя того же

---

[1] K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1904, S. 383. См. также „Grundriss der vergleichenden Grammatik", Bd. II, 2, S. 597.

[2] H. Hirt. Indogermanische Grammatik, Bd. III, 1927, S. 52.

[3] H. Hirt. Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre, 2-te Ausg. 1912, S. 306.

падежа выступала и нулевая ступень огласовки этого форматива, т. е. *i*[1]. Впоследствии Мейе развил это положение в специальной статье[2].

Естественно, возникает вопрос, чем объясняются такие расхождения в мнениях у наиболее видных представителей сравнительной грамматики индоевропейских языков. Повидимому, тем, что редукция окончания и стяжение так изменили первоначальный состав показателя, что формы, засвидетельствованные в отдельных языках, невозможно свести к общему архетипу. Впрочем, возможно и существование параллельных форм.

Обратимся к материалу отдельных индоевропейских языков. В тематическом склонении древнеиндийского языка окончание дательного падежа представлено формой *-āya*, например, devāya „богу“ от deva- „бог“; дифтонг *-āy* является, очевидно, отражением стяжения *-o-* основы и первого компонента дифтонга-показателя дательного падежа, т. е. <**-ōi*; оно могло получиться как в результате стяжения индоевропейских **o + *ei*, так и в результате стяжения **o + *ai*; что касается конечного гласного *-a*, то его обычно относят к ряду тех энклитических частиц, которые встречаются во всех индоевропейских языках в системе склонения и спряжения и значение которых в большинстве случаев остается неясным. В склонении с основой на *-ā-*, типа bálā, в том же древнеиндийском выступает окончание *-āi*, которое присоединяется к наращенной основе bálāy-āi: это *-āi* могло явиться отражением древнейшего слияния *-ā-* с различными вариантами показателя дательного падежа: здесь можно в равной степени предполагать не только **-ā- + *-ai*, **-ā- + *-ei*, но и **-ā- + *-i*. В склонении с согласными основами, типа *pitar-*, дательный падеж имел окончание *-é* — pitré, где *-é* должно было явиться результатом древнеиндийской монофтонгизации индоевропейского дифтонга, однако качество этого дифтонга в свою очередь было неясным, поскольку это *-ē* могло развиться

---

[1] А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 303.

[2] „Bull. de la Soc. linguistique de Paris“, XXXII. Paris, p. 188.

в древнеиндийском из *-*ei*, *-*oi* и **ai*. То же окончание дательного падежа, что и в согласных основах, имели склонения с основой на -*i̯*- и -*u̯*-. Таким образом, общее для всех индоевропейских языков стяжение и специфическая для древнеиндийского языка монофтонгизация затрудняют достоверную реконструкцию первоначального состава показателя дательного падежа.

В хеттском языке обычной формой дательного падежа, совпадающего здесь с местным падежом, являлось -*i*: ср. antuḫši „человеку", от antuḫša „человек" с нулевой ступенью основообразующего гласного; kutrui „свидетелю" от kutru „свидетель", ḫuišu̯ant-i „живущему" от ḫuišu̯ant „живущий". Таким образом, в хеттском языке никаких следов предполагаемого показателя *-*ai*, *-*ei* нет.

В греческом языке в тематическом склонении имелось окончание *oi*, ср. λύκῳ, где дифтонг *oi* мог явиться результатом стяжения -*o*- основы и дифтонгического показателя дательного падежа еще в догреческую эпоху; вопрос о первоначальной форме этого показателя (*-*ei* или *-*ai*) остается таким же спорным, как и в аналогичных древнеиндийских формах. В склонении с основой на -*ā*-, типа χώρα, дательный падеж оканчивается на ᾳ- *āi*, где -*āi* могло явиться отражением -*ā*- + **ai*, -*ā*- + **ei*, а также *ā* + *i*. В склонении основ на согласный в греческом, как и в хеттском, имеется окончание -*i* типа πατρί „отцу". Таким образом, в греческом языке одни формы дательного падежа могут быть возведены к показателю, представленному дифтонгом, другие — к показателю -*i*.

В латинском языке в тематическом склонении дательный падеж оканчивался на -o, ср. lupō; однако более ранние единичные формы Nymasioi, populoi, Romanoi указывают на дифтонгическое происхождение этого -*ō*; повидимому, как и в греческом λύκῳ, исходной латинской формой было *-*ōi*, получившееся в результате стяжения (см. выше относительно греческой формы). Окончание дательного падежа основ на -*ā*: terrae „земле" также имеет дифтонгическое происхождение (ср. архаическое Antoniai, Augustai, Fortunai, Poplicai). В склонении с согласным исходом основы типа pater имелось окончание

-*i*: patri, восходящее к дифтонгу *-ei* (ср. ранние формы Hercolei — 217 г. до н. э.; в оскском также *-ei*, см. paterei). Таким образом, в латинском языке все варианты дательного падежа восходят к дифтонгу, причем и в классе склонения с основой на согласный, в отличие от греческого, ясно выступает дифтонг *-ei*.

В славянских языках склонение основ на согласный имело окончание -и: матєри, камєни; это *i* в исходе слова закономерно возводится к дифтонгу, скорее всего к индоевропейскому дифтонгу **-ei*. Однако, поскольку в исходе слова и славянское **-oi*, в котором совпали индоевропейские **-oi* и -**ai*, могло дать *-i* (ср. упоминавшуюся выше форму именительного множественного влъци), то и здесь реконструкция более древнего состояния допускала оба варианта дифтонга — **-ei*, **-ai*. К дифтонгу с долгим гласным, повидимому, восходит дательный падеж основ на *-ā*, типа жєна (ср. греческое *-āi*). Как уже указывалось выше, в связи с анализом аналогичных форм в других индоевропейских языках, происхождение этого дифтонга допускает разные толкования.

Таким образом, материал индоевропейских языков определенно указывает на наличие во всех языках показателя дательного падежа, состоящего из дифтонга. Если опираться на материал италийских языков, то вероятным представляется форма дифтонга **-ei*; это не противоречит и тем вариантам дательного падежа, которые представлены другими индоевропейскими языками, но все же такой уверенности в правильности реконструкции, как, например, в отношении форм именительного падежа, мы здесь не имеем.

Помимо показателя дательного падежа дифтонгического характера, в ряде языков отмечалось наличие показателя *-i*, который выступал во всех типах склонения в хеттском, в склонении с согласными основами в греческом языке, а также в германских языках. Интересно отметить, что в диалектах литовского языка недавние исследования обнаружили также наличие этого падежного форматива: см. vyrai, где окончание *-ai* = o + *i*. Повидимому, сочетанием с *-i* должны быть объяснены и формы дательного падежа личных местоимений в греческом (μοί, σοί), тогда как форма дательного

падежа указательного местоимения τῷ аналогична падежному окончанию греческого тематического склонения.

Обычно исследователи связывали этот показатель *-i* с формой местного падежа, который, как известно, мог иметь в индоевропейских языках различные окончания. Считалось, что старая форма дательного падежа в ряде индоевропейских языков была вытеснена формой местного падежа: ср. греческое πατρί, а также некоторые формы дательного падежа в германских языках. Таким образом, проблема реконструкции древнейшего показателя дательного падежа сталкивалась здесь с возможностью влияния словоизменительных форм друг на друга в пределах одной парадигмы (см. выше гипотезу о вытеснении в славянских языках формы именительного падежа мужского рода тематического склонения формой винительного падежа). В хеттском языке, где другого показателя местного падежа, кроме *-i*, не обнаруживается, употреблявшийся с этим показателем падеж имел значение дательного и местного: aruni „к морю", parni „в доме", но atti „отцу", anni „старухе" и т. д. Наряду с этим в значении показателя местного падежа выступает *-a*: aruna „к морю", parna „в доме", причем в притяжательном склонении встречается только *-a*: parnamma „в моем доме", parnassa „в своем доме" и т. д. Следует ли с точки зрения развития индоевропейских языков рассматривать двойное значение показателя *-i* в хеттском как нечто вторичное, или же как отражение старой недифференцированности дательного и местного падежей, свойственной, быть может, грамматическому строю языка-основы, — сказать трудно. Однако на специфическую связь дательного и местного падежей во всяком случае указывает даже чисто фонетическое соотношение показателей **-ei* и **-i*, поскольку *-ei* выступает в качестве полной ступени того же **-i*. Возможно, что связь этого **-i* как показателя дательного падежа с атематическим типом в греческом и германских языках не случайна и что здесь сохранились отношения, характерные для языка-основы. Однако эти первоначальные отношения до чрезвычайности затемнены различными процессами: стяжением элементов основы и элемента окончания, аналогическими образованиями и т. д. (см. подробнее § 15).

Итак, изучение такого, казалось бы, частного вопроса, как состав первичной формы показателя дательного падежа, приводит исследователей к постановке целого комплекса вопросов, связанных с генезисом падежных показателей и соотношением отдельных формативов внутри общей парадигмы индоевропейского склонения. Анализ материала, необходимый для восстановления одного падежного показателя, требует углубления и расширения исследования, перехода к более сложным приемам и обобщениям.

Приведенный выше материал свидетельствует о всей сложности и трудности решения частных вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков в связи с особенностями развития структуры слова в этих языках.

§ 11. Необходимо остановиться еще на одной особенности словоизменения индоевропейских языков, проступающей в древнейших письменных памятниках сквозь более поздние наслоения.

Характерной особенностью индоевропейского слова, обусловившей закономерности склонения и спряжения, являлась своеобразная взаимоспаянность морфем внутри слова. Это находило свое выражение в том, что в индоевропейском словоизменении участвовали не только суффиксы-показатели отдельных морфологических категорий, но и изменение тона или ударения, а также чередование гласного. Имеющееся в русском языке изменение ударения типа *дом* — *до́ма* (род. п. ед. ч.) — *дома́* (им. п. мн. ч.), *пишу́* — *пи́шешь* и т. д. дает известное представление о характере изменения ударения при словоизменении.

В склонении и спряжении атематических основ повышение тона включалось весьма явственно в систему словоизменения; ср. древнеиндийское -ḗmi „иду“ с ударением на первом слоге и i-máḥ „идем“ с повышением тона на окончании; ср. также парадигму склонения односложного имени существительного: древнеиндийское pā́t „нога“, pā́d-am „ногу“, pā́daḥ „ноги“ (им. п. мн. ч.), но pad-áḥ (род. п. ед. ч.), padí (местн. п.), padā́m (род. п. мн. ч.), или греческое πούς, πόδα, ποδός и т. д.

Ср. еще склонение в греческом имен существительных типа πατήρ — πατρός (род. п.), πατέρα (вин. п.).

Однако точные закономерности места тона в процессе образования словоизменительных форм индоевропейских языков до настоящего времени не установлены: многочисленные изменения в отношении ударения, появившиеся еще в древнюю историческую эпоху в отдельных языках (например, в греческом языке действие закона, ограничивающего место тона конечными слогами слова), чрезвычайно затемнили картину первоначального состояния даже в тех языках, в которых сохранялась свобода ударения и место тона или ударения могло меняться в пределах парадигмы одного и того же слова. Далеко неясным остается вопрос о том, в какой степени закономерности чередования тона, засвидетельствованные в древнеиндийском склонении, отражали общеиндоевропейское состояние. Не приходится говорить, что такие языки, как германские, где еще в дописьменную эпоху произошла фиксация ударения на первом корневом слоге, не могут дать прямых указаний в отношении места ударения в словоизменительных формах слова[1].

С местом ударения в слове было тесным образом связано чередование гласного.

Чередование гласного выступало в отдельных индоевропейских языках в корневом элементе в спряжении настоящего времени атематических глаголов: ср. древнеиндийское émi — imáḥ, ásmi — smáḥ, латинское es-t — s-unt, русское *есть* — *суть*, хеттское kuénzi „он бьет“ — kunanzi „они бьют“, а также при образовании видо-временных основ глагола — ср. греческое λείπω

---

[1] Косвеиным указаиием иа древиее чередоваиие тона является в германских языках чередование согласиых в глаголе типа др.-нем. ziohan [-**h*-], zōh [-**h*-], zugum [-**ʒ*-], gizogan [-**ʒ*-]; kiosan [-**s*-], kōs [-**s*-], kurum [-*z-], gikoran [-**z*-], где чередование глухого и звонкого согласных объяснялось по закоиу Вернера местом ударения. Тем самым материал германских языков как бы давал указание на то, что в формах настоящего времени сильных глаголов ударение падало иа кореиь слова, в формах же прошедшего времени — иа глагольную флексию. Еще более спорным является вопрос о качестве тона, о соотношении акута и циркумфлекса в диалектах индоевропейского языка-осиовы.

„оставляю“ — ἔλιπον „оставил“, современное немецкое binden—band — gebunden, „связывать“, „привязывать“, литовское kemšu „натыкаю“, kamš-aũ „натыкал“, kim̃šti „натыкать“.

В имени чередование гласного корня представлено более редко: ср. древнеиндийское pā́t „нога“, но родит. padáh. В склонении этого слова по отдельным языкам было проведено уравнение огласовки во всей системе падежей, причем разные языки осуществили по-разному это уравнение: ср. латинское pēs, род. п. pēdis с закреплением огласовки *-ē-* и готское fōtus с закреплением огласовки *-ō-*; чередование *e—a* наблюдается в героклитическом склонении имен существительных в хеттском: ср. u̯atar — u̯etenaš „вода — воды́“, tekan — takgnaš „земля — земли́“.

Вместе с тем, чередование гласного выступало и в основообразующих суффиксах, т. е. в тех морфологических элементах, которые предшествовали словоизменительным показателям. Так, например, в настоящем времени тематических глаголов, где огласовка корня оставалась неизменной во всех индоевропейских языках, выступает с большей или ме́ньшей ясностью чередование тематического гласного: ср. в современном русском *везу — везёшь — везёт — везёте — везут*, где *-у* 1-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа восходит к **-o + n*, а в остальных лицах выступает старый тематический гласный **-e-*.

Особенно интенсивно, однако, выступает чередование гласных основообразующих суффиксов в склонении имен.

В основах с суффиксом **-tēr | -*tōr* терминов родства, типа древнеиндийского pitá́, греческого πατήρ чередование гласного выступает наряду с изменениями места тона и с наращением падежных показателей: именительный pitá́, винительный pi-tár-am, дательный pi-tr-ḗ, инструментальный pi-tr-á́; πατήρ, родительный πατρός, винительный πατέρα, дательный πατρί и т. д.; в латинском pater — patris; готский broþar „брат“ — родительный падеж broþrs, дательный broþr.

В двух последних языках чередование *ē — ĕ* — нуль было упрощено до двух форм — полной, представленной именитель-

ным падежом, и нулевой, представленной всеми другими падежами.

Однако первоначальное соотношение различных ступеней чередования, их связь с определенными падежами не ясна. Несомненно лишь наличие связи с местом тона: так, например, нулевая ступень огласовки основообразующего суффикса связана с тоном на конце слова, т. е. на падежном форманте.

Чередование элемента, выступающего перед согласным, наблюдается и в склонении с основами на *-i-*, *-u-*: ср. в древнеиндийском им. п. agníḥ „огонь", дат. agn-áy-ē, род. agn-ḗ-ḥ; им. šátr-u-ḥ „враг", род. šátr-ō-h, дат. šátrav-ē; в старославянском при им. падеже сынъ — дат. падеж сынов-и, в готском sunus, род. sunaus, дат. sunau, мн. число sunjus и т. д. В хеттском aššuš „злой", род. п. ašš-au-aš, дат. п. ašš-au̯-i. В хеттском ясно выступает аблаут и в основах на *-en-* среднего рода: lam-an „имя" — lam-n-i (дат. п.) и т. д.

Если в системе глагола более или менее ясно реконструируется ступень чередования отдельных словоизменительных форм, то об имени этого сказать никак нельзя. Не только единичные случаи чередования внутри корневой морфемы, ограниченность которых не дает возможности создать сколько-нибудь ясную картину, но даже чередования гласных основообразующего суффикса не укладываются в определенные рамки. Так, сопоставление материала отдельных языков по разным классам склонения показывает наличие разных отношений внутри парадигмы основ на *-ter* и внутри парадигмы основ на *-i-*, *-u-*. В первом случае чередование гласных связано с изменением места тона, во втором случае отношения менее ясные. В первом случае дательный падеж представлен нулевой ступенью суффикса, во втором случае в дательном явно выступает дифтонг в старославянском, германских языках, в древнеиндийском и т. д. Чередование гласных внутри основы в ряде языков подвергалось изменениям и нивелировалось: ср. латинский, в значительной степени славянские языки, частично греческий (например, в основах на *-en*), а в тех языках, где это чередование сохранилось лучше, оно подвергалось видоизменению, что в немалой степени было связано с непродуктивностью тех классов склонения, в которых

наблюдались эти закономерности. Поэтому полная реконструкция словоизменительного архетипа, включающая восстановление не только падежного показателя, но также места и качества тона и огласовки основообразующего суффикса, далеко не всегда достижима. Это прежде всего относится к падежным формам склонения корневых основ и основ на согласную или *-i-*, *-u-*, т. е. к более древним классам склонения.

§ 12. Реконструкция словоизменительной формы индоевропейских языков включает, таким образом, в большинстве случаев, восстановление словоизменительного показателя, огласовки элемента, предшествующего этому показателю, места и качества тона. Очевидно, что, если в отношении системы самих показателей в ряде случаев возникают сомнения и колебания, то восстановление исходного положения других компонентов словоизменительной формы представляет собой дополнительные трудности.

Частично это связано с тем, что все компоненты словоизменительной формы индоевропейских языков по своему происхождению относятся к разным периодам, и их сосуществование явилось результатом развития диалектов индоевропейского языка-основы за несколько периодов, причем эпоха их становления предшествовала эпохе полного обособления отдельных индоевропейских языков. Речь идет о нескольких словоизменительных принципах, частично сменявших друг друга в связи с изменениями, происходившими в структуре индоевропейского слова. Поэтому реконструкция не должна проектировать все эти закономерности на одну плоскость, а должна раскрывать, основываясь на относительной хронологии, их изменяемость и развитие в грамматической системе языка-основы, снимая постепенно пласт за пластом и все больше углубляясь в историческое прошлое индоевропейских языков.

Подобный анализ, однако, выходит уже за рамки изучения отдельных словоизменительных показателей: такие проблемы, как функция места тона, роль чередования гласных в словоизменительной системе индоевропейских языков, соотношение этих грамматических средств с системой флектив-

ных показателей касаются всей словоизменительной системы индоевропейских языков. Поэтому они должны решаться путем сопоставления и обобщения данных, полученных при помощи реконструкции отдельных элементов словоизменительной парадигмы, путем обобщения закономерностей развития отдельных языков, что позволяет установить и относительную хронологию рассмотренных грамматических явлений, например, в системе имени, и тенденции их развития. Известно, например, что закономерности чередования гласных основы фактически оказываются недоступными для полной реконструкции, что даже в памятниках таких древних индоевропейских языков, как хеттский, древнеиндийский, греческий, готский, они представляют обломки еще более древней системы, сосуществующие с развитой и довольно определенной системой внешних показателей. Это обстоятельство указывает на то, что в эпоху существования развитой системы словоизменительных флективных показателей эта старая система была пережитком более ранней эпохи. Вместе с тем, несмотря на неточности и проблематичность восстановления системы чередований в словоизменении имени, вероятным представляется предположение, что противопоставление по степеням чередования гласных отражало иные, менее дифференцированные падежные противопоставления, чем это характерно для падежной парадигмы древнейших индоевропейских языков.

Соотношение ступеней аблаута в корневой и суффиксальной морфемах и роль места тона в производной атематической основе, показанные Э. Бенвенистом в его исследовании (см. гл. IV), могут помочь при реконструкции падежных форм производных основ. Вместе с тем остается до настоящего времени неясным соотношение падения ларингальных и чередования тона при выработке закономерностей аблаута, игравшего столь значительную роль в словоизменении языка-основы в эпоху, предшествующую обособлению отдельных языков.

При этом следует указать на тот факт, что хотя полное восстановление отдельных словоизменительных показателей и остается часто неосуществимым и „белые пятна“ оказываются довольно распространенным явлением в сравнительной

грамматике, все же ряд основных и существенных моментов в принципах словоизменения, в характере словоизменительной системы, в соотношении ее компонентов раскрывается в результате обобщения большого числа данных, в результате сравнительно-исторического анализа отдельных элементов парадигмы.

Нередко анализ отдельных показателей бросает свет и на пути оформления всей парадигмы: так, например, сопоставление показателя 3-го лица множественного числа **-nt* с показателем причастия настоящего времени **-nt* позволяет сделать вывод об именном происхождении некоторых компонентов парадигмы глагольного спряжения[1]. Если показатели в парадигме личных форм и в причастии не являются случайными омонимами, что кажется маловероятным, возникает вопрос о структуре первичного показателя того же лица **-nti*: не следует ли его рассматривать как тот же показатель именного происхождения **-nt* + какое-то **-i*. В случае положительного решения этого вопроса возникает гипотеза, не являются ли и другие первичные показатели *-ti*, *-si* сложными формами, в образовании которых приняла участие некая частица указательно-темпорального характера *-i-*, подобная тем частицам, которые так часто и легко присоединялись к глагольной форме в различных индоевропейских языках (ср. древнеиндийский, хеттский, германский материал). В этом случае парадигма первичных окончаний по своему оформлению оказалась бы более поздней, „вторичной“ по сравнению с так называемыми вторичными показателями. Подобные вопросы возникали у отдельных исследователей, но не получили пока убедительного доказательства. В значительной степени это объясняется и тем, что сама „частица“ *-i-* благодаря своей краткости могла получить любое функциональное истолкование и давала полный простор для малодоказательных сопоставлений (см. § 10).

---

[1] Возможность появления в парадигме личных глагольных форм старых именных образований в настоящее время никем не оспаривается; ср., например, латинскую форму пассива 2-го лица множественного числа на *-mini* с греческими медиальными причастиями на *-μενοι*.

§ 13. Более сложные вопросы, естественно, возникают при переходе к следующей ступени сравнительно-исторического изучения родственных языков — к анализу состава целостной парадигмы.

При изучении парадигматического ряда основным является вопрос о соотношении компонентов этого ряда как по их материальному составу, так и по значению и по нормам употребления. Встает и вопрос о первоначальном составе парадигмы, об изменениях в нем и о закономерностях этих изменений. Изучение целостной парадигмы вместе с тем ведет и к восстановлению системы грамматических категорий языка-основы в целях дальнейшего исследования закономерностей развития этой системы.

Само понятие целостной парадигмы может означать различные по объему и степени обобщения системы. Так, можно говорить о парадигме тематического и атематического спряжения или о парадигме основ на *-ā-* в именном склонении. Приемы изучения подобных парадигм были уже частично освещены выше. Но можно говорить и о таких парадигматических рядах, как система презенса-аориста-перфекта в глаголе или система падежей в имени. И чем более общую парадигматическую систему пытается изучить исследователь, тем более осложняются задачи исследования, а вместе с тем и приемы анализа материала.

Изучение целостной парадигмы, как отмечалось выше, основывается на анализе отдельных словоизменительных показателей; более того, оно невозможно без этого предварительного анализа. Но так же как система целостной парадигмы не представляет собой суммы не связанных друг с другом показателей, так и изучение парадигматического ряда, реконструкция парадигмы, относящейся к эпохе языковой общности, и выделение закономерностей развития этой парадигмы не складываются из суммы выводов, полученных при анализе отдельных показателей.

В предыдущих параграфах было показано, что даже ряд вопросов, связанных с анализом отдельных показателей, не мог быть разрешен вне сопоставления с показателями других парадигматических рядов, или же вообще вне системы парадигмы.

Основные приемы сравнительно-исторического изучения целостных парадигм — те же, что и при анализе отдельного показателя, хотя осложнение задач, как будет показано дальше, требует и дополнительных приемов.

В качестве примера сравнительно-исторического изучения целостной парадигмы остановимся сначала на приемах анализа, связанных с исследованием системы падежей индоевропейских языков.

Прежде всего возникает вопрос о числе компонентов данной парадигмы, о числе падежей, их значении и нормах их употребления. Необходимо лишь заметить, во избежание недоразумения, что когда в настоящем разделе говорится о падеже или о числе падежей, то имеется в виду 1) наличие специального оформления, выделяющего данный падеж из ряда других падежных форм и 2) наличие особого значения, отличающего данный падеж от других падежей. Иными словами, мы говорим о специальном местном падеже там, где его форма и значение отличаются от форм и значений других падежей: так, например, мы имеем основание говорить о наличии в старославянском местного падежа тематического склонения, так как его форма здесь отличается от форм других падежей. Если один и тот же показатель в каком-либо языке выступает со многими функциями, которые в других родственных языках закреплены за разными падежами, то в отношении этого первого языка следует признать, что имеется один падеж, выполняющий различные функции: см. родительно-отложительный, дательный-местный и т. д.

Весьма часто в одном и том же языке разные показатели в разных типах склонения имеют одинаковые значения: ср., например, в латинском языке окончания родительного падежа в основах на *-ā-* и *-o-* mensae, lupī, или окончания именительного падежа в тех же типах склонения: mensa, lupus; в этих случаях речь идет об о д н о м падеже (родительном в первом примере, именительном во втором примере), получающем в различных типах склонения разное оформление.

Особо следует отметить возможность существования омонимичных падежных показателей: так, например, в латинском

языке в склонении основ на *-o-* (тематическое склонение) формы дательного падежа lupō совпадают с формами отложительного падежа lupō, в отличие от так называемых третьего и пятого склонений. История этих падежных форм в самом латинском языке указывает на то, что совпадение здесь — явление вторичное и для классической латыни относительно новое. Как уже отмечалось выше, для дательного падежа более древним показателем, засвидетельствованным надписями, было *-oi*, ср. Nymasioi и др.; отложительный падеж в этом же типе склонения имел некогда, как и в других италийских языках *-ōd*, ср. в надписях Gnaivod (III в. до н. э.), оскское Sakaraklúd; совпадение *-ōd* и *-ōi* в *-ō* явилось результатом тех фонетических закономерностей, в силу которых 1) *-d* в абсолютном конце слова отпадало после долгих гласных и 2) *-ōi* > *-ō*[1]. Поскольку, однако, в других типах склонения этого совпадения не наблюдается, отложительный падеж в латинском языке выделяется как особая словоизменительная форма.

Совершенно иной случай мы имеем тогда, когда какой-либо падеж исчезает из языка и его заменяет сочетание другого падежа с предлогом: ср. в немецком языке исчезновение в IX веке творительного падежа и его замену сочетаниями дательного падежа с соответствующими предлогами. Здесь говорить о наличии в современном немецком языке творительного падежа, конечно, не приходится.

Сопоставление материалов различных индоевропейских языков дает весьма пеструю картину: древнеиндийский обладал, как известно, восемью падежами (именительный, винительный, звательный, дательный, творительный, родительный, отложительный, местный), хеттский имел шесть падежей (именительный, винительный, дательный-местный, родительный и отложительный), греческий — пять (именительный, звательный, винительный, дательный, родительный), латинский — шесть (именительный, винительный, звательный, дательный, родительный, отложительный), старославянский — семь (име-

[1] C. F. Sommer. Handbuch der lateinischen Laut und Formenlehre, 2. 3-te Aufl., Heidelberg, 1914.

нительный, винительный, звательный, дательный, творительный, местный, родительный-отложительный); из германских языков готский сохранил только пять падежей (именительный, винительный, звательный, дательный, родительный).

Таким образом, наибольшее число падежей имел древнеиндийский язык.

Вместе с тем, в других индоевропейских языках, если сопоставлять их падежную систему с падежной системой древнеиндийского, отсутствовал то тот, то другой падеж: так, специального местного падежа не было в греческом, латинском, готском, творительного — в греческом, латинском, готском, отложительного — в греческом, готском; в старославянском родительный и отложительный выражались одной формой; в хеттском дательный и местный были объединены в один падеж, имевший показатель *-i-*, но кроме этого в значении местного падежа употреблялась и форма на *-a*.

Показатели родительного и отложительного падежей даже в древнеиндийском не дифференцировались в атематическом склонении. Еще менее дифференцированными были падежные формы во множественном числе, где в этом типе склонения дательный, отложительный и творительный совпадали.

Для выяснения закономерностей развития целостной парадигмы существенно то обстоятельство, что многие падежные окончания были общими для значительной части языков. Но наряду с этим имелись индивидуальные образования: к таковым может быть отнесено окончание родительного падежа единственного числа тематического склонения в латинском *-ī* — lupī „волка“[1], творительный единственного числа на *-m* в балтийских и славянских языках и т. д. В системе падежных показателей множественного числа намечаются конкурирующие формы с элементами *-bh* и *-m*: ср., с одной стороны, древнеиндийский дательный-отложительный dēvēbhyaḥ „богам“, латинский hominibus, и с другой — старославянское влькомъ, готское dagam и т. д.

---

[1] В других индоевропейских языках имелся показатель местоимениого происхождеиия **eso*.

При сопоставлении целостной парадигмы склонения имен существительных в отдельных индоевропейских языках возникает весьма сложная картина соответствий и расхождений, причем обнаруживается, что различные падежи и их показатели распространены неодинаково. Так, показатели именительного и винительного падежей, особенно в единственном числе, были наиболее общими для всех языков, несмотря на то, что во многих языках формы, например, винительного и именительного падежей совпадали: *-s* или нулевое окончание именительного падежа мужского и женского рода и *-m* (*n*) винительного падежа мужского и женского рода и именительного и винительного падежей среднего рода засвидетельствованы или лежат в основе развития соответствующих форм фактически всех индоевропейских языков. Наибольшую пестроту представляет оформление местного падежа, имевшего даже в пределах одного языка такие дублеты как *-i-*, *-u-*, *-m*, нулевая флексия с удлинением гласного основы и т. д.— ср. древнеиндийское dēvē из dēva+i в склонении основ на -ă- (o), bālayām в склонении основ на *-ā-*, где показателем локатива является *-m*, šátrāu в склонении основ на *-u-*, где *-āu* рассматривается как ступень чередования основообразующего суффикса *-u-* и где предполагают исконное отсутствие какого бы то ни было специального местного показателя.

Все эти факты указывают на то, что реконструкция падежной парадигмы именного склонения в отношении простого количества компонентов этой парадигмы даже в применении к тому периоду индоевропейской языковой общности, который являлся кануном обособления и выделения отдельных языков и групп, значительно более сложна, чем те случаи реконструкций отдельных показателей, которые были рассмотрены выше.

Наиболее распространена в сравнительной грамматике точка зрения по этому вопросу, принадлежащая младограмматикам. Бругман и Дельбрюк, в соответствии с их общей оценкой сравнительного материала индоевропейских языков, выдвигали в качестве архетипа парадигмы склонения имен существительных восьмипадежную систему, представленную од-

ним древнеиндийским, да и то лишь в пределах тематического склонения. Правда, во втором издании сравнительной грамматики, вышедшем несколькими десятилетиями позднее, Бругман очень детально останавливается на пестроте оформления некоторых падежей в различных языках, подчеркивая вместе с тем особый характер связи дательного и местного, отложительного и родительного еще в языке-основе[1]. Вместе с тем при анализе системы падежных показателей и значения отдельных падежей Бругман замечает, что необходимо отграничивать процессы, характерные для языка основы, и процессы, которые могут быть объяснены параллельным развитием отдельных языков. Впрочем, сам Бругман фактически не применяет этого принципа при анализе конкретных языковых явлений. Все противоречия, случаи несводимости и расхождений все же неизбежно подчиняются примату восьмипадежной системы древнеиндийского.

Что касается других языков, включая сюда и греческий, то все отклонения их от древнеиндийского эталона рассматривались как результат позднейшего развития, в частности — как результат падежного синкретизма, в силу которого происходило смешение ранее различавшихся падежных форм. Исходя из этого, в таких языках, как греческий и германские, где падежная парадигма была особенно бедна, нередко пытались найти следы „исчезнувших" падежей: так, старый местный падеж искали в греческом дательном падеже типа πατρί и в готском дательном gumin из *gumini, поскольку в древнеиндийском имелись формы местного падежа на -*i*: ср. pad-*í* „в ноге", pitár-*í* „в отце". Поэтому выдвигалась гипотеза, что место индоевропейского дательного занял в этих языках старый местный падеж.

Точно так же в форме готского дательного падежа основ на -o- типа dag-a одни исследователи видели старый отложительный падеж и возводили его окончание к *-*ōd*, другие — старый инструментальный падеж и возводили его к *-*ō*, наконец, третьи полагали, что окончание -*a* в готском восхо-

[1] См. K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. II, 2-ter T., 2 и 3 Lief., Strassburg, 1909—1911.

дило к форме *-oi и представляло собой показатель старого местного падежа; возможность существования всех трех гипотез поддерживалась тем, что готское -a в конце слова одинаково могло развиться из *-ōd, *-ō, *-oi; таковы были предположительные закономерности изменения конечных слогов в этом языке. Более того, можно было предполагать, что в германских языках в этом -a в результате изменения конечных слогов совпали показатели всех трех падежей, подобно тому, как, например, совпали *-ōi и *-ōd в истории латинского языка в долгом -ō.

Вероятность существования в языке-основе богатой падежной системы подтверждалась, повидимому, и тем, что наряду с древнеиндийским и балтийско-славянская группа также обладала богато развитой падежной системой. Тем самым реконструкция многопадежной (7—8 падежей) системы опиралась, казалось бы, на данные разных групп языков. Однако есть ряд моментов, которые заставляют относиться осторожно к подобной реконструкции.

§ 14. При реконструкции той падежной системы, которую можно было бы считать основой развития целостной падежной парадигмы в родственных языках, так же как и при установлении исходной формы развития отдельного падежного показателя, необходимо опираться на материал разных языковых групп. В этом плане не вызывают сомнения такие падежи, как именительный и винительный (см. выше). Что касается дательного падежа, то неясной остается связь его показателя *-ei (-ai) с показателем местного падежа *-i. Сложное переплетение этих показателей, их формальная близость (*-ei (-ai) — *-i), фактически однотипная с соотношением различных вариантов одного и того же показателя родительного падежа (*-es, *-os, *-s), неясность распределения этих близких показателей в засвидетельствованных формах отдельных языков[1], — все это препятствует выдвижению для языка-основы

[1] Так, например, Бругман отмечает возможность совпадения окончания дательного и местного падежей у основ на -ā- еще в эпоху индоевропейской языковой общности, поскольку, по его мнению, -ā- основы + дифтонгическое окончание дательного падежа могло дать *-āi, так же как

той прямолинейной схемы, которая опиралась по преимуществу на материал древнеиндийского языка.

Особенно примечательно, что в хеттском, где имелся специальный показатель местного падежа *-a-*, форма, этимологически соответствующая форме древнеиндийского местного падежа на *-i-*, объединяла значения дательного и местного падежей. Вместе с тем, в славянских языках, где местный падеж в тематическом склонении имеет тот же показатель, что и в древнеиндийском: влъцѣ, ср. *devē*($\bar{e}$ < *o + *i), структура дательного падежа в этих основах остается неясной: вряд ли можно показатель его возводить к индоевропейскому *-o*i*, как это делает Мейе[1], тем более, что в качестве примера перехода индоевропейского *-o*i* в *-u* Мейе приводит только эту форму дательного падежа[2].

Сами по себе, вне падежной системы, показатели *ei/i* представлены разнообразнейшим материалом индоевропейских языков (см. § 9), что свидетельствует об их древности и указывает на возможность их существования в языке-основе. Но каково было в ту эпоху их использование и каково историческое соотношение дательного и местного падежей, какие из известных нам общих фактов можно отнести к эпохе существования языка-основы и что следует отнести к процессу развития отдельных языков, — все эти вопросы остаются пока нерешенными. С другой стороны, для постановки вопроса о местном падеже большое значение имеет и наличие многих параллельных образований.

и $\bar{a} + i = \bar{a}i$ местного падежа. Однако материал греческого языка, на который ссылается Бругман, дает здесь гораздо более сложную картину: так, форма наречия οἴκοι у Гомера рассматривается как старый локатив в связи с тем, что здесь окончание *-oi*, а не -ῳ (ср. ϑεῷ), но как известно, в некоторых греческих диалектах ῳ > *-oi*. С другой стороны, форму ϑεᾷ „богине“ Бругман рассматривает как старый дательный падеж, также как и наречие χαμαί „к земле“, с его точки зрения, является застывшим дательным падежом, тогда как формы χώρᾳ (стр. 169) истолковываются как локативные. Напротив, Бенвенист считает вслед за Мейе, что дательный падеж имел два показателя *-*ei*, *-*i*, а наречие χαμαί он рассматривает как локатив и т. д.

[1] А. Мейе. Общеславянский язык, М., 1951, стр. 327.

[2] Там же, стр. 169.

Неясным и сложным является и вопрос о соотношении родительного и отложительного падежей. Как известно, в единственном числе только основы на *-o-* (тематическое склонение) имели в древнеиндийском отдельные формы отложительного и родительного падежей, во множественном же числе отложительный падеж ни в одном типе склонения и ни в одном языке не имел специальной формы, совпадая по преимуществу с дательным падежом. С другой стороны, именно в родительном падеже тематического склонения нет общей для всех индоевропейских языков формы, так как латинский показатель *-ī-* представляет собой явно индивидуальное образование, в других же языках эта форма связана с местоименным склонением (см. § 13).

Еще бо́льшие сомнения вызывает творительный падеж; в тех языках, где он выступает как живая категория, наблюдается чрезвычайная пестрота показателей и значительные расхождения между отдельными языками: ср. древнеиндийский показатель *ā*, свойственный всем типам склонения,— *yajñā* „жертвой“, *nāuā́* „кораблем“, славянское *мь-вльколь, древненемецкое *-u-* — wolfu (*-u-* возводится обычно к долгому *ō*, т. е. форма рассматривается по структуре как имеющая нулевой показатель и долгий гласный основы).

Нередко для доказательства наличия некогда того или иного падежа в конкретном языке используются наречия, поскольку в огромном своем большинстве наречия являются застывшими падежами: так, например, для подтверждения того, что в греческом языке существовала специальная форма местного падежа приводятся наречия οἴκοι „дома“, лат. *domī*; выше (см. стр. 256) отмечалась неясность толкования греческой формы. Наряду с этим известен и обратный процесс: в ряде случаев наречные образования как бы включаются в парадигматический ряд словоизменения имени; так было, например, в греческом с формами на -φι. В этой связи был поставлен вопрос о необходимости пересмотреть традиционное толкование соотношения показателей местного падежа *r*, *n*, *i*, с одной стороны, и наречных образований, типа готского *har* „где“, латинского *cūr*, литовского *kur̃*, древнеиндийские *ahar* „днем“, *ahan* „днем“, греческого πάλαι „некогда“ — с другой.

Э. Бенвенист в специальном разделе своей работы, посвященном исследованию генезиса показателей местного падежа *-i*, *-r*, *-n* -нуль[1], пришел к выводу, что использование этих показателей в качестве форматива местного падежа было вторичным. Первоначально эти показатели выступали как оформители основы имен существительных среднего рода, получавших в определенных условиях использование в качестве обстоятельств и закрепляемых тем самым за наречиями. Ссылаясь, в частности, на ведийское *svár* „солнце" и *svár* „на солнце", Бенвенист рассматривает наречные образования, перечисленные выше, как старые формы неопределенного падежа, восходящие еще к эпохе выработки системы склонения среднего рода индоевропейских языков. Как бы ни были спорны конечные выводы Бенвениста, одно несомненно — вопрос о соотношении различных наречных образований на *-r*, *-n*, *-i*,-, нуль и соответствующих форм местного падежа нуждается в пересмотре именно в том направлении, которое намечает Бенвенист. Во многих случаях перед нами не застывшие формы местного падежа, якобы доказывающие его наличие в том или ином языке в дописьменную эпоху, а образования, возможно предшествовавшие выработке системы показателей местного падежа и поэтому не являющиеся доказательством наличия этого падежа в доисторическую эпоху.

И здесь новая постановка проблемы связана прежде всего с вопросом, что́ было выработано еще в языке-основе и что́ представляет результат параллельного развития родственных языков (так как предпосылки этого развития имелись уже в эпоху первоначальной языковой общности). Например, можно было бы высказать два предположения: 1) использование старых основообразующих формативов в качестве показателей местного падежа утвердилось еще в эпоху первоначальной языковой общности и существовало первоначально во всех языках примерно в той форме, как это засвидетельствовано материалом древнеиндийского; 2) язык-основа не знал выработанной формы местного падежа, но здесь имелись многочисленные именные образования, получавшие соответ-

[1] Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, стр. 116—128.

ственное наречное осмысление; развитие же специальных форм местного падежа происходит уже в более позднюю эпоху и далеко не во всех языках равномерно.

Следует здесь указать, что Бенвенист, как и многие другие компаративисты, не уточняет вопроса об относительной хронологии этих явлений, имеющей первостепенное значение для выявления закономерностей развития родственных языков.

Таким образом, даже установление известной суммы грамматических формативов, повторяющихся в отдельных родственных языках, и восстановление исходной материальной структуры этих показателей не дает еще представления о парадигме языка-основы как об определенной структурной системе: 1) неясным остается соотношение определенных показателей с известными грамматическими значениями, — например, за каким грамматическим значением в языке-основе были закреплены показатели **-i*, **-ei* или **-es*, **-os*; 2) спорным остается соотношение некоторых показателей друг с другом (например, **-i — -*ei*); 3) неясными остаются число падежей и пути развития падежной системы в индоевропейском языке-основе.

Еще больше трудностей возникает при выяснении путей развития индоевропейского глагола.

Необходимо иметь в виду, что в парадигме глагола индоевропейских языков, при наличии большого числа общих словообразовательных и словоизменительных показателей, чрезвычайно отчетливо выступает индивидуальный характер оформления различных парадигматических рядов. Резкое отличие глагольной парадигмы греческого и древних индоиранских языков, выделяющейся чрезвычайным богатством видовременных, залоговых и модальных образований, от значительно более бедных глагольных систем хеттского, славянских, балтийских, германских, италийских языков, давно привлекало внимание исследователей и послужило поводом для создания ряда гипотез относительно характера глагольной системы в языке-основе и путей развития этой системы в отдельных языках.

В течение многих десятилетий основой для реконструкции служили фактически парадигмы греческого и древнеиндий-

ских языков. То обстоятельство, что и в других языковых группах можно было обнаружить следы тех формативов, которые в греческом и древнеиндийском были связаны с определенной грамматической категорией, рассматривалось обычно как подтверждение существования этих категорий и в других языковых группах.

Между тем, например, в самом греческом языке глагольная система представляла собой нагромождение различных образований, часто выступающих с одним грамматическим значением в словоизменительной парадигме глагола. Достаточно здесь сослаться на различные в структурном плане аористические образования: 1) типа ἔλιπον от λείπω „оставляю“, ἔφυγον от φεύγω „бегу“, где форма аориста отличается от формы настоящего времени аугментом, вторичными окончаниями и огласовкой корня; 2) типа γιγνώσκω „знаю“ — ἔγνων „узнал“, где чередование гласных отсутствует и отличие от основы презенса заключается в о т с у т с т в и и редупликации; 3) типа χαίρω „радуюсь“ — κεχαρόμην „обрадовался“, ἀλέξω „отражаю“, ἤλαλκον, ἄλαλκον „отразил“, где основа аориста характеризуется прежде всего редупликацией, и 4) типа λέγω „говорю“ и ἔλεξα „я сказал“, πλάττω „изображаю“—ἔπλασα „изобразил“, где характерным признаком основы аориста является -*s*.

Все четыре структурные типа образования основы имеют широкое распространение в индоевропейских языках, частично слившись с индоевропейским перфектом в оформлении глагольных форм отдельных индоевропейских языков. Ср., например, в латинском языке при оформлении парадигмы перфекта — образования, структурно сближающиеся с греческим сигматическим аористом dico — dixi, или в германских языках оформление основы прошедшего времени множественного числа сильного глагола, где выступает та же огласовка, что и в греческом аористе первой группы, ср. в готском steiga „подымаюсь“, staig „подымался“, но stigun „они поднялись“. Однако в какой степени всем этим образованиям было свойственно аористическое значение в эпоху индоевропейской языковой общности и отражают ли типы противопоставлений различных основ в греческой системе презенс-аориста состояние языка-основы, сказать пока трудно.

Оформление глагольных основ, производных от одного корня, отличалось в древних индоевропейских языках чрезвычайным разнообразием. Помимо многочисленных основообразующих суффиксов, использовались изменение места тона, чередование гласного, редупликация, а также различные словоизменительные средства. Одно и то же средство не получало однотипного использования даже в пределах одного языка — достаточно сослаться на такой пример, как использование редупликации в различных глагольных формах древнегреческого языка: ср. δίδωμι "даю" — 1-й аорист ἔδωκα, 2-й аорист ἔδων, где основа с редупликацией выступает в настоящем времени,— с λείπω — λέλοιπα, где редупликация выступает в перфекте, и с приведенными выше примерами редуплицирующего аориста. Сама основа до какой-то степени оказывалась нейтральной и могла занять разное место в парадигматическом ряду: сочетание с той или иной системой личных окончаний (первичные, вторичные, перфектные), наличие или отсутствие аугмента выступали как более отчетливые словоизменительные показатели.

Нередко создается такое впечатление, что лишь в период относительно позднего развития эти многообразные, некогда не связанные парадигматическим целым, глагольные основы включались в определенные парадигматические ряды, закрепив за каждым членом этого ряда определенную систему личных окончаний. Но какой этап этого процесса следует отнести к эпохе индоевропейской языковой общности, а что является продуктом развития отдельных индоевропейских языков,— до настоящего времени остается неясным.

В связи с этими замечаниями, сделанными относительно видо-временно́й системы индоевропейского глагола, можно указать и на неразрешенность многих вопросов, относящихся к процессу выработки залоговой дифференциации индоевропейских языков. Более или менее общее мнение исследователей сводится к признанию отсутствия в языке-основе специальных форм страдательного залога. Однако, хотя все полагают, что различие действительного и среднего залога восходит еще к эпохе индоевропейской языковой общности, более определенное соотношение этих залоговых форм, начиная от

системы личных показателей и кончая значением активных и медиальных форм, не установлено. Особенно обращало на себя внимание наличие так называемого medium tantum, где активная по значению глагольная форма имела медиальное оформление: ср. греческое κεῖται, древнеиндийское šētē „лежит“, греческое ἧσται, древнеиндийское āstē „сидит“ и т. д. Характерно, что итало-кельтские недостаточные глаголы частично этимологически совпадают с медиальными: ср. древнеиндийское mriyátē „умирает“, латинское morior; греческое μετίομαι „выдумываю“, латинское metior; в хеттском число таких глаголов весьма значительно; ср. *ar*-„стоять“, *ki*-„лежать“, *kiš*-„становиться“ и т. д. Вместе с тем, как показали исследования последних десятилетий (А. Мейе, Ю. Куриловича, Я. Сафаревича, В. Петерсена и др.), отнюдь не вся система медиальных форм, засвидетельствованная греческими и древнеиндийскими материалами, сложилась в эпоху существования индоевропейской общности.

Не менее сложным является и вопрос о соотношении индоевропейского медиума и итало-кельтских форм на *-r-*, тем более, что в залоговой парадигме италийских языков и хеттского как бы сочетаются элементы обоих парадигматических рядов: ср. форму 3-го лица страдательного залога в латинском языке laudatur, где -tu- сопоставляется с окончанием *-tai* в греческом φέρεται или хеттскую парадигму, где эти элементы сочетаются очень свободно: ср. 3-е лицо от eš — ešira без *t*, но от ar — ar-ta-ri-, где налицо оба показателя: *-t-* и *-r-*.

В словоизменении глагола, как и в словоизменении имени, основная трудность заключается в том, что общность тех или иных словоизменительных элементов не означает их одинакового использования, а главное не означает их генетического тождества. Возможность параллельных образований, подобных аналитическим временны́м формам в системе хеттского, романских, германских и других языков, или артиклю в системе имени германских, романских и других языков, ставит под сомнение отнесение многих известных нам грамматических категорий древних языков к эпохе индоевропейской общности и требует особого внимания к функциональной стороне словоизменительных форм. Система глагола индоевропейских

языков отличается к тому же значительно бо́льшим удельным весом индивидуальных образований, значительно меньшей целостностью парадигмы, чем система имени, что особенно усложняет сведе́ние тех или иных вариантов к единому архетипу. Наиболее трудной проблемой является установление исконного соотношения тех или иных грамматических форм и их значений.

При всех отмеченных трудностях особенно важным для перспектив сравнительно-исторического изучения родственных языков является то, что спорность реконструкции отдельных словоизменительных форм в парадигмах глагола и имени не заслоняет структурной специфики парадигматического ряда. Так, например, несмотря на спорность реконструкции показателя дательного падежа, неоспоримыми остаются следующие факты, касающиеся всех индоевропейских языков и тем самым генетически связанные еще со структурой языка-основы, по крайней мере накануне обособления отдельных языков: 1) существование многочисленных типов склонения с различными основообразующими суффиксами, среди которых выделяется как особенно продуктивное в развитии отдельных индоевропейских языков так называемое тематическое склонение, т. е. склонение с основой на *-о-*, а также существование небольшой группы корневых основ типа древнеиндийского pát; 2) наличие известных различий в структуре падежных форм корневых основ и других типов склонения, а среди последних известной специфики тематического склонения: чередование гласных корня наблюдается лишь в корневых основах, тогда как во всех других типах склонения наблюдается чередование гласных основообразующего суффикса; словоизменительная функция места тона присуща всем типам склонения за исключением тематического и т. д.; 3) специфическая особенность в структуре падежной формы тематического склонения, заключающаяся в стяжении элемента основы и гласного элемента падежного показателя, которое вело к потере вычленяемости основообразующего суффикса и в дальнейшем обусловило разрушение старой структуры словоизменительной формы: корень — основа — падежный показатель.

Именно сопоставление структурных особенностей словоизменительных форм разных классов склонения позволило поставить вопрос об относительной хронологии этих особенностей, тем более, что анализ материала, относящегося к истории склонения в отдельных индоевропейских языках, обнаружил неодинаковую продуктивность и устойчивость различных типов склонения. Наконец, несводимость некоторых падежных показателей к одному архетипу, рядом с теми случаями, когда даже в одном языке (древнеиндийском) один и тот же падеж был представлен разными показателями, указывала на сложность и многоступенчатость в оформлении падежной системы древних индоевропейских языков и на важность восстановления путей оформления этой системы.

В глагольном словоизменении встречавшиеся при сопоставлении отдельных личных показателей неясности и сложности, оставляя иногда неразрешенным тот или иной вопрос, отнюдь не помешали выявить: 1) существование тематического и атематического спряжения; 2) различия в составе личных показателей, а частично и в структуре словоизменительной формы у тематического и атематического спряжения; ср., например, в атематическом типе чередование места тона в формах единственного и множественного числа, образованных от одной основы и отсутствие этого чередования в типе тематическом; или чередование гласного корня в атематическом спряжении типа древнеиндийского émi — imáḥ и чередование тематического гласного во втором случае; 3) непродуктивность и архаичность атематического спряжения, представленного во всех индоевропейских языках ограниченными лексическими группами и в дальнейшем вытесняемого тематическим типом.

Вместе с тем, сами факты несводимости ряда показателей различных индоевропейских языков к одному архетипу указывали на сложность процесса оформления той системы личных показателей действительного залога, которая наиболее отчетливо выступала в древнеиндийском и за некоторыми исключениями в греческом; факты оформления 2-го и 3-го лица в славянских языках и греческом особенно ясно указывают на возможность наличия дублетных форм и на сложные

процессы оформления и взаимодействия таких парадигматических рядов, как первичные и вторичные показатели.

§ 15. Реконструкция целостной словоизменительной парадигмы, восстановление системы грамматических категорий включают выяснение значений и норм употребления тех или иных словоизменительных форм. Хотя при всяком сопоставлении отдельного словоизменительного показателя одного языка со словоизменительным показателем другого языка, естественно, учитывают значение этих показателей и даже исходят из этих значений (например, личных показателей в глаголе, отдельных падежных показателей в имени), но детальное изучение значения словоизменительных форм, сопоставление значений этих форм в отдельных языках, наконец, восстановление того общего значения, которое предполагается как исходное, невозможно в пределах анализа отдельной словоизменительной формы. Объем значения отдельного падежа зависит от той падежной системы, в которой он функционирует: объем значения родительного падежа связан с наличием или отсутствием отложительного падежа, так же как значение дательного соотнесено не только с местным или творительным, но и с отграничением от падежа прямого объекта (винительного). Точно так же употребление таких глагольных категорий, как перфект, настоящее время, аорист может быть изучено лишь на основе отграничения значения каждой категории от значения прочих элементов этого ряда и т. д.

Само изучение значения словоизменительных форм осуществляется путем сопоставления значения этих форм в отдельных языках, путем восстановления исходного значения и объяснения закономерностей изменения этого значения в процессе развития отдельных родственных языков. Но, несмотря на то, что задачи и приемы здесь как будто те же, что и при изучении материального состава словоизменительных показателей, самая техника осуществления этих задач несколько иная.

Если при сопоставлении материального состава показателей отдельных родственных языков исследователь исходит из непосредственно данных в языке и легко обнаруживаемых

единиц, а выделение этих единиц не представляет большой трудности, то изучение значения и норм употребления словоизменительной формы всегда гораздо сложнее. Особенно это относится к материалу древних языков, где, например, не редко трудно отграничить грамматические явления от чисто стилистического использования той или иной формы.

Выделение основного значения словоизменительных форм даже в пределах одного древнего языка представляет, как известно, значительные трудности: достаточно указать на то, что анализу значения перфекта или аориста в греческом или древнеиндийском были посвящены десятки работ и все же многое остается здесь неясным. Между тем очевидно, что так же как для установления архетипа грамматического показателя необходимо сопоставление показателей, наличных в отдельных языках, так и для реконструкции исходного значения той или иной словоизменительной формы надо иметь ясное и четкое представление о ее значении и нормах ее употребления в отдельных языках; древние же, особенно глагольные формы, обычно так многозначны, что трудно выделить даже для отдельного языка основное значение: в самом деле, остается неясным, какое из значений греческого аориста, приводимых Дельбрюком, — „ингрессивный" аорист, „эффективный" аорист или „пунктуализирующий" аорист,— следует признать основным, так же как спорным остается вопрос и о том, какое из значений медиума — динамический медиум, медиум возвратный, медиум взаимный, или медиум состояния — было основным для того же греческого языка. Норма употребления каждой из этих категорий в древних языках представляет собой результат длительного развития, где прихотливо переплелись старые, застывшие нормы и их переосмысление к эпохе создания того или иного памятника. Очевидно, что в этих условиях само сопоставление явлений разных родственных языков требует какой-то предварительной работы.

Особенность сравнительно-исторического изучения значения и норм употребления словоизменительных форм заключается также в том, что реконструкция первоначального

значения не опирается на какие-либо установленные закономерности развития в отдельных языках или на какие-либо закономерные соответствия, тогда как реконструкция материального состава показателя опирается на установленные фонетические закономерности.

Эти специфические трудности обусловлены характером и сущностью самого значения словоизменительных форм; но с другой стороны, их причина кроется и в неразработанности вопросов, связанных со сравнительно-историческим изучением грамматического значения.

Поэтому сама система приемов сравнительно-исторического изучения семантики словоизменительных форм несколько отличается от той системы приемов, которую мы рассматривали выше. Первостепенную роль при сопоставлении значений словоизменительных форм и реконструкции исходного значения имеет изучение развития функций той или иной категории в отдельных языках с выделением более старого и более нового, что позволяет для каждого языка восстановить исходное значение этой категории подобно тому, например, как Эрну́ в специальной работе установил первичное значение форм на *-r* в латинском языке, связав их с категорией безличности, или Шантрен пытался установить первоначальное значение греческого перфекта и т. д. Применение „внутренней реконструкции" в целях восстановления основного и вместе с тем исходного для данного языка значения должно предшествовать сопоставлению значения изучаемой словоизменительной формы в родственных языках и тем более реконструкции общего значения, свойственного грамматической системе языка-основы.

Однако эта реконструкция общего значения фактически остается на уровне лишь научной гипотезы, поскольку доказательство и, более того, проверка правильности этой реконструкции неосуществимы в настоящее время, ибо языковед не знает семантических или каких-либо других закономерностей, оперируя которыми можно было бы доказать справедливость проведенной реконструкции.

Именно это обстоятельство делает в известной степени уязвимыми те выводы сравнительно-исторического изучения

родственных языков, которые касаются системы грамматических категорий языка-основы, поскольку эта система неразрывно связана со значениями, приписываемыми этим категориям. Здесь наиболее слабая сторона, „ахиллесова пята“ сравнительно-исторического изучения словоизменительной системы любой семьи языков. Этим объясняется тот примечательный факт, что сравнительные грамматики в большинстве случаев занимаются подробнейшим, тщательным анализом словоизменительных формативов и их реконструкцией, тогда как более сложные вопросы словоизменительной системы, особенно исследование значений элементов основных и наиболее общих парадигм, излагаются либо отдельно в применении к каждому языку, и при этом чисто синхронно, без выделения тенденций развития (ср. соответствующие разделы во втором издании „Сравнительной грамматики индоевропейских языков“ Бругмана), либо имеют характер абсолютно беспочвенных гипотез (см. рассуждения Хирта об индоевропейском перфекте в его „Индоевропейской грамматике“).

Однако как ни сложны задачи сравнительно-исторического изучения целостной словоизменительной парадигмы, а тем более системы грамматических категорий родственных языков, как ни уязвимы выводы, касающиеся более общих вопросов, и как ни несовершенны используемые приемы, исследователь не может ограничиваться установлением лишь генетического тождества отдельных словоизменительных показателей и реконструкцией архетипа этих отдельных показателей. Эта ступень сравнительно-исторического изучения не может еще обеспечить решения важнейшей задачи изучения языкового родства, а именно раскрытия закономерностей развития родственных языков, их внутренних законов развития.

Структурные черты, объединяющие группу или семью родственных языков, представляют собой в отношении словоизменения весьма сложную, противоречивую, но все же относительно целостную систему. Без постановки задач, связанных с изучением основ этой словоизменительной системы, в сравнительном языкознании невозможно научное рассмотрение проблем языкового родства.

В настоящее время предварительным условием для этого является осуществление внутренней реконструкции грамматических категорий в истории отдельных индоевропейских языков, что должно помочь историческому осмыслению развития этих категорий отдельных языков. Без этого научная постановка сравнительно-исторического изучения указанных выше словоизменительных проблем будет лишена какой бы то ни было почвы.

§ 16. Как было показано выше, углубление сравнительно-исторического изучения родственных языков, связанное с постановкой проблем более сложных, чем изучение отдельных словоизменительных формативов, потребовало известного обогащения и осложнения системы приемов, объединяемых понятием сравнительно-исторического метода.

Так, особое значение приобрело четкое разграничение явлений генетически общих — и параллельных новообразований: в связи с большой общностью структурных элементов в отдельных индоевропейских языках, что являлось следствием их происхождения от одного источника, некоторые компоненты словоизменительной парадигмы могли возникать параллельно. Например, взаимодействие парадигмы склонения имен существительных и местоимений, характерное для всех индоевропейских языков, могло частично осуществляться уже в эпоху обособленного развития отдельных языков. Представляется вероятным, что развитие аориста на *-s* у отыменных глаголов в древнеиндийском, старославянском и древнеирландском языках являлось параллельным процессом[1]. Системы словоизменительных форм на *-ся* в славянских языках и на *-s* в скандинавских языках, очевидно, являлись параллельным образованием, связанным с характером так называемого возвратного местоимения и его употреблением в индоевропейских языках (ср. развитие употребления возвратного местоимения еще в романских языках, где оно не превратилось в морфему, но где возвратные конструкции по своему значе-

---

[1] А. Мейе. Введенне в сравнительное изучение нндоевропейских языков, стр. 228.

нию частично сближаются с употреблением возвратных форм в славянских и скандинавских языках). В условиях тесной связи словообразовательных и словоизменительных показателей и при большой генетической общности словообразовательных показателей индоевропейских языков новые словоизменительные единицы, целые парадигматические ряды могли складываться параллельно и независимо в развитии разных индоевропейских языков: так, например, характер использования *-r* для оформления медиальной парадигмы в итало-кельтских языках и в хеттском указывает скорее на наличие параллельных тенденций развития, чем на общеиндоевропейскую форму, сочетавшую старые медиальные окончания с элементом *-t* и словоизменительный показатель *-r*, ср. лат. lauda-tu-r. С другой стороны, возможность появления параллельных новообразований в истории отдельных родственных языков, очевидно, связана с известной общностью структурных элементов и тенденций развития, восходящих еще к эпохе существования языка-основы. Тем настоятельнее должно быть стремление к отграничению явлений, сложившихся уже в языке-основе и унаследованных отдельными родственными языками, от общих предпосылок, заложенных в том же языке-основе, но реализовавшихся уже в истории отдельных языков.

В связи с этим особое значение приобретает также принцип относительной хронологии, способствующий вскрытию динамики внутри изучаемой парадигмы, позволяющий ввести историческую перспективу в парадигматический ряд и в соотношение различных парадигматических рядов, элементы которых выступают со сходным значением.

При изучении целостных парадигм и системы грамматических категорий необходимо особенно четко отграничивать, во-первых, явления общие, но явившиеся результатом параллельного развития (например, использование одного и того же форматива со сходным значением), и, во-вторых, явления общие, восходящие к эпохе языка-основы, т. е. генетически тождественные, причем в последних следует выделять: а) явления, относящиеся к непосредственной „предистории" отдельных языков, т. е. к эпохе, непосредственно предшествующей обособлению отдельных языков, и б) явления еще

более далекие, характеризующие глубинные пласты истории диалектов индоевропейского языка-основы. Отсутствие использования приема относительной хронологии при распутывании сложного переплетения различных тенденций, наблюдавшихся в словоизменительной системе таких языков, как греческий и древнеиндийский, вело к некритическому перенесению многих индивидуальных и специфических явлений этих языков в эпоху языка-основы.

Вместе с тем, чем более общие вопросы словоизменительной системы исследуются, тем большее значение для реконструкции исходного состояния и для выяснения закономерностей развития приобретает детальное и тщательное сравнительное изучение словоизменения отдельных родственных языков в их историческом развитии.

При этом полностью должны быть использованы те возможности, которые дает прием внутренней реконструкции (см. выше).

Особо следует подчеркнуть, что все эти приемы, включая и прием внутренней реконструкции, помогают сопоставлению словоизменительных элементов родственных языков в целях установления исходного состояния словоизменительной системы данной семьи и раскрытия закономерностей изменения и развития этой системы в родственных языках. Поэтому ни один из этих приемов не представляет собой какого-либо особого метода, но все они входят в сравнительно-исторический метод, являющийся сложным комплексом приемов. В зависимости от того, какие элементы словоизменительной системы родственных языков являются объектом сравнительно-исторического изучения — отдельные ли словоизменительные показатели, целостные ли парадигмы, система ли грамматических категорий, — ведущее значение приобретает тот или иной прием.

§ 17. В предыдущих параграфах не раз отмечалось, что восстановление словоизменительной системы языка-основы, в свою очередь, должно быть исторически „масштабным". На этом положении необходимо остановиться несколько подробнее.

Сравнительная грамматика индоевропейских языков с очевидностью показала, что система именного склонения, основанная на различиях основообразующих суффиксов, была базой развития склонения во всех индоевропейских языках. От хеттского, древнеиндийского и греческого языков прослеживаются элементы этой системы, свидетельствуя о поразительной устойчивости грамматического строя. Справедливость сведéния этих сходных систем именного склонения к единой системе, генетическое тождество всех этих сходных систем не подлежит никакому сомнению. Вряд ли кто-либо стал бы сейчас оспаривать, что классы склонения с основообразующими суффиксами *ā*, *e*/*o*, *i*, *u*, *r*, *n* и т. д. оформились еще в эпоху существования индоевропейской языковой общности.

Однако, наряду с этими типами склонения, из которых самыми продуктивными в эпоху создания древнейших памятников на индоевропейских языках, следует, повидимому, считать склонение основ на *e*/*o* (тематическое склонение), существовала во всех индоевропейских языках еще группа так называемых корневых основ; число слов, относящихся к этой группе, было весьма ограниченным: ср. древнеиндийское pắt, греческое дорийское πώς, род. п. ποδός, аттическое πούς, латинское pēs род. п. pēdis; греческое κῆρ, латинское cor; древнеиндийское mū́ḥ „мышь“, греческое μῦς, латинское mūs; древнеиндийское gáuḥ „бык“, греческое βοῦς, латинское bōs. Наиболее продуктивным этот класс имен существительных был в индоиранских языках. В греческом имеется, кроме того, группа имен существительных, соотнесенных с глагольными основами, типа κλώψ, род. п. κλοπός „вор“ при κλέπτω „краду“, λίψ, род. п. λιβός „источник“ при λείβω „лью“. Выступают подобные образования и в качестве вторых компонентов сложных слов: ср. χέρ-νιψ „вода для омовения рук“ от νίζω „мою“ и т. д.

В большинстве индоевропейских языков эти образования были неустойчивыми и имели тенденцию переходить в другие классы: так, например, в готском языке имя существительное, этимологически соответствующее греческому πούς, перешло в склонение основ на *-u*-fōtus; в славянских языках особенно частым был переход в склонение основ на *-i-*, ср. старославянские бръвь, звѣрь, мышь и т. д. В ряде случаев слова, выступав-

шие в греческом и древнеиндийском в качестве корневых основ, были в германских и славянских языках производными образованиями (ср. греческое κῆρ, старославянское срьдце, готское hairtō), т. е. относились уже к другим классам склонения.

Наличие подобных корневых образований во всех языках указывает на то, что они восходят к языку-основе; однако, в отличие от других классов имен существительных, эта группа обладает явно реликтовыми чертами, что подтверждается ее непродуктивностью в отдельных индоевропейских языках и ее вытеснением другими типами склонения, а также характером словоизменения; структурно, по технике словоизменения корневые основы в системе имени соотносятся с атематическими глаголами.

Наконец, в ряде индоевропейских языков имеются следы так называемого гетероклитического склонения, где наблюдается чередование основообразующих суффиксов; ср. др.-инд. ūdhar — ūdhnaḥ „вымя"; yakṛt — yak-n-aḥ „печень", лат. iecur — iecinoris; ср. также лат. femur — feminis „бедро"; наиболее ясно это явление представлено в хеттском: им., вин. u̯ātar „вода", род. u̯etenaš, дат.-местн. u̯eteni и т. д., при этом суффиксом *r* характеризуется оформление именительного, винительного падежей, суффиксом *n* — оформление всех остальных.

С гетероклитическим типом склонения следует связать и те сравнительно многочисленные факты, когда один и тот же корень в одних языках появляется с основообразующим суффиксом *-r*, в других же языках с *-n*: ср., например, наряду с гетероклизисом в хеттском склонении имени существительного pahhur — pahhuenaš „огонь", разное оформление этой основы в греческом πῦρ, немецком feuer и в готском fōn, funins, древнеисландском funi, или же наряду с хеттским u̯atar — u̯etenaš — древненемецкое wazzar, но готское watō, watins и т. д.

Эти факты объясняются тем, что в развитии отдельных индоевропейских языков чередование основообразующих суффиксов внутри парадигмы исчезало, причем для всех падежных форм обобщался один из указанных суффиксов: так, в греческом этим суффиксом в слове πῦρ оказалось *-r*, в готском *-n* и т. д.

Следы гетероклизиса выступают и в чередовании других основообразующих суффиксов.

Повидимому, некогда в индоевропейских языках склонение имен существительных осуществлялось путем изменения характера самой основы, причем базой этого склонения являлась двухпадежная система: прямой — косвенный падеж. Это как будто подтверждается и некоторыми фактами местоименного склонения, поскольку в склонении местоимений довольно ясно выступает противопоставление двух основ: ср., например, древнеиндийское āhám „я“, род. п. máma „меня“ и т. д.; sáḥ „этот, он“, tásya „этого, его“ и т. д.; греческое ἐγώ „я“, ἐμοῦ, μου „меня“ и т. д.; ὁ „этот“, τοῦ „этого“ и т. д.; в склонении личных местоимений это явление сохраняется во всех индоевропейских языках.

Конечно, гетероклитическое склонение имен существительных и склонение личных и указательных местоимений отличаются как по структуре рассматриваемых форм, так и по характеру падежных противопоставлений: в гетероклитическом склонении корень имени существительного остается неизменным, чередуется лишь основообразующий суффикс (детерминатив), в склонении местоимений чередуются два различных корня; в гетероклитическом склонении, связанном с именами существительными среднего рода, основа именительного-винительного падежа противопоставляется основе всех других падежей, в склонении местоимений — именительный падеж противопоставляется всем остальным падежам, включая сюда и винительный.

Вместе с тем, в гетероклитическом склонении в той форме, как оно представлено хеттскими материалами, чередование основы сосуществует с обычной системой падежных показателей, тех же, что и в других типах склонения: ср. им.-вин. u̯atar̲, род. u̯eten̲aš, дат.-мест. u̯eten̲i, отлож. u̯eten̲az, твор. u̯eten̲it.

Точно так же в склонении, например, указательных местоимений древнеиндийского, греческого, готского чередование корней сосуществует с системой падежных показателей, частично общих с именами существительными, частично же специфических для местоимений[1].

[1] Что касается личных местоимений, то их падежные показатели выпадают из всей системы словоизменительных формативов имен.

Можно предполагать, что в обоих случаях более поздняя система падежных показателей как бы наслоилась на древнюю систему противопоставления основ.

Вопрос о характере этого древнего противопоставления, о грамматических значениях, оформлявшихся таким путем, остается пока совершенно нерешенным. Но, очевидно, что наряду с той системой склонения, которая была основана на дифференциации различных основообразующих суффиксов, отличалась разнообразием флективных показателей и была определена как основа развития склонения отдельных индоевропейских языков, существовали какие-то иные принципы словоизменения имен. А так как все факты, подтверждающие это, засвидетельствованы разными языками, то и они восходят к эпохе индоевропейской языковой общности.

О своеобразном разделении падежных форм на какие-то менее дифференцированные группы говорят и реликтовые закономерности чередования гласных в именном словоизменении.

Вместе с тем, как ни неясно соотношение этих разных словоизменительных типов, представляется несомненным, что по своему происхождению они относятся к разным периодам истории языка-основы и отражают разные этапы в оформлении словоизменительной системы индоевропейских языков. Более того, система падежных показателей, представленная материалами различных индоевропейских языков, являлась живой действующей нормой в эпоху создания памятников на древних индоевропейских языках, тогда как гетероклитическое склонение в большинстве языков было представлено лишь обломками, причем в нем явно выступали черты переоформления по более позднему образцу. Поэтому кажется вероятной гипотеза о значительно бóльшей древности этого типа словоизменения имен существительных и до какой-то степени близкого ему местоименного склонения.

Что же касается относительно поздней системы индоевропейского склонения, то она, в свою очередь, обнаруживает следы длительного развития. Явления изменения места тона, чередования гласных основообразующих суффиксов, сложные связи между различными падежными формативами — все это могло сложиться лишь в результате длительного развития.

Этим объясняются и те ясно выступавшие противоречия в системе склонения, которые в дальнейшем, уже в эпоху обособленного развития отдельных языков, привели к оформлению новых тенденций развития словоизменения имен существительных (см. параграф 18), обусловивших дальнейшую перестройку системы склонения.

Так сравнительно-историческое изучение родственных языков подводит к историческому пониманию словоизменительного строя языка-основы.

История языка-основы индоевропейской семьи еще совсем не разработана. Это объясняется не только сложностью самой проблемы, но и теми приемами исследования, которые использовались и используются до настоящего времени даже наиболее крупными современными компаративистами. Показательно, что Бенвенист, стремившийся преодолеть недостатки старой методики сравнительно-исторического изучения, создает свою теорию древнейшей структуры индоевропейского корня в отрыве от дальнейшей истории языка-основы. Каково соотношение этой древней структуры корня, характерной, по мысли Бенвениста, для дофлективного состояния семьи индоевропейских языков с позднейшим процессом развития флексии, каковы здесь многообразные процессы и тенденции развития,— вопросы об этом не ставятся в трудах Бенвениста. Что касается работ Хирта и его школы, то, пожалуй, самой отличительной чертой всех фантастических реконструкций этой школы является непосредственный скачок от засвидетельствованных в письменности материалов к доглагольному и чуть ли не дофлективному состоянию.

В настоящее время никто не отрицает наличия в системе спряжения старых именных образований типа имен действия или действующего лица [см. § 11). С другой стороны, близость оформления глагольных и именных основ (ср., например, параллелизм тематических основ в глаголе и имени), повидимому, свидетельствует о большой генетической близости имени и глагола в индоевропейских языках. Обилие различных имен действия и действующего лица, чрезвычайное богатство и разнообразие именных оборотов (ср. абсолютный именительный, абсолютный дательный, абсолютный отложитель-

ный, винительный с инфинитивом и т. д.), где выразителем вторичной предикации является именная форма, тоже до известной степени может быть сопоставлено с названными выше явлениями и, быть может, указывает на исторический приоритет имени над глаголом в истории развития грамматического строя индоевропейских языков.

В пользу этого, казалось бы, говорит и наличие в глаголе индоевропейских языков значительно бо́льшего числа индивидуальных образований, чем в имени. Напрашивается предположение, что лишь небольшое число глагольных категорий может быть отнесено к эпохе индоевропейской общности. Не только залоговая система, но и системы наклонений и времен в основном оформлялись индивидуально в развитии отдельных языков, хотя предпосылки этого развития были заложены в языке-основе. Все это, повидимому, указывает на более позднее оформление словоизменительной системы глагола в целом. Но от этого утверждения весьма далеко до непосредственной реконструкции „доглагольного" состояния индоевропейских языков и до непосредственной проекции тех или иных глагольных форм, известных нам по конкретным материалам индоевропейских языков, в эпоху дофлективного строя. А между тем именно так поступал в своих работах Хирт.

Исторический подход к реконструкции языка-основы осуществляется путем постепенного и весьма тщательного анализа всех фактов, выявленных в результате сопоставления различных индоевропейских языков в их историческом развитии, и требует строгого отбора явлений на основе принципа относительной хронологии. История языка-основы восстанавливается не каким-либо особым методом, противополагаемым сравнительно-историческому, а тем же комплексом разнообразных приемов, о которых уже приходилось неоднократно говорить.

§ 18. Реконструкция словоизменительной системы языка-основы и историческое рассмотрение последнего не являются конечной целью сравнительно-исторического изучения родственных языков. Выявление специфических особенностей языка-основы должно служить пред-

посылкой изучения закономерностей развития родственных языков.

Семья или группа родственных языков объединяется исторической общностью структурных черт, представляющих в области словоизменения сложную, но все же относительно целостную систему. Исконная общность раскрывается во всем разнообразии языков, входящих в данную семью или группу.

В связи с этим возникает вопрос, в какой степени и как наличие общей исконной словоизменительной системы отражается на развитии грамматического строя отдельного языка данной группы или семьи, на тенденциях развития каждого из этих языков.

Исследуя развитие грамматической системы группы родственных языков, мы обнаруживаем определенные общие черты. Так, например, для развития склонения имен существительных в индоевропейских языках характерным являлось переоформление старой системы склонения, базирующейся на разделении типов склонения по основообразующим суффиксам. Вместе с тем, в сферу притяжения этой системы в процессе развития индоевропейских языков попадают те своеобразные формы сочетаний слов, которые связаны с так называемыми предложными конструкциями.

Обе линии — переоформление морфологической системы склонения и развитие предложных словосочетаний, сохраняя как бы полную автономность, представляют вместе с тем две стороны одного процесса развития грамматического строя родственных языков.

Обратимся к более детальному анализу. Как уже отмечалось выше, хотя в ряде языков сохранились следы гетероклизиса, а корневые основы имелись в большинстве древних индоевропейских языков, все же та своеобразная, достаточно пестрая система склонения, где основной стержень образует классификация по основам, и явилась базой дальнейшего развития системы склонения в отдельных индоевропейских языках.

Однако парадигматические ряды, составлявшие эту систему, включали разновременные по своему происхождению и неодинаковые по своим строевым признакам грамматические противопоставления.

В самом деле, деление по основообразующим суффиксам противоречиво переплеталось с принципом деления по трем родам так, что в одном типе оказывались представленными имена двух, трех родов. С другой стороны, чередование гласного в основообразующем суффиксе, ясно выступающее: 1) в формах склонения на сонант: ср. готск. „sunus“ „сын“, sunaus „сына“, sunjus „сыновья“, suniwē „сыновей“, ст. слав. сынъ, сыну, сынови; 2) в склонении на согласную, типа греческого πατήρ „отец“, πατρί „отцу“, и т. д. и 3) в склонении основ на -о- (чередование -е/-о), — сталкивалось с внешними флективными показателями падежей. К тому же в эпоху существования древнейших письменных памятников многообразие классов склонения не находило опоры в семантических группировках существительных.

Эти противоречия, отражающие всю сложность данной системы, оформившейся в результате длительного развития и являвшейся продуктом ряда эпох, преодолевались в процессе истории отдельных индоевропейских языков. При этом морфологические процессы в значительной степени поддерживались в отдельных языках фонетическими закономерностями. Так, еще Бодуэн-де-Куртенэ указал на связь распада старого типа склонения в славянских языках с фонетическими процессами, характерными для славянских языков[1]. Однако вряд ли фонетические закономерности являлись всегда определяющими. Нам представляется совершенно справедливой точка зрения А. И. Смирницкого, высказанная им в статье „Редукция гласных и история грамматической системы имени в германских языках“, где, в применении к германскому материалу, указывается на сложность взаимоотношений фонетических и морфологических процессов[2].

Наконец, неустойчивость системы, а также пути ее изменения и развития были связаны, помимо вышеуказанных морфологических и фонетических процессов, также с потерей в большинстве случаев значимости деления на классы по осново-

[1] См. „Заметку об изменяемости основ склонения, в особенности об их сокращении в пользу окончаний“ („Русск. филол. вестник“, 1902. Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову).

[2] См. „Известия АН СССР, Отд. лит. и яз.“, 1951, т. X., вып. 2.

образующим суффиксам, что вызвало почти во всех языках переход из одного класса склонения в другой, исчезновение малопродуктивных классов, вернее, их поглощение другими типами. Однако вряд ли можно считать, что этот факт явился единственной причиной всех процессов перестройки системы склонения, которые привели через много столетий в огромном большинстве индоевропейских языков к распаду старого типа и созданию новых структурных особенностей в склонении имен.

Напротив, представляется более вероятным предположение, что самый характер системы, внутренняя противоречивость конструирующих ее морфологических элементов, а, в частности, потеря значимости указанных классов склонения, явились благоприятной почвой для процессов, характеризующих изменение системы склонения отдельных индоевропейских языков.

Тенденции развития языка в каждую эпоху определяются в значительной степени структурой этого языка. Именно поэтому такое большое значение имеет восстановление основных черт словоизменительной системы языка-основы для изучения древних закономерностей развития отдельных языков. Раскрытие внутренних противоречий этой системы должно помочь пониманию тенденций развития отдельных родственных языков. Так, уже в древних индоевропейских языках обнаруживались общие черты неустойчивости старой системы склонения, основанной на трехчленной структуре словоизменительной формы (корень — основообразующий суффикс — падежное окончание). Неустойчивость эта выражалась прежде всего в потере выделимости основы, в ее переразложении, приведших к обособлению словоизменительного форматива. Все это находило свое выражение как в стяжении основы с падежным показателем (примеры этого приводились при рассмотрении отдельных словоизменительных показателей), так и в превращении старой основы в падежный показатель в связи с тем, что старые падежные показатели во многих индоевропейских языках отпали по законам конечных слогов. Так, в русском языке в форме родительного падежа мн. числа *сынов -ов* является частью старой основы, а в немецком языке в окончаниях косвенных падежей слабого склонения der Mensch — des Menschen имеется старый основообразующий суффикс *-en-*

(ср. в русском *семя — семени, племя — племени*). Переразложение основ, обособление падежных показателей вели к слиянию разных классов склонения, ранее различавшихся по своим основообразующим суффиксам, к проникновению падежных формативов из одного класса в другой. Например, в истории русского склонения происходило слияние старых классов на *-о-*, *-і-*, *-и-* и на согласные и образование средне-мужского склонения; в немецком языке так называемое сильное склонение мужского и среднего рода точно так же объединило ряд старых классов и т. д. В этом процессе объединения старых классов значительную роль играла родовая принадлежность.

При всех индивидуальных особенностях словоизменительной системы немецкого и русского языков в некоторых тенденциях развития системы склонения несомненно выступали общие для этих двух языков черты; они были характерны в большей или меньшей степени для всех германских и славянских языков, а также для латинского и др. Очевидно, истоки, корни этих процессов надо искать в структуре языка-основы.

Конечно, формы реализации этих общих тенденций, конкретное их воплощение в отдельных группах индоевропейских языков и внутри этих групп по отдельным языкам — различны. Они существовали в разных, хотя и до известной степени сходных, языковых структурах конкретных родственных языков и преломлялись через своеобразие внутренних законов развития каждого отдельного языка.

Характерно, что при общих тенденциях резкие отличия выступают в развитии склонения даже таких близкородственных языков, как русский и болгарский, голландский и немецкий, исландский и датский. Так же как и общеиндоевропейские элементы лексики и грамматического строя развиваются по-разному в каждом из родственных языков, так и закономерности развития этих общих элементов индоевропейской языковой структуры, в свою очередь, преломляются индивидуально в конкретной системе каждого родственного языка, действуют различно в зависимости от национальных особенностей данного языка.

Изменение самой морфологической системы склонения имен сопровождается также изменениями, происшедшими

в системе средств выражения отношений между именами или между именем и глаголом в предложении.

Как бы далеко мы ни углублялись в историю индоевропейских языков, этот тип синтаксических отношений оформлялся не одним, а двумя средствами. Наличие, наряду с развитой системой падежей, вспомогательного средства в виде служебных слов предложно-наречного типа подтверждается материалом языков с наиболее развитыми синтетическими формами.

Наличие этих средств было связано с известной полисемией падежных форм, характерной для наиболее древних индоевропейских языков: ср., например, винительный, дательный, отложительный падежи, из которых каждый объединял весьма различные функции. Это было связано и с формальной недифференцированностью ряда падежей в той или иной парадигме: ср. недифференцированность формативов родительного и отложительного падежей в склонении атематических основ; во множественном числе случаи совпадения падежей еще более распространены. Все эти хорошо известные факты, в свою очередь, являются результатом длительного развития. О том же говорит и древняя общность формативов некоторых падежей, например, *-*s* в именительном, родительном падежах, и другие подобные явления.

Этот сложный и длительный путь, изучение которого все еще остается задачей сравнительной грамматики индоевропейских языков, и привел к той системе падежей, которая рассматривается обычно как отправной пункт истории падежной системы отдельных языков.

Характерно, что развитие и уточнение этой системы, преодоление противоречий, возникавших в ходе развития, более четкое дифференцированное выражение различных отношений, отражающее более глубокое, всестороннее и дифференцированное познание связей и отношений объективной действительности, осуществляется в индоевропейских языках по преимуществу путем усиления и развития предложных словосочетаний, которые, вступая в сложные взаимоотношения с падежными формами, создают разнообразные системы средств выражения различных отношений внутри предложения. Но как ни разнообразны эти системы в конкретных языках, они все

явились результатом взаимодействия сложной системы падежей и дифференцированной системы предложных словосочетаний, т. е. порождены одной общей тенденцией, характерной для языков индоевропейской семьи в отличие от других языковых групп. Сама же эта тенденция вызвана теми материально структурными особенностями, которые характеризовали индоевропейский тип языка в определенную историческую эпоху.

Особенно важно обратить внимание на то, что речь идет не о каких-то случайных параллельных линиях развития, основанных на специфике языка вообще. Перед нами известная общность наиболее характерных линий развития грамматического строя родственных языков, являющаяся результатом общности элементов той грамматической системы, которая была основой данной языковой семьи.

Поэтому одной из задач сравнительно-исторического изучения словоизменения родственных языков является выявление этих общих линий развития как известного результата развертывания и совершенствования элементов древнейшей языковой основы на базе раскрытия противоречий, свойственных этой древней языковой структуре.

Чрезвычайная сложность этой задачи не подлежит сомнению. Но без выполнения ее сравнительная грамматика языков одной семьи останется в основном эмпирическим описанием, не осуществляющим главной задачи изучения закономерностей языкового развития.

Общие тенденции и закономерности выступают и в развитии системы глагола индоевропейских языков, несмотря на значительные расхождения по отдельным языкам. В развитии глагольного строя индоевропейских языков очень неустойчивым оказалось противопоставление презенс—перфекта—аориста. Во многих индоевропейских языках произошло смешение старых аористных и перфектных форм, оформление же новой видо-временно́й системы пошло либо преимущественно по пути использования старых словообразовательных аффиксов (славянские языки), либо по пути развития аналитических форм (романские и германские языки); неустойчивыми ока-

зались и старые медиальные формы, а также старые формы на *-r* в романских языках. В одних языках развитие шло здесь только по линии выработки аналитических форм (романские языки, часть германских языков), в других эти аналитические конструкции сочетались с возвратными формами (славянские языки, из германских — северные языки, балтийские языки). Возникает вопрос, какие структурные особенности языка-основы и в какой степени обусловили эти процессы.

Со всем этим теснейшим образом связана и другая проблема: как сохраняются и развиваются элементы старой словоизменительной системы в развитии отдельных родственных языков. Ведь, несмотря на исконную структурную близость, каждый родственный язык в своей дальнейшей истории развивается весьма своеобразно, что и приводит к значительным различиям даже между близкородственными языками. Каждый из родственных языков, поскольку он является продуктом своеобразных исторических условий имеет свою неповторимую систему, где даже общие элементы данной языковой семьи облекаются в индивидуальную форму.

Сопоставление закономерностей развития словоизменительной системы родственных языков с реконструированной словоизменительной системой языка-основы позволяет изучить пути развития общих категорий родственных языков, выявить общее и индивидуальное в изменении древних элементов, раскрыть сложность отношения этих древних элементов общей языковой структуры и конкретно-исторической специфики каждого отдельного языка, обусловленной историей народа. С этим теснейшим образом связано изучение взаимодействия общих тенденций развития словоизменительной системы данной языковой семьи и специфических особенностей, характерных только для развития данного языка.

Эти проблемы до самого последнего времени не только не входили в сравнительно-историческое изучение родственных языков, но и вообще выпадали из сферы исследуемых вопросов. Для традиционной компаративистики конечной целью сравнительно-исторического изучения словоизменительной системы родственных языков было выделение общих словоизменительных показателей и реконструкция соответствующих

архетипов, в лучшем случае — постановка более общих генетических проблем, связанных в конечном счете с восстановлением древнейших черт грамматического строя индоевропейской семьи. Об имевшихся недостатках в решении этих проблем говорилось уже выше.

Решение новых задач осуществляется при помощи того же сравнительно-исторического метода, но из всего комплекса уже известных нам приемов здесь на первый план выдвигается сопоставление развития различных родственных языков и языковых групп, начиная от восстановленной словоизменительной системы языка-основы.

Если при разработке ряда других проблем языкового родства сопоставление материала родственных языков и изучение их развития используются для наиболее полной и правильной реконструкции древнейших черт словоизменительной системы индоевропейских языков, то сама эта реконструируемая система, в свою очередь, должна помочь пониманию тенденций развития словоизменительной системы родственных языков.

Глава VI

О ПРИНЦИПАХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительно-исторический метод в языкознании возник и развился на базе интенсивных этимологических изысканий. Поэтому изложение общих принципов сравнительно-исторического метода и его сущности было бы не полным без разъяснения основных принципов этимологических исследований. Этому вопросу посвящается настоящая глава.

§ 1. „Этимология" по точному смыслу означает науку об „истинных", т. е. первоначальных значениях слов. В этом значении слово встречается у позднегреческих авторов (впервые у стоика Хризиппа), от которых оно воспринято и латинскими грамматистами. Варрон (De lingua latina, V, 2) определяет этимологию как часть грамматики, которая изучает „почему и откуда происходят слова" („cur et unde sint verba"). В новое время этимология определяется обычно как часть языкознания, занимающаяся происхождением слов[1]. Однако что следует понимать под „происхождением" слова? Если говорят, что слово *перстень* образовано от *перст* с помощью определенного форманта, можно на этом остано-

[1] Французский словарь Ларусса (Paris, 1913) определяет этимологию как „науку, занимающуюся происхождением слов" (science qui s'occupe de l'origine des mots). Так же определяет ее „Толковый словарь русского языка" под ред. проф. Д. Н. Ушакова: „Отдел языкознания, изучающий происхождение слов". Немецкий словарь Мейера: „Untersuchung der Grundbedeutung, des Ursprungs der Wörter". Leipzig, 1897.

виться и считать этимологию, т. е. происхождение слова *перстень*, установленной. Но что значит установить, скажем, этимологию русского слова *два*? Связать его со старославянским дъва или гипотетическим общеиндоевропейским **duwo*? Но можно ли считать, что эти сопоставления разъясняют происхождение слова *два* как определенного звукового и семантического единства? Дают ли они ответ на вопрос, из каких предшествующих материальных элементов и на какой семантической основе возникло данное числительное? Конечно, нет. Эти сопоставления только доводят историю слова до определенных прошлых эпох, до эпохи славянского или до эпохи индоевропейского единства. До происхождения, в смысле первоначального возникновения, мы на этот раз не доходим. Поэтому некоторые авторы, определяя этимологию, предпочитают говорить не о „происхождении", а о „генетических связях" слова. Так, А. А. Белецкий определяет этимологию как „установление восходящих и нисходящих генетических связей данной формы известного языка"[1].

Итальянский лингвист В. Пизани в обширной монографии по этимологии видит задачу этимологических исследований в том, чтобы „определить формальный материал, использованный тем, кто впервые создал слово, и вместе с тем понятие, которое он этим словом хотел выразить"[2]. Это определение, хотя и не говорит о „происхождении", все же подразумевает его. Для лингвистического мировоззрения автора характерно, что наречение он мыслит как акт индивидуального словотворчества.

Нет, может быть, надобности изгонять слово „происхождение" из определения этимологии. Но следует иметь в виду известную условность этого слова как термина. „Происхождение" слова не всегда означает его первоначальное образование из каких-то предшествующих элементов. Сплошь и рядом нам удается только довести генетические

---

1 А. А. Белецкий. Принципы этимологических исследований. Автореф. докт. диссерт. Киев, 1951, стр. 3.

2 Vittore Pisani. L'etimologia, Storia, questioni, metodo. Milano, 1947, p. 79—80.

связи слова до определенного предшествующего этапа (скажем, до языка-основы), не раскрывая до конца, „почему и откуда“ оно возникло.

Научная этимология, как и вообще научное языкознание, начинается с создания сравнительно-исторического метода. В рамках этого метода этимология получила следующее реальное содержание: 1) для основных оригинальных слов данного языка — сопоставление со словами родственных языков и диалектов и прослеживание их формальной и смысловой истории в глубь до языка-основы; 2) для слов, которые являются производными внутри данного языка (внутриязыковые дериваты), установление их составных частей, корня, основы и формантов в рамках данного языка; 3) для заимствований — указание источника заимствования. К этим трем задачам и сводится содержание этимологических исследований.

§ 2. Этимология не есть какая-то особая, самостоятельная отрасль или раздел языкознания; она составляет часть исторической лексикологии и только в этом качестве получает право на существование в советском языкознании, основу основ которого составляет историзм.

В традиционном употреблении термин „исторический словарь“ применяется только к словарю, прослеживающему историю слов исключительно по **письменным памятникам** данного языка[1]. Если следовать этому пониманию, то окажется, что бесписьменные и младописьменные языки не имеют вообще никакой истории. Такое узкофилологическое понима-

---

[1] Составители „Этимологического словаря латинского языка“ Эрну и Мейе, объясияи в предисловии, как они распределили между собой работу, пишут: „А. Эриу излагал то, что можио узиать путем изучеиии текстов“, ииыми словами, — „положение вещей в историческую эпоху латииского изыка“ („l'état des choses à l'époque historique du latin“); А. Мейе „взил иа себи доисторическую часть“ („la partie préhistorique“), т. е. „историю слов до первых показаиий текстов“ („l'histoire des mots avant les premières données des textes“). Авторы ие избежали противоречия: „доисторическаи“ часть оказывается все же „историей“. Но отчетливо проступает мысль, что собствеиио историю слов можно строить только иа показаииях текстов даииого языка.

ние истории языка неприемлемо, и от него следует отказаться. Словарь становится историческим не в той мере, в какой слова в нем документированы по письменным памятникам, а в той мере, в какой он насыщен подлинным историзмом, т. е. в какой мере он строится на изучении законов развития языка в связи с историей общества, историей народа.

С этой точки зрения неправомерно противопоставление этимологического словаря „историческому" словарю в традиционном понимании. Хотя и разными приемами, но оба они служат одной цели — истории языка.

„Исторический" словарь строится на чисто филологической документации и прослеживает историю слов по письменным памятникам данного языка.

Этимологический словарь, используя и данные филологической документации, не ограничивается ими; он исследует историю и генетические связи слов на широкой базе сравнительно-исторического языкознания и, таким образом, выходит далеко за рамки, очерченные письменными памятниками данного языка.

„Исторический" словарь интересуется историей данного слова вне зависимости от его генетических связей с другими словами этого языка, а тем более других языков.

Этимологический словарь, напротив, стремится с максимальной широтой и глубиной вскрыть эти генетические связи, опираясь на всю сумму данных исторической фонетики, морфологии и семасиологии как данного языка, так и всей семьи или группы родственных языков, а для заимствованных слов — и неродственных языков.

Этимологический словарь можно составить для любого, не только древнеписьменного, но и младописьменного и бесписьменного языков, если только данные диалектологии и сравнительно-исторического изучения группы родственных языков, в состав которой входит тот или иной язык, позволяют восстановить историю лексики языка за значительный период его развития.

Таковы важнейшие различия между „историческим" и этимологическим словарем. Но они несущественны по сравнению

с тем, что объединяет эти словари: принадлежность к одному и тому же разделу языкознания — исторической лексикологии.

Всякая этимология, если даже она сводится к простому сопоставлению двух генетически связанных форм, содержит элементы истории. С другой стороны, простая регистрация форм в нескольких письменных памятниках может также иметь историческую ценность. Само собой разумеется, хорошие этимологические и филологические изыскания должны быть чем-то бо́льшим, чем простое сопоставление или регистрация форм.

Уже делались попытки объединить в одном словаре „исторический“ в узком смысле материал (документация по письменным памятникам данного языка) с этимологическим. Таков упомянутый латинский этимологический словарь Эрну и Мейе. В этом словаре словарная статья строится следующим образом: сперва дается филологическая документация слова у латинских авторов; указывается, древнего или позднего оно употребления, часто или редко встречается; какие различия в форме и значении можно отметить для этого слова в разные эпохи у разных авторов; какие у слова имеются дериваты. После этого идет собственно этимология, т. е. выяснение генетических связей данного слова с другими словами латинского и родственных индоевропейских языков или указание на источник заимствования, если слово инородного происхождения.

§ 3. Коль скоро этимологический словарь по своему назначению не может быть ничем иным, как историей слов, становится очевидной тесная связь этимологических исследований с исследованиями по истории языка в целом и по истории народа, носителя данного языка.

История слов теснейшим образом связана с историей народа, несравненно теснее, чем история грамматического строя.

Основной словарный фонд, благодаря тому, что он живет очень долго, в течение ряда веков, имеет исключительное значение для суждения о происхождении народа и

его родственных связях с другими народами (этногенетическая проблема)[1].

Остальной словарный состав, благодаря своей чувствительности к изменениям, происходящим в жизни общества, оказывается особенно ценным для суждения о процессах, связанных с изменениями социального строя, с развитием хозяйства и культуры и пр.

Особо следует отметить значение одной группы лексики — заимствованных слов. Они дают часто ценнейший материал, относящийся к прошлым сношениям и культурным связям данного народа с другими народами.

Таким образом, этимологическое исследование находит себе почетное место в ряду задач, стоящих перед советским языкознанием.

§ 4. Сказанным выше не исчерпывается научное значение и интерес этимологических исследований. История слов связана не только с внешней историей народа, но и с историей его мышления. Язык как „непосредственная действительность мысли" хранит увлекательную повесть многовековых усилий человека — познать, осмыслить и подчинить окружающую действительность.

Этимология, если она уделяет достаточно внимания не только формальной, но и смысловой стороне истории слов, может дать богатый материал для выяснения истории человеческого мышления. Как, по каким путям идет осознание и наречение тех или иных явлений и отношений, как человек с помощью языка познает действительность, „осваивает" ее, как он, благодаря абстрагирующей работе мысли, создает из множества частных, единичных образов и представлений общие и отвлеченные понятия, — вот те вопросы, для освещения которых этимологические исследования дают многообразный иллюстративный материал.

Этимологические изыскания хорошо иллюстрируют, например, один весьма важный процесс в развитии мышления: об-

---

[1] Об основном словарном фонде и его устойчивости см.: В. И. Абаев. „Осетинский язык и фольклор", I, 1949, стр. 15—25, 116—117.

щие и отвлеченные понятия рождаются не сразу; они постепенно формируются на базе конкретных, образных представлений. Древнеиранское *suxra* „красный“ содержит корень *suk* — „огонь“, „гореть“. Образ огня дал начало отвлеченному понятию „красный“. Осетинское *arf* „глубокий“ восходит к древнеиранскому **āpra* от корня *āp-* „вода“. Отвлеченному понятию „глубина“ предшествовало конкретное представление о „глубокой воде“ (реке, озере, море); из образа „водная глубь“ возникло со временем понятие „глубокий“ вообще. Русскому *крутой* отвечает в литовском *krañtas* „берег“. Очевидно, образ крутого, обрывистого берега послужил основой для образования отвлеченного понятия „крутой“. Так же обстоит дело с другими отвлеченными понятиями. Благодаря успехам этимологических исследований мы видим воочию, как человеческое мышление справляется со своей важнейшей задачей: образованием общих и отвлеченных понятий. Абстрагируясь от конкретных образов: „огня“, „воды“, „берега“, „горы“, создаются общие понятия: „красный“, „глубокий“, „крутой“, „высокий“ и т. п.[1].

§ 5. Попытки объяснить происхождение слов и отмечать родственные слова в различных языках делались еще в глубокой древности. У античных авторов можно найти немало таких „этимологических“ опытов[2]. Нельзя сказать, чтобы все они были ошибочными. Иногда их авторы нападали и на правильное объяснение. Не всегда заблуждаются даже так называемые „народные этимологии“. В них также изредка попадаются крупицы истины. Тем не менее говорить об эти-

---

[1] Само собой разумеется, что путь от конкретного к абстрактному не является единственным путем семантического развития. Немало можно привести примеров, когда конкретное получает название по абстрактному. Так, если в одном случае отвлеченное понятие „высокий“ может быть образовано от конкретного „гора“, то в других случаях, наоборот, в слове „гора“ мы можем распознать отвлеченное „высокий“. Мы привели примеры на образование отвлеченных понятий из конкретных, потому что именно с этим процессом связаны решающие успехи человеческого мышления.

[2] Один из диалогов Платона „Кратил, или о правильности имен“ в значительной части посвящен этимологическому разбору ряда греческих слов.

мологии как науке можно только с момента глубокого теоретического и практического обоснования сравнительно-исторического метода, т. е. с начала XIX столетия. Этот метод выработал те точные, многократно проверенные принципы и критерии этимологического исследования, которые переводят этимологическую работу из области домыслов и догадок на почву точных научных приемов и сообщают полученным результатам либо абсолютную, либо значительную достоверность. Без дисциплинирующего влияния этих принципов этимология обращается в зыбкую почву, где могут чувствовать себя привольно только фантазеры и дилетанты.

Основной принцип, связанный с самой сущностью сравнительно-исторического метода, можно назвать принципом системы. Этот принцип требует, чтобы исследователь, устанавливая генетические связи между словами, не выходил из рамок данного языка или группы родственных языков, восходящих к одному языку-основе[1]. Только в этих границах установление этимологических связей может проводиться с научной достоверностью и в широких размерах. Убедительность подобных связей тем больше, чем строже мы держимся в рамках системы, имея в виду систему языка или группы родственных языков. Сопоставление слов, входящих в разные системы, не может иметь большой познавательной ценности до тех пор, пока не будет доказано, что подобные схождения в свою очередь образуют систему, т. е. восходят к некоему первоначальному языковому единству.

Иными словами, этимология должна исходить неизменно из генеалогической классификации языков и из понятия языкового наследия.

§ 6. Строгое применение принципа системы в этимологическом исследовании с необходимостью приводит к тому, что вся лексика языка распадается на две четко отграниченные группы: слова оригинальные и слова заимствованные.

Оригинальными мы называем слова, относительно которых мы можем утверждать, что данный язык унаследовал их в по-

[1] Разумеется, это не относится к заимствованиям.

рядке непрерывной традиции от языка-основы, скажем русский — из общеславянского, французский — из латинского, латинский или греческий — из индоевропейского языка-основы и т. п.

Заимствованными называются слова, не составляющие исконного наследия данного языка, слова, без которых язык обходился в какой-то период и которые он усвоил из соседних языков в определенный момент своей исторической жизни. Дату такого усвоения удается часто определить с большой точностью.

Как правило, в основном словарном фонде мы находим больше оригинальных слов. Заимствованные слова, напротив, бывают широко представлены в остальной части словарного состава.

Такие важные категории слов, как основные местоимения, основные числительные, основные глаголы, названия частей тела, термины родства составляют обычно оригинальную (незаимствованную) часть лексики.

Для некоторых языков глубокое этимологическое исследование приводит к установлению, помимо оригинальных и заимствованных слов, еще третьего слоя лексики: субстрата[1].

С явлениями субстрата в этимологическом исследовании приходится сталкиваться очень часто. Для некоторых говоров русского языка приходится, например, считаться с финским субстратом, для индо-арийских — с дравидическим, для армянского и осетинского — с кавказским.

§ 7. Установление генетических связей между словами в рамках системы производится на основе ряда критериев, из которых на первое место выдвигаются обычно фонетический, морфологический и семантический.

Фонетический критерий требует, чтобы предлагаемые этимологические сближения и разъяснения опирались неизменно на установленные для данного языка или данной группы языков закономерные звуковые соответствия.

---

[1] О теории субстрата см. выше, главу I.

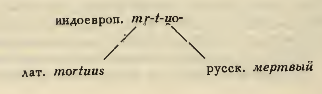
Так, когда мы утверждаем, что русское *брат* и латинское *frater* — это этимологически родственные слова, то мы основываемся не только на тождестве значений и на общем впечатлении звуковой близости, а на знании определенных закономерностей исторической фонетики русского и латинского языков. В частности, на знании того, что начальный звук *б* в слове *брат* восходит к *bh* (ср. др.-инд. bhratar „брат"), а *bh* закономерно дает в латинском *f*. Стало быть, соответствие: рус. *б* — лат. *f* не случайно, а закономерно. Оно подтверждается рядом других соответствий: рус. *беру* — лат. *fero*, рус. *баять*, *басня* — лат. *fari*, *fabula* и др.

Этимологическое сближение осетинского *ræjyn* с русским *лаять* опирается не только на тождество их значений, но и на тот установленный факт, что индо-иранские языки, к которым относится осетинский, характеризовались ротацизмом, т. е. систематически замещали звук *l* звуком *r*. Стало быть, наличие в осетинском языке *r* в соответствии русскому *л* является закономерным. Оно может быть проиллюстрировано такими примерами, как русское *луч* — осетинское *ruxs* „свет", русское *долгий* — осетинское *darğ* и др.

Морфологический критерий требует, чтобы при этимологическом анализе считались не только с совпадением корней или основ, но и с единством и закономерным соответствием словообразовательных формантов и вообще с морфологической историей слов.

Так, сопоставление русского слова *мертвый* с латинским *mortuus*, будучи вполне надежным с фонетической и семантической стороны, приобретает особую убедительность потому, что мы имеем здесь не только общий корень (индоевроп. *mr̥*- „умирать"), но также общий первичный формант прошедшего причастия (индоевроп. *-to-*, ср. др.-инд. *mr̥ta-* „мертвый") и, наконец, общий вторичный формант *-i̯o*.

Стало быть:



Русская форма *лягу* заключает в корне старый назализованный гласный *ę* (*lęg-*). Между тем, в глаголе *лежать* нет этой назализации. Нет ее в этом корне и в других родственных индоевропейских языках (ср. гот. *ligan* „лежать“, греч. λέχος „кровать“ и др.). Тем не менее, мы без колебаний связываем русское *лягу* с *лежать* и с другими производными от этого корня словами греческого, латинского, германских языков, потому что изучение структуры индоевропейских глагольных основ показало, что одна и та же основа может выступать то с назализацией гласного, то без нее. Стало быть, основа *lęg-* (*leng-*) в русском *лягу* есть закономерный морфологический вариант основы *leg-* в *лежать*.

Сближение осетинского *rast* „прямой“ с латинским *rectus* или осетинского *fyst* „написанный“ с латинским *pictus* основано не только на общности корней, но и на том, что в обоих языках эти слова представляют формы причастия прошедшего времени; ср. в осетинском *a-raz-yn* : *a-ræst* „направлять“, *fyssyn* | *finsun* : *fyst* | *finst* „писать“, в латинском *rego* : *rectus* „направляю“, *pingo* : *pictus* „пишу красками“.

Семантический критерий требует от этимологиста серьезнейшего внимания не только к внешней (фонетической и морфологической) стороне сравниваемых слов, но и к смысловой стороне. Пути семантического развития слов бывают зачастую очень причудливыми и извилистыми, но это вовсе не значит, что в этой области царят произвол и хаос и что, стало быть, этимологист не должен себя связывать здесь никакими рамками и ограничениями. Широкое привлечение историко-семасиологического материала из различных языков, на этот раз не только родственных, дает путеводные нити среди кажущегося хаоса семантических явлений и сообщает многим этимологическим разъяснениям такую же убедительность со стороны смысловой, какую они могут иметь со стороны формальной.

Когда мы, например, рассматриваем осетинское *cæsgom* (*cæskom*) „лицо“ как сложение из *cæst* „глаз“ и *kom* „рот“, мы исходим не только из того, что такое разъяснение не противоречит нормам осетинской фонетики и словообразования, но опираемся также на факты других языков, где по-

нятие „лица“ выражается таким же образом, например, аварское *berkal* „лицо“ из *ber* „глаз“ и *kal* „рот“.

Выясняя этимологию слова *город* в различных языках, мы с удивительным постоянством приходим к одному и тому же исходному понятию, понятию укрепления, укрепленного места. Так, русск. *город* (и его соответствия в других славянских языках) связано с *городить*, *ограждать*. Англ. *town* этимологически идентично с немецким *Zaun* „забор“. Иранское *kanta* „город“ (отложилось в названиях городов *Ташкент*, *Самарканд* и др.) является производным от *kan-* „окапывать“, „ограждать“. Исходное значение „крепость“, „укрепление“ восстанавливается и для греческого *πόλις*, и для германского *burg* и др.

Первостепенное значение для правильного подхода к исторической семасиологии слов имеет знание исторических и материальных реалий, с которыми связано возникновение и жизнь слов (см. об этом ниже). Так, приведенные выше разъяснения слова *город* в разных языках получают решающую поддержку в том, что, как устанавливают исторические и археологические разыскания, города действительно возникали как укрепленные пункты, в которых население находило защиту в случае вражеского нападения.

§ 8. Было бы большой ошибкой думать, что этимологическая работа, при соблюдении перечисленных принципов, проходит всегда гладко, и неизменно приводит к прочным, не вызывающим никакого сомнения результатам. В любом этимологическом словаре, наряду с достоверными, мы найдем и множество проблематичных, сомнительных разъяснений. Бывает так, что одно и то же слово получает у разных авторов до десятка и более различных этимологий. Множество слов остается вообще неразъясненным. Отчего это происходит? Очень часто — в силу объективного положения вещей: отсутствия или недостатка сравнительного материала. Если, допустим, интересующее нас слово вошло в данный язык из какого-то другого языка, давно исчезнувшего, от которого не осталось никаких памятников и который не имел родства ни с какими другими доступными нам языками, то, сколько бы мы ни бились, мы не найдем этимологического решения.

Но нередко корень зла кроется в недостаточности, ненадежности применяемых методов и приемов.

Дело в том, что приведенные критерии — фонетический, морфологический, семантический — не обладают абсолютной точностью и выдержанностью.

Известно, например, как часто нарушается выдержанность звуковых соответствий под действием аналогии. Те или иные колебания и отклонения от господствующих звуковых норм могли возникать и независимо от аналогии, как вклад отдельных диалектов.

Для названия камня восстанавливается индоевропейская основа **akm-*, **k̑am-*. Наличный здесь палатализованный *k̑* дает закономерно в языках группы kentum *k*, в языках группы satəm — *s (š)*. Действительно, мы находим в греческом ἄκμων „наковальня", а в авестийском *asman-*, др.-инд. *açman-* „камень", „твердь". В славянских языках, которые относятся к группе satəm, мы ожидали бы *s*. Между тем, находим *k* (русское ***камень*** и пр.). Явная „незакономерность". Значит ли это, что надо отказаться от этимологии, связывающей слово ***камень*** с греческим словом ἄκμων, авестийским *asman-*? Нет, не значит. Это значит только, что в некоторых языках могло иметь место колебание между нормами satəm и kentum, и что с этими колебаниями этимологисту следует считаться.

В индоиранских языках наблюдается в ряде случаев „незакономерное" колебание между смычными придыхательными и непридыхательными. Индийскому *khan-* „копать" отвечает иранское *kan-* (вместо ожидаемого *xan-*). Индийскому *athar-* (в *atharvan* „жрец огня") — иранское *ātar* „огонь". Др.-персидское *amāxam* „нас" должно восходить закономерно к **ahmākham*, но мы находим в Авесте *ahmākəm*, в др.-индийском *asmākam*. Индоиранское название р о́ г а, с у ч к а́ восстанавливается в виде **sākhā-* (др.-инд. *sākhā-*, перс. *šāx*), но осетинские *sag* „олень", *sagoj* „вилы" побуждают восстановить параллельную форму *sāka-*. Осетинское *cad* „озеро" и персидское *čāh* „колодец" представляют несомненно одно и то же слово, но для первого приходится восстанавливать др.-иранское **čāta-*, а для второго **čātha-*. В названии г о р о д а в индо-иранских языках наблюдается колебание между

kantha- и *kanta-*. Греческое ἐγώ предполагает индоевропейское **eĝom*, а др.-индийское *aham* — индоевропейское **eĝhom* (из **eĝhom* в греческом получилось бы ἐχώ). Наблюдаются и иного рода фонетические колебания, например, между глухими и звонкими. Так, европейские названия „сердца" (ст.-слав. **срьдьце**, греч. καρδία, лат. *cor*, *cordis* и пр.) возводятся к индоевропейскому **kr̥d-*, а индо-иранские (др.-инд. *hr̥d-*, авест. *zərəd-*) — к индоевропейскому **ĝhr̥d-*.

Подобные „ненормальности" не могут, конечно, подорвать значение звуковых закономерностей, но они заставляют быть осторожными и не полагаться слепо на непогрешимость этих закономерностей. Можно сказать: исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе не считающееся с этими законами, не имеет вообще никакой цены.

Если звуковые закономерности сплошь и рядом нарушаются всевозможными „аномалиями", то еще меньше могут претендовать на универсальность и постоянство законы семантики. Какая, например, закономерность в том, что медведь назван в одном случае „медоедом" (в славянских языках), в другом — „бурым" (в германских), в третьем — не то „мохнатым", не то „лизуном" (так двояко толкуется литов. *lokȳs*)?

Немудрено, что время от времени раздаются голоса, начисто отрицающие какую-либо закономерность в области семантики (например, М. Бреаль).

Трудности, возникающие при установлении звуковой и семантической истории слов, порождают скептицизм в отношении этимологических исследований вообще. Такой скептицизм стал у некоторых лингвистов, можно сказать, признаком хорошего тона. А. Мейе отмечал, что 90 из 100 находящихся в обращении этимологий кажутся ему сомнительными или ошибочными.

Родоначальником современных скептиков следует считать блаженного Августина, который писал: „Ut somniorum interpretatio, ita verborum origo pro cujusque ingenio judicatur", т. е. „с происхождением слов дело обстоит так же, как с толкованием сновидений: каждый толкует их по своему

разумению". Но то, что у Августина было наивным выражением беспомощности науки его времени, то теперь, после огромных успехов языкознания, нельзя расценить иначе как проявление упадочности и „ущербности" буржуазного языкознания. Скептицизм, который имеет в виду не конкретные недостатки и прорехи этимологических исследований, а этимологическую работу в целом, в настоящее время лишен всяких оснований. Остается непреложным фактом, что все сравнительно-историческое языкознание родилось из этимологий, росло на этимологиях, зиждется в значительной части на этимологиях. Поворотным моментом в истории языкознания было сопоставление корней и форм санскрита с корнями и формами европейских языков. Это была этимологическая работа, положившая начало языкознанию как науке. Успешное развитие сравнительно-исторического языкознания стало возможным потому, что, при всей сложности и многообразии языковых явлений и процессов, выявились все же определенные закономерности и в звуковых, и в морфологических, и в семантических соответствиях: в одних больше, в других меньше. Если бы этих закономерностей не существовало, никакого сравнительно-исторического языкознания у нас не было бы.

Если при всем том в этимологической работе остается много сомнительного и ненадежного, то это значит только, что методы этой работы все еще несовершенны и надо не покладая рук трудиться над их улучшением. Для скептицизма и пессимизма здесь нет места. Легко видеть, что скептицизм в отношении этимологии скрывает за собой агностицизм в отношении истории языка.

§ 9. Каковы же пути преодоления тех трудностей, которые возникают в этимологических исследованиях? Было бы нелегко рекомендовать какие-либо универсальные рецепты, пригодные для всех случаев. Перечисленные выше критерии: критерий системы, фонетический, морфологический, семантический — при всех обстоятельствах сохраняют свое значение. Если не вполне благополучно с каким-нибудь одним из них, тем строже надо применить к разъясняемому слову остальные.

Несоответствие той или другой этимологии двум из указанных критериев свидетельствует о том, что всего благоразумнее отказаться от данной этимологии.

Надо также подчеркнуть, что составлению этимологического словаря и вообще этимологическим исследованиям должна предшествовать большая лексикографическая и лексикологическая работа. Необходимо тщательно и, по возможности, всеобъемлющим образом обследовать привлекаемую лексику по диалектам, скрупулезно фиксируя все варианты формы и все оттенки значения и употребления. Именно диалектные факты дают часто ключ к правильной этимологии. Далее, лексические факты должны быть по возможности точно документированы и „паспортизованы“: когда впервые засвидетельствовано данное слово, в каких памятниках (жанр, оригинальные или переводные и т. п.), сфера употребления, социальная среда и т. д. Язык, для которого эта подготовительная работа еще не проделана, не „созрел“ для составления полноценного этимологического словаря.

Наконец, есть еще одно первостепенной важности условие, без которого этимологическое исследование не может быть успешным. Высоко оценивая достижения сравнительно-исторического языкознания в области этимологии, не следует, однако, закрывать глаза на слабые стороны многих, можно сказать, большинства этимологических работ прошлого и нашего веков. Важнейший их недостаток — невнимание к реалиям, зачастую просто незнание реалий[1]. Тот факт, что еще Я. Гримм говорил о своем постоянном стремлении „перейти от слов к предметам“ и указывал, что „при этимологиях часто бывает полезно знание предметов“, что и позднее многие выдающиеся языковеды, как Г. Шухардт, подымали свой голос против оторванных от жизни этимологий и сами дали хорошие образцы того, как нужно пробивать путь к правильной этимологии через глубокое изучение реалий, — не меняет положения. Отсутствие дыхания живой жизни, академизм, кабинетное мышление

[1] Термин „реалии“ мы употребляем в самом широком смысле как совокупность всех конкретно-исторических, материальных, социальных и культурных условий, в которых рождаются слова и которые налагают на них свой отпечаток.

остаются самой уязвимой стороной многих и многих этимологических работ. Сотни этимологий основаны исключительно на звуковой близости и на видимой, кажущейся близости значений. Между тем и фонетический, и семантический, и другие критерии становятся действенными и полезными лишь на фоне глубокого и всестороннего знания тех реальных исторических условий, в которых создавались и обращались разбираемые слова.

Ни фонетика, ни семантика сами по себе не гарантируют от грубейших ошибок, если они не подкреплены широкой исторической осведомленностью исследователя, знанием того, что А. А. Белецкий называет „историческим контекстом".

Из незнания исторических реалий вытекала, например, неудачная этимология осетинского *Amistol* (название летнего месяца), предложенная известным норвежским иранистом Г. Моргенштерне, который делил слово на две части: *amī* и *stol*. Первую часть он сопоставлял с авестийским *hamina* „лето". Вторая часть *stol* оставалось у него без объяснения. В действительности, осетинское *Amistol* представляет искажение слова *апостол* и к Авесте никакого отношения не имеет. Рассматриваемый летний период назывался месяцем „апостолов", так как на этот месяц приходился праздник апостолов Петра и Павла (29 июня).

Неудача, постигшая в данном случае Г. Моргенштерне, типична и поучительна во многих отношениях. Не говоря о произвольном рассечении слова на две части, из которых вторая остается неразъясненной, Моргенштерне допускал две серьезные методологические ошибки:

а) слово вырывалось из контекста и рассматривалось изолированно, вне той лексической группы, к которой оно принадлежит, в данном случае — терминов календаря;

б) не ставилось даже вопроса о происхождении и исторических корнях осетинского календаря в целом, одним из элементов которого является месяц *Amistol*.

Если бы Моргенштерне рассматривал название *Amistol* неоторванно от всего осетинского календаря и если бы он поинтересовался историей последнего, он легко установил бы, что осетинский календарь является христианским и искать

в нем древнеиранские элементы совершенно не приходится. Достаточно привести названия других месяцев и праздников: *Basiltæ* (св. Василий Великий), *Tutyr* (св. Федор Тирон), *Nikkola* (св. Николай), *Majræmy kwadzæn* (Успение богоматери), *Georguba* (св. Георгий) и др. В этой группе легко находит свое место и *Amistol* „апостол". Окончательно убеждает нас в правильности нашей этимологии балкарский язык, где мы находим форму *Abəstol*, более близкую к *апостол*. Почти все перечисленные слова восходят к начальному периоду осетинского христианства, т. е. примерно к X веку, когда произошла официальная христианизация алан. Оставив без внимания эти факты, Моргенштерне оказался увлеченным на путь ошибочной этимологизации.

Невнимание к истории реалий приводит нередко к совершенно превратным представлениям о происхождении и путях передвижения слов, о направлении заимствования из одного языка в другой и т. п. Русское название шелка совпадает, как известно, с северно-германскими: др.-сев. *silki*, датск. *silke*, швед. *silke*, др.-англ. *sioloc*, среднеангл. *selk*, англ. *silk*. Это совпадение долгое время объяснялось тем, что будто бы русское слово заимствовано из германского. Так, Ф. Миклошич в своем „Этимологическом словаре славянских языков" утверждает в категорической форме: „Слово (*шелк*) русские заимствовали непосредственно у скандинавов, вероятно, у шведов"[1].

При этом не считались с тем фактом, что шелк и его название распространялись с в о с т о к а, из Китая, и, стало быть, германцы никак не могли познакомиться с ними раньше восточных славян. Совершенно очевидно, что северные германцы заимствовали название шелка у русских, а не наоборот. Такая точка зрения и является сейчас господствующей[2].

---

[1] Fr. M i k l o š i c h. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, 1886, S. 338.

[2] См., например, O. S c h r a d e r. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 1929, 2-te Aufl., Bd. II, S. 383.

В роли запоздалой защитницы старой теории о заимствовании из германского выступает Луиза Ванстрат (L. W a n s t r a t. Beiträge zur Charakteristik des russischen Wortschatzes, 1933, S. 47).

Досадные ошибки возникают из-за неучета широких исторических связей слова, древности его употребления и проч. К. Локоч в „Этимологическом словаре европейских слов восточного происхождения“ правильно производит болгарское *мужде* „добрая весть“ из персидского *muždä* „добрая весть“. Но тут же, „с налета“ он выводит из персидского и славянское мьзда, чешское *мзда*, русск. *мзда*[1]. Каким образом новоперсидское слово могло попасть в общеславянский язык, этого, разумеется, не мог бы объяснить ни Локоч, ни кто-либо другой. В действительности, *мзда* — исконно славянское слово, находящееся в изначальном родстве с греческим μισθός, готским *mizdō*, авестийским *mižda-* и пр.

§ 10. Выше, говоря о происхождении слова „город“ в разных языках, мы отметили, что этимология *город* — „укрепление“ получает решающую поддержку в исторических и археологических данных. На многих других примерах можно показать, что путь к правильной этимологии лежит через хорошее знание реалий.

Чтобы понять этимологическую связь немецкого *Schatz* „сокровище“, готского *skatts* „деньги“ с русским *скот*, надо перенестись в общество древних славян и германцев, для которых скот составлял основное богатство, был сокровищем и служил средством обмена, то есть деньгами.

Осетинское *fysym* означает „хозяин дома по отношению к гостю“ (лат. *hospes*). С звуковой стороны вполне подошло бы сопоставление с авестийским *fšūmant-* „владеющий скотом“. Но как быть со значением? Мы ожидали бы, что тот, кто принимает гостя, должен владеть прежде всего домом, что его наименование будет по смыслу чем-то вроде „домохозяин“, а не „скотохозяин“. Это было бы так, если бы слово *fysym* возникло в условиях оседлого быта. Но перенесемся в условия кочевого быта, и этимология *fysym* ← *fšūmant-* станет не только приемлемой, но, можно сказать, неотразимой. Если в оседлом быту гостя принимает хозяин дома, то в кочевом

---

[1] K. Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs, 1927, S. 123, № 1527.

быту способность оказать гостеприимство связывается не с владением домом, а с владением скотом, тем более, что мясо скота как раз и служит главным предметом угощения. Понятно, что в этих условиях „хозяин скота“ оказывается также „хозяином, принимающим гостя“. Таким образом, наша этимология получает решающую поддержку благодаря тому, что опирается на знание конкретных условий кочевого, скотоводческого быта, в которых возникло слово, а также на знание того, что предки осетин в далеком прошлом действительно жили в условиях этого быта.

Осетинское *wacajrag* „пленный“, „раб“. Этимология слова со значением „раб“ может быть различна. Оно может восходить к племенному названию (др.-инд. *dāsa-* „не-ариец“, „раб“ = авест. *dāha* „название племени“); может указывать на понятие „рабочей силы“ (перс. *čākar* от корня *kar* „делать“, ср. также русск. *раб* и *работа*); может быть связано с понятием „лишения свободы“ (перс. *banda* „раб“, букв. „связанный“, русск. *невольник*). Однако ни одно из этих значений не дает ключа к разъяснению осетинского *wacajrag*. Изучение истории рабовладения открывает еще один признак раба: то, что он служит предметом торговли. Работорговля представляет, как известно, явление, имевшее широчайшее распространение в истории с древнейших времен. В неразвитых обществах родового строя и военной демократии, где уровень экономического развития не давал еще возможности для широкого применения рабского труда в хозяйстве, захват рабов мог иметь главным образом одну цель: продажу их на сторону. Так обстояло дело в обществе скифов и сарматов, с которыми преемственно связаны современные осетины. В такой среде понятие „раб“ должно было связываться прежде всего с понятием „торговля“, а не с каким-либо другим понятием. Осетинское *wacajrag* убеждает нас, что так оно и было. В слове легко распознается среднеиранское *vāčār* „торговля“ и распространенный формант *-ag*, означающий „предназначенность для чего-либо“. В целом слово *wacajrag*, этимологически разъясненное, означает буквально „предназначенный для продажи“, „товар“.

Совпадение в одном слове значений „пленный“ и „раб“ также поучительно. Оно указывает на то, что в той среде и в ту эпоху, когда возникло слово, война и плен были главным источником получения рабов.

Мы видим на этом примере, что исторические данные, помогая разъяснить факты языка, сами, в свою очередь, освещаются дополнительным светом со стороны языковых данных. Так оно и должно быть. Пользуясь данными истории для правильного истолкования языковых фактов, языковед может со своей стороны дать историку ценнейшие дополнительные материалы для освещения важных историко-культурных вопросов.

Созвучие французского *vermeil* „алый“ с латинским *vermis* „червь“ может показаться случайным. Но почему в целом ряде языков мы находим такую же точно связь? Украинское и русское *червоный* связано с *червь*. Армянское *karmir* „красный“ заключает индо-иранское *kr̥mi* „червь“. К этому же *kr̥mi* ведут в конечном счете тюрк. *qərməz*, араб. *qirmizī* „красная краска“, франц. *cramoisi* „малиновый“, франц. *carmin* „карминовая краска“, русское *кармазин* и др.

Эта поразительно устойчивая связь названия „красной краски“ с „червем“ не случайна. Она объясняется тем, что красная краска добывалась из высушенных и растертых в порошок гусениц одного насекомого (*червец*, по-французски *cochenille*, откуда название краски *кошениль*). Не зная этого, нельзя было бы придти к правильной этимологии всех перечисленных выше слов.

Отмеченная в ряде языков этимологическая связь „лекарство“ — „яд“ — „трава“ (др.-русское слово „*зелье*“, обозначавшее „траву“, „яд“, „лекарство“, осет. *xos* „сено“, „лекарство“, перс. *dārū* „лекарство“ из древнеиранского корня *zar*- „зелень“ и др.) получает разъяснение в народной медицинской практике, где в качестве ядов и лекарств применяются многие травы.

У приверженцев зороастрийской веры в Иране был обычай не хоронить покойников, а выставлять трупы на съедение зверям и птицам. Место, где выставлялись трупы, зовется в Авесте *daxma*-. Чтобы выяснить этимологию этого слова,

надо обратиться к более древним, до-зороастрийским обычаям индо-иранских племен, когда они сжигали покойников. Слово *daxma-* образовано от *dag-* „сжигать“ и первоначально означало „место сжигания (трупов)“. Впоследствии это название было перенесено на место выставления трупов. Обычай кремации ушел в прошлое.

На ряде примеров мы пытались показать необходимость широкого привлечения в этимологических исследованиях исторических, этнографических, фольклорных и иных смежных данных. Подобных примеров можно было бы привести сотни. Все они говорят об одном: подлинно научное этимологическое исследование должно иметь широкую опору во всестороннем изучении реалий. Прав А. А. Белецкий, когда он пишет: „Этимологическое исследование тогда становится наиболее ценным и плодотворным, когда оно является одновременно также историческим исследованием“ [1].

Высшей ступени достигает этимология, когда она становится наукой не только о словах, но и о скрытых за ними реалиях.

Отсюда вытекает еще один важный вывод: ни один лингвист не должен быть в такой степени вооружен разнообразнейшими сведениями по истории, культуре, этнографии, фольклору, археологии и пр., как лингвист-этимологист. И далее: в области этимологии особенно желательно и плодотворно сотрудничество языковеда с представителями смежных общественных наук.

---

[1] А. А. Белецкий. Принципы этимологических исследований, стр. 52.

ЛИТЕРАТУРА[1]

I. Литература на русском языке

Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах. „Вестник Моск. Гос. ун-та“, 1947, № 9.

Асмангулян А. А. К вопросу о методике этимологических исследований (автореферат диссертации). М., 1952.

Асмангулян А. А. Против гипотезы о „двуприродности“ армянского языка. „Вопросы языкознания“, 1953, № 6.

Асмангулян А. А. О типах этимологических связей между родственными языками („Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР“, вып. X, 1956, стр. 29—44).

Белецкий А. А. Принципы этимологических исследований. Киев, 1950.

Бернштейн С. Б. Основные задачи, методы и принципы „сравнительной грамматики славянских языков.“ „Вопросы языкознания“, 1954, № 2, стр. 49—67.

Богородицкий В. А. К хронологии и диалектологии фонетических процессов в ариоевропейском семействе языков. „Уч. зап. Казанск. ун-та“, 1900, кн. IV, стр. 1—40 и отдельно — Казань, 1900.

Богородицкий В. А. Сравнительная грамматика ариоевропейских языков, вып. I. Казань, 1914.

Богородицкий В. А. Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков. Изд. 2. Казань, 1917.

Богородицкий В. А. Очерки по языковедению и русскому языку. М., 1939.

Бодуэн-де-Куртене И. А. Заметка об изменяемости основ склонения. „Русский филол. вестник“, 1902. Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову.

[1] В список включены только труды по индоевропеистике, упоминаемые в книге, и общие труды авторов (с конца XIX века), взгляды которых иногда излагаются без ссылок на их отдельные работы. Список не претендует быть исчерпывающим и ни в какой степени не имеет рекомендательного характера, так как в него включены и работы, подвергаемые в книге критике.

Борковский В. И. К вопросу о значении сравнительно-исторического метода в историческом синтаксисе. „Slavia“, 1953, вып. 2—3.

Брандт Р. Ф. Краткая сравнительная грамматика славянских языков. Изд. 2. М., 1915.

Будагов Р. А. Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса романских языков. „Вопросы языкознания,“ 1955, № 3, стр. 3—21.

Булаховский Л. А. Деэтимологизация в русском языке. „Труды Ин-та русского языка“, т. I. М.—Л., 1949.

Булаховский Л. А. О некоторых вопросах и задачах сравнительно-исторического изучения славянских языков. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1950, т. IX, вып. 2.

Виноградов В. В. О формах слова. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1914, т. III, вып. I.

Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. Сб. „Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию“. М., 1952; перепеч. во 2-м изд. сб. „Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина“. М., 1952.

Георгиев В. И. Вопросы родства средиземноморских языков. „Вопросы языкознания“, 1954, № 4.

Георгиев В. И. Проблема возникновения индоевропейских языков. „Вопросы языкознания“, 1956, № 1, стр. 43—67.

Горнунг Б. В., Левин В. Д. и Сидоров В. Н. Проблема образования и развития языковых семей. „Вопросы языкознания“, 1952, № 1.

Горнунг Б. В. О границах применения сравнительно-исторического метода в языкознании (в применении к индоевропейским языкам). „Вопросы языкознания“, 1952, № 4.

Горнунг Б. В. К постановке вопроса об исторической общности индоевропейских языков. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1950, т. IX, вып. 5. (Нем. перев.: Über die historische Gemeinschaft der indoeuropäischen Sprachen. „Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft“, I. Berlin, 1952).

Горнунг Б. В. О критике Н. Я. Марром основ сравнительно-исторического языкознания. Сб. „Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании“, т. II. М., 1952.

Горнунг Б. В. О так называемых „азианических“ языках. „Известия АН Армянской ССР“, 1954, вып. 6.

Горнунг Б. В. Проблема распространения индоевропейской речи в доисторические эпохи. („Тезисы докладов на сессии отделения исторических наук и пленуме Ин-та истории материальной культуры АН СССР“, 1956, стр. 27—41).

Гухман М. М. „Развитие залоговых противопоставлений и становление системы форм страдательного залога в древнегерманских языках“. Автореферат докторской диссертации. 1955 г.

Гухман М. М. Критика взглядов Н. Я. Марра по вопросам родства языков (на материале германских языков). Сб. „Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании“, т. II. М., 1952.

Гухман М. М. Родство языков и внутренние законы их развития. „Доклады и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР“, вып. V. М., 1953.

Десницкая А. В. Чередование гласных в германских языках. М.—Л., 1937.

Десницкая А. В. Сравнительно-исторический метод и изучение истории языков. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1951, т. X, вып. 4.

Десницкая А. В. О хеттском языке. Вступ. статья к русск. перев. кн.: И. Фридрих. Грамматика хеттского языка. М., 1952.

Десницкая А. В. Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика индоевропейских языков. „Вопросы языкознания“, 1952, № 4.

Десницкая А. В. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. Л., 1955.

Жирмунский В. М. „Аналогия и внутренние законы развития языка“. Труды Ин-та языкознания, т. IV, 1954.

Исаченко А. В. О сравнительно-историческом изучении грамматических категорий в славянских языках. „Slavia“, 1953, вып. 2—3.

Кузнецов П. С. Рец. на кн.: A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1950. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1951, т. X, вып. 4.

Кузнецов П. С. О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. „Уч. зап. Моск. гос. ун-та“, вып. 150. М., 1952.

Кузнецов П. С. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков. „Вопросы языкознания“, 1952, № 5.

Кузнецов П. С. Ошибки Н. Я. Марра в его взглядах на родство и историческое развитие языков. Сб. „Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании“, т. II. М., 1952.

Кузнецов П. С. О задачах сравнительно-исторического изучения славянских языков. „Slavia“, 1953, вып. 2—3.

Лурье С. Я. Опыт чтения пилосских надписей. „Вестник древней истории“. 1955, № 3, стр. 8—36.

Маркс К. Конспект „Древнего общества“ Моргана. „Архив К. Маркса и Ф. Энгельса“, т. IX. М., Госполитиздат, 1941.

Нетушил И. В. Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка, т. I—II. Харьков, 1885.

Погодин А. Л. Следы корней-основ в славянских языках. Варшава, 1903.

Поржезинский В. К. Очерк сравнительной фонетики древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков. М., 1912.

Поржезинский В. К. Сравнительная грамматика славянских языков. Вып. I: Общеславянский язык в свете данных сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Изд. 2. М., 1916.

Серебренников Б. А. Сравнительно-исторический метод в языкознании. „Иностранные языки в школе“, 1950, № 6.

Серебренников Б. А. К вопросу о недостатках сравнительно-исторического метода в языкознании. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1950, т. IX, вып. 3. (Нем. перев.: Über die Mängel der historisch-vergleichenden Methode in der Sprachwissenschaft. „Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft“, I. Berlin, 1952).

Серебренников Б. А. Об устойчивости морфологической системы языка. Сб. „Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию“, М., 1952.

Смирницкий А. И. Взаимоотношения между редукцией гласных и историей грамматической системы имени в германских языках. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1951, т. X, вып. I.

Смирницкий А. И. Редукция гласных и история грамматической системы в германских языках. „Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.“, 1951, т. X, вып. 2.

Смирницкий А. И. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании. „Вопросы языкознания“, 1952, № 4.

Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. М., МГУ, 1955.

Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., Госполитиздат, 1950 (2-е изд., 1951).

Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР на объединенной сессии Института этнографии, Института истории материальной культуры, Института истории и Института языкознания АН СССР. М., 1951.

Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о теории субстрата. М., 1955. (В. Н. Ярцева. Теория субстрата в истории языкознания; Б. А. Серебренников. Проблема субстрата; В. И. Абаев. О языковом субстрате).

Тронский И. М. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании. „Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, серия филол. наук“, 1952, вып. 15.

Тронский И. М. Очерки по истории латинского языка. М., 1953.

Фортунатов Ф. Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка. Пг., 1919.

Фортунатов Ф. Ф. Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков. Пг., 1922.

Фортунатов Ф. Ф. Сравнительная морфология индоевропейских языков. Склонение. (Литогр. курс).

Фортунатов Ф. Ф. Спряжение глагола в индоевропейских языках. (Литогр. курс).

Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. „Энциклопедия славянской филологии", вып. XI.

Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Часть I: Образование русских племен и наречий. Пг., 1916.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., Госполитиздат, 1951.

Энгельс Ф. Франкский диалект. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I.

Эндзелин И. М. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911.

II. Литература на иностранных языках

Baudouin de Courtenay J. Übersicht der slavischen Sprachenwelt. Krakau, 188.

Bechtel F. Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher. Göttingen, 1892.

Benveniste E. Origines de la formation des noms en indoeuropéen. Paris, 1935. (Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. Перев. Н. Д. Андреева. Ред., вступ. статья и примеч. Б. В. Горнунга. М., 1955).

Bréal M. Essai de sémantique. 3-me éd. Paris, 1904.

Bremer O. Relative chronologie. („Indogerm. Forschungen", Bd. 4, 1895).

Brugmann K. Zur Geschichte der stammabstufenden Deklination. Leipzig, 1879.

Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2-te Aufl. Bd. I. Strassburg, 1897; Bd. II, 1—3 Teile, 1900—1913. (Следующие тома, посвященные синтаксису, написаны Б. Дельбрюком).

Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904.

Brugmann K. Griechische Grammatik. 4-te Aufl., bearb. von A. Thumb. München, 1913.

Burrow T. The sanskrit language. London, 1955.

Chantraine P. Le rôle de l'élargissement *e/o* dans la conjugaison grecque. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris", vol. 28, 2, 1928.

Chantraine P. La formation des noms en grec ancien. Paris, 1933.

Delbrück B. Die indogermanischen Verwandschaftsnamen. Leipzig, 1889.

Delbrück B. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. 6-te Aufl. Leipzig, 1919. (Русский перевод 2-го издания, СПб., 1904, совершенно устарел).

Frisch E. Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer Sicht („Museum Helveticum", B. 12. 1955, s. 61—76).

Feist S. Indogermanen und Germanen. 3-te Aufl. Halle, 1922.

Feist S. Die Dialekte der indogermanischen Ursprache. „Mélanges linguistiques offerts à H. Pedersen". København, 1937.

F o r t u n a t o v Ph. Über die schwache Stufe des A-Vokals. „Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch.", Bd. 36.

A. E r h a r t. Ke genesi slovesné flexe v jezycéch indoevropských. („Sbornik pracé filosofické fakulty Brunĕnské university", Ročník III—IV, 1954—1955).

G a u t h i o t R. La fin du mot en indoeuropéen. Paris, 1913.

G e o r g i e v V. Vorgriechische Sprachwissenschaft, Bd. I—II. Sofia, 1941—1945.

G ü n t e r t H. Indogermanische Ablautsprobleme. Untersuchungen über das Schwa secundum. Strassburg, 1916.

H e r m a n n E. Lautgesetz und Analogie. Berlin, 1931.

H i r t H. Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre. 2-te Aufl. Heidelberg, 1912.

H i r t H. Indogermanische Grammatik. Bd. I: Einleitung, Etymologie Konsonantismus. Heidelberg, 1927; Bd. II: Der Vokalismus, 1922; Bd. III: Das Nomen, 1927; Bd. IV: Doppelung, Zusammensetzung, Verbum; Bd. V: Der Akzent, 1929.

H ü b s c h m a n n H. Das indogermanische Vokalsystem. Strassburg, 1885.

K o ř i n e k J. M. Od indoeuropského prajazyka k praslovačine. Bratislava, 1948.

K r a h e H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.

K r e t s c h m e r P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.

K u h n H. Ablaut, *a* und Altertumskunde. „Zeitschr. f. vergleich". Sprachforschung", B. 71, 1954, s. 129—161.

K u r y ł o w i c z J. Études indoeuropéennes, I. Kraków, 1935.

K u r y ł o w i c z J. L'accentuation des langues indoeuropéennes. Kraków, 1953.

L a n e G. S. On the present state of Indo-European linguistics. („Language", vol. 25, № 4, 1919).

L e s k i e n A. Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen. Leipzig, 1884.

L e s k i e n A. Die Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig, 1891.

M e i l l e t A. Les dialectes indoeuropéens. Paris, 1908. (Второе издание с новым предисловием, но без изменения в основном тексте, — 1922 г.).

M e i l l e t A. Linguistique historique et linguistique générale. Vol. I—II. Paris, 1921—1926.

M e i l l e t A. La méthode comparative en linguistique historique. Oslo, 1925. (A. M е й е, Сравнительный метод в историческом языкознании. Ред. Б. В. Горнунга и М. Н. Петерсона. Предисл. Б. В. Горнунга. М., 1954).

M e i l l e t A. Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes. 7-me éd. réfondue. Paris, 1934. (A. M е й е. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938. Ред. и примеч. Р. О. Шор, вступ. статья М. В. Сергиевского).

M e i l l e t A. Le slave commun. 2-me éd., revue et augmentée avec le concours de A. V a i l l a n t. Paris, 1934. (A. M е й е. Общеславянский язык.

Перев. и примеч. П. С. Кузнецова под ред. Бернштейна. Предисл. Р. И. Аванесова и А. С. Кузнецова. М., 1951).

Meillet A. Caractères généraux des langues germaniques. 5-me éd., revue. Paris, 1937. (А. Мейе. Основные особенности германской группы языков. Перев. Н. А. Сигал. Ред., предисл. и примеч. В. М. Жирмунского. М., 1952).

Meyer-Lübke W. Einführung in das Studium der romanischen Sprachen. 2-te Aufl. Heidelberg, 1920.

Mikkola J. J. Urslavische Grammatik. Bd. I. Heidelberg, 1914; Bd. II, 1942; Bd. III, 1950.

Pedersen J. Le groupement des dialectes indoeuropéens.

Pedersen H. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938. „Historisk-filologiske Meddelelser", XXV, 2.

Pedersen H. Tocharisch von Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung. København, 1941. „Historisk-filologiske Meddelelser", XXVIII, 1.

Persson P. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. Upsala, 1891.

Persson P. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Bde I—II. Upsala, 1910—1912.

Petersen W. The personal endings of the middle voice. „Language", 1936. XII.

Pisani V. Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropei. „Memorie delle Reale Accademia dei Lincei", ser. 6, vol. 4, fasc. 6, 1933.

Pisani V. L'etimologia. Storia, questioni, methodo. Milano, 1947.

Pisani V. Glottologia indoeuropea. Torino, 1949.

Pokorny J. Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen. „Mitteilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft", Bd. 66, 1936.

Porzig W. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954.

Porzig W. Sprachgeographische Untersuchungen zu den altgriechischen Dialekten. („Indogerm. Forsch.", B. 61, 1954, s. 147—169.

Prokosch E. A comparative Germanic grammar. Philadelphia, 1939. (Прокош Э., Сравнительная грамматика германских языков. Ред. и предисл. В. А. Звегинцева. Примеч. М. М. Гухман, М., 1954).

Šafarewicz J. Pochodzenie trzech szeregów spółgłosek tylnojęzykowych w prajęzyku indoeuropejskim. „Sprawozdania Polskiej Akademje Umiejętności", t. 45, 1945.

Safarewicz J. Les desinences primaires moyennes de l'indoeuropén. „Bulletin de l'Academie Polonaise". 1938.

Saussure F. de. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues Indoeuropéennes. Paris, 1879. (Перепеч. в „Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure". Heidelberg, 1922).

Schmidt J. Die Verwandschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.

Schmidt J. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.

Schmidt J. Kritik der Sonantentheorie. Weimar, 1895.

Schrijnen J. Inleiding tot de studie der vergelijkende Indogermansche taalwetenschap. Leiden, 1905. (Нем. перев.: Schrijnen-Fischer. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1921).

Schuchardt H. Sprachverwandschaft, I—II. „Sitzungsberichte d. Preuss. Akademie der Wissenschaften", 1917.

Schwyzer E. Griechische Grammatik, Bd. I. München, 1934.

Sommer F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 2—3-te Aufl. Heidelberg, 1914.

Sommerfelt A. Some new ideas on the structure of the Indo-European parent language. „Trans. of the Philol. Soc.", London, 1945.

Specht F. Zur Geschichte der Verbalklasse auf-ē. Ein Deutungsversuch der Verwandschaftsverhältnisse des Indogermanischen „Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch.", Bd. 62, 193. . . .

Specht F. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1943.

Sturtevant E. H. and Hahn A. A comparative grammar of the Hittite language. New Haven, 1951. (Первое издание, без участия Хана, —1933 г.).

Thieme P. Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1954.

Thomsen V. Geschichte der Sprachwissenschaft bis zur Ende des XIX Jahrhunderts. Berlin, 1927. (В. Томсен, История языковедения до конца XIX в. Перев. под ред. Р. О. Шор. М., 1938).

Vaillant A. Les origines du medio-passif. „Bulletin de la Societé de linguistique de Paris". 1942—1945.

Vendryes J. Le langage. Introduction linguistique à l'histoire. Paris, 1921. (Ж. Вандриес, Язык. Русск. перев. с предисл. Р. О. Шор и примеч. П. С. Кузнецова. М., 1937).

Vondrák V. Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I—II. Berlin, 1906—1912.

III. Основные этимологические и исторические словари (общеиндоевропейские, отдельных языковых групп и главнейших древнеписьменных языков)

Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1905.

Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913; Bd. II, Lief. 1, 1913.

Boisacq E. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 4-me éd. Heidelberg, 1949.

Ernout A. et Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 3-me éd. Tomes I—II. Paris, 1951.

Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3-te Aufl. Leiden, 1936.

Hofmann J. B. Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München, 1949.

Hoops J. Reallexikon der germanischen Altertümer. Bd. I—IV. Strassburg, 1911—1919.

Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 11-te Aufl. Berlin, 1930—1934.

Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3-te Aufl. Heidelberg, 1930—1932.

Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Lfr. 1—7. Bern, 1949—1953.

Schrader O. Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde. 2-te Aufl., hrsg. vom A. Nehring. Bde I—II. Berlin, 1917—1928.

Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.

Uhlenbeck C. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache. Amsterdam, 1896.

Van Windekens A. J. Lexique étymologique des dialectes tokhariens. Louvain, 1941.

Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3-te neubearb. Aufl. von J. B. Hofmann. Bd. I. Heidelberg, 1938; Bd. II (не закончен).

Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hrsg. von J. Pokorny. Bde I—II. Berlin, 1928—1930.

IV. Основные работы предшественников, создателей и сторонников „ларингальной теории“

A. 1879—1927

De Saussure F. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes. Paris, 1879. (Перепеч. в „Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure“. Heidelberg, 1922, p. 1—268).

Möller H. Рец. на кн.: Kluge. Beiträge zur Geschichte der germanischen Konjugation. „Englische Studien“, Bd. 3, 1880, S. 150 ff., особ. S. 151. Anm. 1.

De Saussure F. „Bull. de la Soc. Ling. de Paris“, vol. 7, 1892, № 8—98. (Перепеч. в „Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure“. Heidelberg, 1922, p. 603).

Möller H. Рец. на кн.: Bechtel. Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher. „Zeitschr. f. deutsche Philologie“, Bd. 25, 1893, S. 382—384.

Pedersen H. Die indogermanisch-semitische Hypothese und die indogermanische Lautlehre. „Indogerm. Forsch.“, Bd. 22, 1907, S. 341—365.

Cuny A. Критич. разбор работ Мёллера. „Zeitschr. für vergleich. Sprachforsch.", Bd. 42, 1908, S. 174—191.

Cuny A. То же. „Bull. de la Soc. Ling. de Paris", vol. 16, 1910, p. 392—396.

Cuny A. Notes de phonétique historique, indoeuropéenne et sémitique. „Revue de phonétique", vol. 1, 1912, p. 101—132.

Möller H. Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen Konsonanten. „Memoires de l'Acad. Roy. des Sci. et des Lettres de Danemark", Sect. des lettres, 7-me série, t. IV, 1, København, 1917.

Cuny A. Рец. на предыдущую работу. „Bull. de la Soc. Ling. de Paris", vol. 21, 1918, p. 47—54.

Kuryłowicz J. Les effets du ə en indo-iranien. „Prace filologiczne", XI, 1927, s. 201—243.

Б. 1927—1953

Kuryłowicz J. ə indoeuropéen et ḫ hittite. — Symbolae grammaticae in honorem Io Rozwadowski, I, Cracoviae, 1927. s. 95—104.

Kuriłowicz J. Etudes indoeuropéennes. I. Kraków, 1935.

Benveniste E. Origines de la formation des noms en indoeuropéen. Paris, 1935.

Couvreur W. De hettitische H. Een bijdragtot de studie van het indoeuropeesche vocalisme. Louvain, 1937. „Bibliothèque de Muséon", vol. 5.

Cuny A. Évolution préhistorique de l'indoeuropéen, I. „Revue des études anciennes", vol. 38, 1936, p. 69—77.

Cuny A. Évolution préhistorique de l'indoeuropéen, II „Le muséon", vol. 51, 1938, p. 151—170.

Kuryłowicz J. L'indoeuropéen connaissait-il A à cote de O? „Mélanges van Ginneken", 1937, p. 199—206.

Pedersen H. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938. „Historisk-filologiske Meddelelser", XXV, 2.

Convreur W. A propos de Ḫ hittite. „Revue hittite et asianique", vol. 5, 1939, p. 57—81.

Hendriksen H. Untersuchungen über die Bedeutung des Hettischen für die Laryngaltheorie. København, 1941. „Historisk-filologisk Meddelelser", XXVIII, 2.

Cuny A. Le phonème ḫ du hittite résulte de la fusion de plusieurs phonèmes „nostratique" différents. „Revue hittite et asianique", vol. 6, 1942—1943, p. 69—101.

Couvreur W. Le ḫ hittite et les phonèmes laryngaux de l'indoeuropéen. „L'antiquité classique", vol. 12, 1943, p. 103—110.

Cuny A. Invitation à l'étude comparatif des langues indoeuropéennes et des langues chamito-sémitiques. Bordeaux, 1946.

Hammerich L. L. Laryngeals before sonant. København, 1948. „Historisk-filologisk Meddelelser", XXXI, 3.

Zgusta L. La théorie laryngale. „Archiv orientální", t. 19, 1951, s. 428—472.

В. Основные работы представителей „американского варианта" ларингальной теории

Sturtevant E. H. „Can Hittite ḫ be derived from Indo-Hittite ə? „Language", vol. 6, 1930, p. 149—158.

Sturtevant E. H. Changes of quantity caused by Indo-Hittite h̆. „Language", vol. 7, 1931, p. 115—124.

Sturtevant E. H. Hittite evidence against fullgrade O. „Language", vol. 14, 1938, p. 104—111.

Sturtevant E. H. The prehistory of Indoeuropean ā-stems. „Language", vol. 14, 1938, p. 239—247.

Sapir E. The Indoeuropean words for „tear". „Language", vol. 15, 1939, p. 180—187..

Sturtevant E. H. The evidence for voicing in Indo-Hittite. „Language", vol. 16, 1940, p. 81—87.

Kerns J. A. and Schwartz B. The laryngeal hypothesis and Indo-Hittite, Indoeuropean vocalism. „Journ. of the Amer. Orient. Soc., vol. 60, 1940, p. 181—192.

Sturtevant E. H. The Indoeuropean voicelles aspirates. „Language", vol. 17, 1941, p. 1—11.

Sturtevant E. H. The Indo-Hittite and Hittite correspondences of Indoeuropean ə. „Language", vol. 17, 1941, p. 181—188.

Austin W. M. The prothetic vowel in Greek. „Language", vol. 17, 1941, p. 83—92.

Smith H. L. The „Verschärfung" in Germanic. „Language", vol. 17, 1941, p. 93—98.

Sturtevant E. H. The Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore, 1942.

Sturtevant E. H. The Indo-european reduced vowel of the e-series. „Language", vol. 19, 1943, p. 293—312.

Schwartz B. The root and its modification in primitive Indo-European. „Language", Suppl. № 1 to the vol. 26, 1947.

Lehmann W. Proto-Indoeuropean phonology, 1952.

Sturtevant E. H. The prehistory of Indo-European. A summary. „Language", vol. 28, 1952.

Г. Основные работы противников ларингальной теории

Streitberg W. F. de Saussure. „Indogerman. Jahrbuch", Bd. 2, 1918, S. 203—213.

Marstrander C. Критич. разбор статей Куриловича 1926—1927 гг. „Norsk tidsskrift for sprogvidenskap", Bd. 3, 1929, S. 290—295.

Petersen W. The origin of Hittite ḫ. „Language", vol. 10, 1934, p. 307—322.

Bergsland K. Sur les hypothèses les plus importantes relatives au phoneme hittite ḫ. „Revue hittite et asianique", vol. 4, 1938, p. 259—287.
Petersen W. Hittite ḫ and Saussure's doctrine of the long vowels. „Journ. of the Amer. Orient. Soc.", v. 59, 1939, p. 175—179.
Kent R. G. Рец. на Sturtevant. The Indo-Hittite laryngeals. 1942. „Language", vol. 19, 1943, p. 164—168.
Bonfante G. Рец. на Sturtevant. The Indo-Hittite laryngeals. 1942. „Classical philology", vol. 39, 1944, p. 51—57.
Bonfante G. A retort. „Classical philology", vol. 40, 1945, p. 116—121.
Sommer F. Hethiter und Hethitisch. Stuttgart, 1947, S. 77—81.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вопросы методики
сравнительно-исторического изучения
индоевропейских языков

Утверждено
Институтом языкознания
АН СССР 19 ноября 1954 г.

*

Редакторы издательства *Н. И. Игнатова* и
А. Т. Лифшиц
Технические редакторы:
Т. В. Алексеева и *Е. В. Зеленкова*

*

РИСО АН СССР № 21-95В. Сдано в набор 14/XII 1955 г.
Подп. в печать 20/VIII 1956 г. Формат бум. 60Х92[1]/16
Печ. л. 20,25. Уч.-изд. листов 17,4. Т — 05372.
Тираж 3000. Изд. № 1097. Тип. зак. 384.

Цена 12 р.

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-64, Подсосенский пер., д. 21

1-я типография Издательства АН СССР.
Ленинград, В. О., 9 линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
23	2 сн.	тождественные	тождественны
54	9 сн.	Societée	Société
54	1 сн.	определение родства	определение языкового родства.
56	9 сн.	1954	1945
61	9 сн.	нагляден	наглядиый
62	18 св.	* g^uhermos	* ghermos
74	13 св.	kāma	kāma-
80	9 св.	исследованиях, истории	исследованиях истории
80	4 сн.	spo'łygłosek	spółgłosek
80	3 сн.	Spraucodzania	Sprawozdania
84	7 св.	gnis	ignis
122	16 св.	jorno	giorno
156	7 сн.	* me $ə_2$l-o-s/m	* me$ə_2$l-o-s/m
173	11 сн.	σχύςομαι	σχύζομαι
186	17 сн.	В том	О том
192	4 сн.	полевка	полвека
230	10 св.	viłk-a-s	vil̃k-a-s
231, 233	18 св. 10 св.	viłk-aĩ, viłkaĩ	vilk-aĩ, vilkaĩ
239	8 сн.	Nymasioi	Numasioi
272	3 сн.	-u-fōtus;	-u- ← fōtus;
279	6 св.	„sunus“	sunus
319	4 сн.	Glassical	Classical
320	17 св.	Бернштейн С. Б. —	Бернштейн С. Б.—78

Методика изучения индоевропейских языков

